

НОВЫЙ МИР

7-8

МОСКВА

1943

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1943 г.

№ 7—8

Год издания XX

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ — Стихи о морях	2
ИВАН НОВИКОВ — Пушкин на юге, роман	5
ЛЮДМИЛА МЛАДКО — Озёра, стихотворение	45
ВЕРА ПОТАПОВА — Тиха украинская ночь, стихотворение	46
НИКОЛАЙ АТАРОВ — Изба, рассказ	47
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Баллада о четырех заложниках, Перевод с белорусского Н. Берендгофа	50
АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ — Зеленый сад, повесть	51
ДЖОН Б. ПРИСЛИ — Затмение в Грэтли, повесть о военном времени и для военного времени, Окончание, Перевод с английского М. Е. Абкиной	78
<hr/>	
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Академики на Урале	112
<hr/>	
Е. ТРОЩЕНКО — Поэзия поколения, созревшего на войне	124
<hr/>	
Н. КАЛИТИН — В. Маяковский и традиции русской литературы	136
Н. ВЕНГРОВ — Из воспоминаний о Маяковском	143
В. КАТАНЯН — Несколько иллюстраций к автобиографии Маяковского	148

БИБЛИОГРАФИЯ

М. ДОБРЫНИН — Лирик белорусского народа	153
Н. ГУСЕВ — Вопросы реализма в эстетике Льва Толстого	155
Н. В. — О новых стихотворениях Бориса Пастернака	157

СТИХИ О МОРЯКАХ

ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ



НЕЗРИМАЯ РАНА

О чем ты тоскуешь, товарищ моряк?
Гармонь твоя стонет и плачет,
И ленты повисли, как траурный флаг,
Скажи нам, что все это значит?

Не ты ли, моряк, в рукопашном бою
С врагами сражался геройски, —
Так что же встревожило душу твою,
Скажи нам, товарищ, по-свойски!

— Друзья, свое горе я вам расскажу,
От вас я скрываться не стану, —
Незримую рану я в сердце ношу,
Кровавую, жгучую рану.

Есть муки, которые смерти страшней,
Они мне на долю достались, —
Над гордой и светлой любовью моей
Немецкие псы надругались.

Ее увели на позор и на стыд,
Скрутили ей нежные руки.
Отец ее ранен, братишка убит...
Так мне написали. подруги.

Я сон потерял, и во мраке ночей,
Лишь только глаза закрываю,
Любовь мою вижу в руках палачей
И в кровь свои губы кусаю.

И нет мне покоя ни ночью, ни днем,
От ярости я задыхаюсь,
И только в атаке, в бою, под огнем
Я мстью своей упиваюсь!..

Рыдает и стонет по милой гармонь, —
Она так любила трехрядку...
Скорей бы услышать команду: — Огонь!
И броситься в смертную схватку!



ДВА ДРУГА

Дрались по-геройски, по-русски
Два друга в пехоте морской,
Один паренек был калужский,
Другой паренек — костромской.

Они, точно братья, сроднились,
Делили и хлеб, и табак,
И рядом их ленточки виселись
В огне непрерывных атак.

В штывки ударяли два друга,
И смерть отступала сама!
— А, ну-ка... дай жизни, Калуга...
— Ходи веселей, Кострома!

Но вот под осколком снаряда
Упал паренек костромской...
— Со мною возиться не надо! —
Он другу промолвил с тоской.

— Я знаю, что больше не встану. —
В глазах беспросветная тьма...
— О смерти задумал ты рано!
Ходи веселей, Кострома!

И бережно поднял он друга,
Но сам застонал и упал:
— А, ну-ка... дай жизни, Калуга... —
Товарищ чуть слышно сказал.

Теряя сознание от боли,
Себя подбодряли дружки,
И тихо по снежному полю
К своим доползли моряки.

Умолкла свинцовая вьюга,
Пропала смертельная тьма...
— А, ну-ка, дай жизни, Калуга!
— Ходи веселей, Кострома!



ЗОЛОТИСТЫЙ ХОХОЛОК

Прибыл к нам в морскую роту
Молодой такой стрелок,
У него лицо в веснушках,
Золотистый хохолок.

Парень росту небольшого,
Не плечист и не речист,
И сказать по правде надо,
С виду очень неказист.

Поглядели, повздыхали
Морячки-фронтовички:
— Не войка, а цыпленок,
Ох уж эти новички!

Не хлебал воды соленой
И огня не видел он!..
Будет кланяться он пулям
И снарядам бить поклон!..

Через день морской пехоте
В жаркий бой пришлось итти, —
Приказали выбить немца
С очень важного пути.

И, представьте, наш цыпленок
С золотистым хохолком
Показал себя в атаке
Настоящим моряком!

Уложил десяток фрицев,
Первым прыгнул в их блиндаж.
Смотрим, — парень подходящий!
Ясно видим, — парень наш!

И сейчас же после боя
Разговор у нас пошел:
— Не цыпленок, а орленок!
— Не орленок, а орел!

Смотрим, — вроде наш парнишка
Сразу вырос на вершок,
И глядит совсем геройски
Золотистый хохолок.

И веснушки незаметны,
И походка хороша...
Вот что значит — боевая,
Настоящая душа!

★

КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ

Он капитаном-лейтенантом
Ходил на нашем корабле
И был всегда немного франтом
И на воде, и на земле.
Любовно каждый шов отглажен,
Нигде, ни в чем изъяна нет,
И китель как на нем прилажен,
Что все портные смотрят вслед.

Будь ты девушка, будь ты хоть сам
 комендант,
Поневоле начнешь любоваться!
Капитан-лейтенант,
Капитан-лейтенант
По-морскому умел одеваться.

Ему всегда везло на дружбу,
Сердце немало он разбил,
Но море и морскую службу
Всего сильнее он любил.
Он занимался водным спортом,
И в цель по-снайперски стрелял,
Умел ходить на яхте чортом,
Как дьявол, плавал и нырял.

Даже в боксе он был и знаток,
 и талант,
И владел настоящим ударом.
Капитан-лейтенант,
Капитан-лейтенант
Моряком назывался недаром.

Война — проверка всех талантов,
Героической доблести компас,
И капитану-лейтенанту
В боях случилось быть не раз.
Он трижды был в тылу фашистов,
Десантом он руководил.
Метался враг, как зверь неистов,
С ума от ярости сходил.

Но всему вопреки шли вперед моряки
За своим боевым командиром.
Капитан-лейтенант,
Капитан-лейтенант
Задал трепки фашистским мундирам.

Он ранен был в плечо и в ногу,
Но неизменно впереди
Он шел подтянуто и строго,
Как на параде, он ходил.
И с честью выполнив задание,
Явился отдавать рапорт,
Помыт, побрит, как на свиданье,
От боли бел, но духом тверд.

И седой адмирал с теплотою сказал:
— Я рапортом взволнован,
 признаться.

Капитан-лейтенант!
Капитан-лейтенант...
Вы геройски умеете драться!

★

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Мы по Рыбачьему прошли,
На Среднем были мы.
Здесь было царство черных скал,
Мятели и зимы.

В Москве уже цвела весна.
А здесь мела пурга,
И на землянках в пять слоев
Лежали здесь снега.

В хибарках тесных, в полутьме
Беседы мы вели,
Передавая морякам
Привет с большой земли.

И час, и два, и три часа
Шел жаркий разговор,
И жадно слушали стихи
Разведчик и сапер.

И вместе песни пели мы
О родине своей,
И пели мы про моряков,
Про боевых друзей.

И каждый вспоминал свой дом,
Свой город и семью,
И мать родную вспоминал,
И девушку свою.

И становился веселей
Сердец матросских стук,
И на прощанье руку нам
Сжимали сотни рук.

И каждый в радости не знал,
Как нас благодарить,
И каждый с жаром обещал
Врага сильнее бить.

Мы дальше шли, и ветер гнал
Серебряную пыль,
А в синем небе ястребок
Немецкий гнал «костыль».

И нам казалось, — бой идет
У нас над головой...
Мы шли, и с нами песня шла
По сопке снеговой.

★

ПТИЦЫ ПРИЛЕТАЮТ НА РЫБАЧИЙ

Солнце свет по-южному горячий,
Сердце вспоминает о весне.
Птицы прилетают на Рыбачий,
Весело поют на Кильдине.

Знаю, что не кончились метели,
И зима вернется вновь и вновь,
Но в Полярном девушки запели
Про весну, про счастье и любовь.

Мимолетным солнышком согрето,
Просит сердце ласки молодой,
Вьется из-под синего берета
Непокорный локон золотой.

В каждой луже ярко солнце блещет,
Растопилась зимняя тоска,
И весенней радостью трепещут
Боевые ленты моряка.

Знаю, чем длиннее дни настанут,
Тем сильнее зарево войны,
Но сердца любить не перестанут,
И врагу не победить весны.

Знаю, что не кончились метели,
И зима вернется вновь и вновь,
Но не даром девушки запели
Про весну, про счастье и любовь.

★

РОЗОВОЕ ПЛАТЬЕ

Чуть я где услышу
песенку морскую, —
О тебе, мой милый,
сердцем затоскую,
Вспомню наши встречи
без забот, без горя,
Розовое платье,
голубое море.
Два военных года
громом прогремели,
Боевую форму
девушки надели.
На подводной лодке,
не на белой яхте
Этой синей ночью
ты стоишь на вахте.

Ранены войною
старые бульвары,
На площадке летней
не танцуют пары.
Жизнь идет не вальсом,
а суровым маршем,
Все мы стали строже,
все мы стали старше.
Но не сломят сердце
годы грозовые,
Фронтные будни,
будни тыловые, —
Будет, будет праздник!
И тебя встречать я
Выйду, — и надену
розовое платье!

ПУШКИН НА ЮГЕ*

Роман

ИВАН НОВИКОВ



КИШИНЕВ

Инзов перебрался в Кишинев еще летом. Ему предоставлен был одиноко стоявший двухэтажный дом на холме. Иван Никитич сам этот выбор одобрил. Он не любил шума и излишней суеты. Здесь же был воздух отличный, сад, виноградник и тишина. Сам он занял верхний этаж, внизу поселились двое-трое чиновников из несемейных. Сверху был вид и на город, и на лошину, где протекала неспешная речка, образуя неглубокое озеро. Восход и закат были открыты.

Генерал по-стариковски рано вставал. Он не завешивал окон и любил, чтобы солнце будило его.

За последнее время он стал замечать, что понемногу тучнеет, и принимал свои меры. В его кабинете, скупо обставленном, в углу стоял небольшой набор инструментов: простая коса и небольшая ведерка с бруском, железная лопата, деревянная лопата и трехгранная тляпка с длинной ручкой. Он сам обкашивал траву в саду и по горе, окапывал яблони и пропалывал сорняк на огороде и между цветов; деревянная лопата дожидалась зимы. Так он собирался, по собственному его выражению, «догонять свою молодость».

С приближением осени солнце, однако, уже его не будило, само оно с каждым днем засыпало дольше обычного. Так и сегодня он поднялся на заре и, покрывшая перед тем, как начать умываться холодной водою, про себя, по обычаю, проговаривал:

— Ничего, видно, брат не поделаешь, теперь тебе самому приходится солнце будить!

И он будил его в молочной предутренней мгле достаточно громко.

Голос его, с хрипотцой, однакож без всякой натуги, раздавался не только по

комнатам. Люди на дворне, козы в закуте, куры и гуси на птичьем дворе, певчие птицы и говорящие птицы — попугай и сорока — из густо навешанных клеток на просторной террасе, — все живое отзывалось ему.

Заспанный слуга подавал свежую, прохладную простыню, но растирался он сам и при этом напевал потихоньку, следуя за движением руки:

— Для моциона! Для рациона! Для грациона!

Он бывал очень доволен этим обычным своим «молодецким» припевом и, покончив с растиранием, брал из шкафа заранее припасенное большое краснощекое яблоко — «собственных садов». Как всегда, он сперва нюхал его, потом внимательно оглядывал все оттенки цветов — от красного и до желтого — с приятною свежью зеленцой и, уже только понюхав и оглядев, разламывал крепкими пальцами, слушая привычный еще с детства вкусный его хруст. Иван Никитич терпеть не мог, когда фрукты кто-нибудь резал ножом; он считал это истинным варварством и деянием противуестественным. Потом он заказывал самовар и сходил вниз. Поздоровавшись с птицами и получив ответное приветствие, выходил в сад.

Вторая половина сентября. Листья еще держатся крепко, но ночные холода уже покоробили и выгнули их по-осеннему, тронули яркими красками. Георгины разных цветов, настурции, астры окаймляли террасу. Дорожки усыпаны с вечера свежим песком. Всюду был виден хозяйский глаз. В самом саду Инзов остановился. Он давно уже выбирал место, где будет строить оранжерею. Сейчас он вынул из кармана рабочей своей куртки складной аршинчик и еще раз прикинул, где надо будет копать под углы. Ему уже были обещаны апельсиновые и померанцевые саженцы. Он обожал южные растения, и стены его дома внутри были разрисова-

* Роман печатается с сокращениями.

ны тропической флорой. А небольшой виноградник по южному склону горы он наметил увеличить с будущей же весны не меньше, как вдвое.

Иван Никитич терпеть не мог докторов и лечился по-своему — работою и воздухом по утрам. У него был на это хороший инстинкт: он себя не утомлял, дышал через нос, ровно, ритмично, ни о чем в это время стараясь не думать, и это последнее, как, посмеиваясь, он сам говорил, особенно хорошо ему удавалось. А результаты?

У него была своя философия здоровья. «Чтобы быть здоровым, — говаривал он, — нужно всего навсего только две вещи: быть добрым и быть веселым». Работу и воздух он почитал лишь подсобными средствами для доброты: поработав и подышав на свободе, лучше понимаешь людей.

Обычно бывало у него на рассмотрении изрядное количество дел, не только служебных, но и судебных, уже разобранных ранее в уездном суде или даже в Таврической судебной палате, рассмотренных также и членами Попечительного комитета и теперь поступивших к нему на утверждение. В хороший денек он себе спрашивал квасу полный графин:

— Квас я себе заработал, покуда вы все еще спали!

И слушал только вполуха доклад секретаря, не подавая никаких определений.

— Дальше!

— Я говорю следующее!

А резолюция бывала сразу по всем делам одинаковая:

— Снизить наказание на одну ступень!

Иногда секретарь позволял себе возразить:

— Вы уж слишком, ваше превосходительство, добры-с. Вот по делу такого-то...

— Ты ничего не понимаешь, — разъясняла ему Инзов. — В наказании главное, что человек наказан, а капелька доброты, к человеку проявленная, только поможет ему дальше не оступаться, это росток, понимаешь чего? Не исправления только, а и будущих добрых поступков, это «прививка глазком». И уж ежели растение чувствует и воспринимает, то человеку — как не уразуметь?

Тут Иван Никитич уставал говорить и замолкал. Он взглядывал на лицо секретаря, видел окончательно отупевшее его выражение, ухмылялся и махал ему рукой, чтоб уходил.

Секретарь удалялся и размышлял про себя, совсем сбитый с толку, — что ж генерал.. морочит его или впрямь он такой невозможный философ? «Человека, и вдруг с растением вздумал сравнить.. Право, даже обидно!» А сам Иван Никитич думал: «Ну, кажется, я действительно поправляюсь..»

Но сегодня день был нехорош. Опалы-

вая георгины, он повредил две редкие луковицы; подвязывая виноградные лозы, нечаянно обломал хорошую ветку и, наконец, вернувшись опять на цветник, крепко ударил себя самого по ноге проклятою тяпкой..

Обыкновенно он сам кормил утром и птиц, и собак, сегодня же лишь распорядился об этом и, сидя за самоваром, недовольно поводил носом к окну, за которм слышался собачий визг. «Так и есть, наверное, Дюлинка останется голодна, а этот дурак не сумеет от нее отогнать.. У нее же больная нога, а то бы она и сама».. Дюлинка была небольшая рыжая сука неизвестной породы, убежавшая от цыган и приютившаяся у него на дворе. «У нее ни отца, ни матери, — рассказывал он про нее почти с полной серьезностью, — доверилась мне». — Боль от ушиба в ноге еще больше в нем обостряла понимающую жалость к бедной собаке. Он встал, наконец, и подошел к окну, но кормление собак уже было закончено, он опоздал. И это тоже не повеселило.

Так всю первую половину дня были у него неудачи. Он стал подозрителен, не велел давать себе квасу и с опаскою думал: «Наверное, и квас вовсе мне не полезен.. Нельзя столько пить квасу!» А без любимого квасу посасывала тоска. Доклады сегодня проходили с прямыми придирками с его стороны. Секретарю он заметил, что тот не довольно по форме одет, и не умеет стоять, и бумаги.. Бумаги были, однакож, в полном порядке, и Иван Никитич почти обрадовался, увидав один загнутый уголок. Он долго и тщателью сам его выправлял и разглаживал ногтем, продолжая все время при этом хранить гробовое молчание. Секретарь потихоньку вынимал платок и уже второй раз, незаметно для Инзова, вытирал предательскую влагу на лбу. Генерал, наконец, и сам себе начал надоедать..

Но в это время, необыкновенно кстати, вошел казачок и доложил, что генерала спрашивают какой-то молодой человек — видать татарин... в ермолке..

— Что за татарин?

Но Пушкин не стал больше дожидаться за дверью.

— А крымский татарин.. — сказал он, входя и смеясь.

Секретарь осторожно посторонился — выждать, как развернутся события.

Инзов вскочил из-за стола, забыв про больную ногу.

— Александр Сергеевич! — воскликнул он радостно. — Наконец-то! Откуда же вы? Что Раевские? И что ты, в самом деле, обрлся! что ль, или магометанской вере предался?

Пушкин к нему подошел. Они обнялись.

— Ну что ж ты стоишь? — обратился внезапно Инзов к секретарю. — Кажется все ведь в порядке и со всем будто покончили? А что и осталось, доложишь

мне завтра. Да погоди, — крикнул он ему в догонку. — Скажи там, чтобы дали нам квасу... Все забывают! Да целый графин.

Пушкин глядел на него и улыбался. Он действительно был в тибитейке, загорел и обветрен. Ему приятно было опять видеть из-под густых, еще больше отросших бровей добрые голубые глаза Ивана Никитича.

— Да где же вы остановились? Да отчего не прямо ко мне? И почему, в самом деле, обрился? И где?

— А в Симферополе. Лихорадка замучила, я и обрился.

— Ну, ну, покажись!

Пушкин снял тибитейку. Вся голова была в царапинах.

— Так брили, — воскликнул он, проводя рукой по голове, — так брили, что и не дай-то бог! — И начал показывать. — Так вот стоит скамеечка низенькая, а на ней пиаля, круглая чашка без ручки...

— Знаю, знаю... Сам из таких люблю пить.

— Это для мыла. А кисть — как хорошая малярная кисть! И потом такой вот скребок, две ручки загнуги вперед, а посредине отточено... барана можно резать! И голову — раз! — к себе между колен, и мылит с затылка... а потом... скребком на себя... Раз! Раз! Так только свеклу бы чистить!

Пушкин все это показывал с такою живостью, что Инзов принимался хохотать.

— А от лихорадки... — внезапно озоботился он. — Пойдемте, я вам покажу. Видите этот брусок? Так брусковую воду пьют косари, и — как рукою снимает!

— А вот мы сейчас и попробуем... с квасом, если позволите!

Так они встретились, старый и малый, весело и по-хорошему.

Инзов оставил его у себя отобедать. За столом было много народа — служащие из Комитета, кое-кто из горожан. Все мужская компания. Было вино, фрукты. Хозяину отдельно подана была цветная капуста — «собственных огородов».

Пушкина генерал посадил рядом с собой и усердно расспрашивал про Кавказ и про Крым, про Раевских. Но особенно подробный допрос и учинил о крымской растительности: о лаврах, чинарах, о лавровишенике, о колючей гледичии и о самшите, твердом, как кость.

Пушкин про себя был должен сознаться, что кое-чего, пожалуй, он и не приметил. Зато успех имели рассказы его о котках на Желёзной горе.

— И медведя раз видел, — похвастался он.

— Ну, мы медведей видим здесь разве лишь у цыган.

— А этот был у себя, можно сказать, дома.

Уже подали кофе, в низких маленьких

чашечках, крепчайшее. Инзов после обеда обычно удалялся к себе подремать. Но сейчас уходить ему не хотелось. Он попросил Пушкина рассказать и про медведя.

— Да что же рассказывать? Если было бы страшно, а то вовсе не страшно.

— Тем лучше. Послушаем сказку о добром медведе.

«И верно, она почти про тебя» — подумалось Пушкину, и он невольно, как бы продолжая эту тайную мысль, так и начал:

— Так дело было. На обратном пути из Юрзуфа я раз поотстал от генерала Раевского. Тропка шла над обрывом. Небольшой аул в стороне и поля кукурузы. Утро, туман. Вдруг лошадь моя захрепела, чуть не шарахнулась прочь. Я придержал ее. Глянул, — внизу медведь, небольшая. Я остановил лошадь, и, чтобы вы думали, — залюбовался! Он на свободе ел кукурузу, да с каким аппетитом!

Тут Пушкин невольно повел глазами на Инзова. Тот добродушно и с большой аккуратностью подбирал остававшиеся на тарелке небольшие головки любимой своей цветной капусты.

— Он делал так. Присаживался на корточки и обхватывал несколько стеблей сразу передними лапами, выпрямлялся и сошмурыгивал их на землю, и уж тогда лакомился властью... Очень хороший медведь!

Пушкин не смеялся над Инзовым, он им любовался. Однако же он и насторожился, боясь, что кто-нибудь позволит себе неуместное сближение. По счастью, ласковой шуткой его насадился только он сам. Кто-то лишь осторожно позволил себе усомниться в подлинности самого случая. Пушкин, конечно, мог бы достойно ответить, однако ж, ему не захотелось нарушать той простоты и добродушия, которым все дышало вокруг Инзова, и он ограничился только коротким замечанием:

— Если я что когда и совру, то разве лишь про приятелей!

Когда все разошлись, Инзов его еще задержал на минуту. Он оставался все так же, как был с утра: ушибленная нога в мягкой туфле, другая в казенном простом сапоге. Подойдя к Александру, он негромко спросил:

— А вы знаете Михаила Орлова, начальника штаба у генерала Раевского? Он теперь здесь, командиром дивизии.

У Пушкина быстро мелькнул в голове Петербург, Подкумок и речи Александра Раевского... Через него Михаил Федорович прислал однажды поклон и «юному Аруету Пушкину». Сейчас этой новости он очень обрадовался и весь вострепелся. Инзов зорко на него поглядел и чуть погрозил пальцем.

— Перемещение это.. оно хотя отчасти

и добровольно, а все же вроде как бы и почетная ссылка.

Пушкину подумалось: «Ссылка.. А я?.. Ну и что же!» — И ему стало как бы еще веселее: кажется, жить можно недурно и в Кишиневе!



Итак, начиналась новая жизнь. Пушкин приглядывался к городу, заводил знакомства. На другой же день вечером был он в клубе, куда, по поручению Инзова, его провожал адъютант генерала. Он несколько уже отвык и от посторонних людей, привязавшись единственно к милым Раевским, да и от всякого шума, кроме шума морского прибоя. Но клубные гости искренно его повеселили. Это было совсем не похоже не только что на Петербург, но и на смешанное русское общество на Кавказских водах; странным образом все это скопище походило скорее всего.. на Бахчисарайский базар!

Так же, как там, люди никуда не шли, не торопились, но все пребывало в непрестанном движении, только тут было еще пестрее и разнороднее. Молдаванские бояре смешили его своею пузатою важностью, огромными бородами, у иных даже надушенными. Чисто они говорили только на своем языке, ему непонятном, а то на двух ломаных сразу: по-русски и по-французски. Тут же были армяне и греки-торговцы. Играли и в карты, и на билиарде, блестя перетягами, густо курили, застилая свет от свечей; живая смесь языков, костюмов, обличий, поवादков.

Город, недавно еще молдаванский, но под турецкой державой, турецким быть перестал, но и русским не стал еще. Русские здесь были лишь вкраплены: чиновничий мундир, военный мундир. Все было смешано, взболтано и еще не осело по местам, но замечательно: не было ощущения — ни завоевателей, ни завоеванных; ни трусливых, запуганных взглядов, ни затаенного недоверия или вражды, а, с другой стороны, также была скорее спокойная хозяйская деловитость, и притом с явным оттенком какой-то почти домашности, как если бы через мундир угадывался все тот же привычный, широкий, такой же восточный халат. Цара бассарабска! Не раз уже за последнее столетие русские войска занимали этот город.

Война на Кавказе была совершенно иная, острое дыхание ее апалаля и издали. Там была страсть и азарт — с той и с другой стороны; там горы вздымались и резали небо. Здесь же Пушкин видел одно — городское купечество, которому, казалось, не все ли равно, где и с кем торговать, народ же был нищ и не подавал своего голоса, но и не стремился назад. Большое имело значение, что нового владыку здесь представлял такой чи-

стый русский характер, каким был Иван Никитич Инзов. Огромная опека была у Ивана Никитича и по управлению, и по заселению нового края и славянами-беженцами, и украинцами, тянувшимися на вольные земли, и даже заметными группами немцев-колонистов. И хоть и славился он своим добродушием, а кое-кем был даже и осуждаем, однако, оно ничуть ему не мешало разбираться в обширном его человеческом хозяйстве, очень тонко порою, и всегда умно.

В свою очередь Пушкин не сразу во всем разобрался. Пестрота и экзотика, по началу, сильно его захватили, мешали сосредоточиться. Он стосковался и по прямым мальчишеским выходкам, и неудержимо порою влекло его потянуть какую-нибудь пышную боярскую бороду и поглядеть, что из этого выйдет.

Он быстро в Кишиневе освоился и обзавелся знакомыми и приятелями, играл (и проигрывал) в карты, пристрастился к билиарду, волочился за дамами, ходил на балы, острял, задевал, ронял на ходу эпиграммы, ссорился и мирился. Он был, как изюминка в кишиневском квасу Ивана Никитича, и пробку порою вышибало до потолка.

Про него говорили и сплетничали, много выдумывали. Он это знал, и не всегда полностью отрицал: мало ли что и про кого говорят, пусть их болтают, что от того станется! Как-то по-молодечески это даже его будто и украшало..

Город, при скромных размерах своих, был многолюден. Домишки его, большею частью глинобитные, с тонкими стенами, выведенные как-то «на скорую руку», были, однако, густо населены. В немногих больших домах жило начальство, которого также, впрочем, было достаточно. Все остальные — торговцы, кроме самых богатых, средние и мелкие чиновники, да и офицеры — ютились в маленьких хатах.

Сам Пушкин остановился, впрочем, не плохо — у местного «генералквартирмейстера», как его величали, члена комиссии по устройству приезжих Наумова: этот не всякого к себе и допустил бы. У человека этого была чудесная каштановая борода, правильно вьющаяся, и лицо спокойное, строгое: если не на икону, то за стойку соборного ктитора! Но глаза у Ивана Николаевича (все его звали по имени-отчеству) были столь озорные и дерзкие и так он ничуть их не скрывал, что даже Никита Козлов, весьма осторожный в суждениях, однажды его определил, как «не иначе разбойником был в Муромских заповедных лесах». И, кажется, это было недалеко от правды.

Добираясь домой, большею частью поздно, Пушкин ложился в постель, перебирая впечатления дня. За ночь они как бы отставивались, и утро всецело ему принадлежало. Пушкин, не взирая на

свою молодость, по опыту знал хорошо: чтобы вокруг себя разобратся, надо прежде всего, чтобы в самом себе было ясно. Эту ясность и свежесть давала ему первая половина дня.

Уже на четвертый день своего пребывания в Кишиневе, так же вот — утром, он написал брату Льву сжатый отчет о своем путешествии, мысленно его для себя повторив. Впрочем, о ночном походе своим на Джинал, верный слову, данному Николаю Раевскому, он умолчал. Еще и еще раз как бы он побыл с семьей Раевских, но все это было уже далеко. «Теперь я один в пустынной для меня Молдавии». Так и Орлов, у которого обедал вчера и где был встречен с радушием и приветливостью, — ни он, ни те интересные люди, с которыми у него познакомился, еще не заполняли пустыни. «Когда-нибудь прочту тебе мои замечания на черноморских и донских казаков — теперь тебе не скажу о них ни слова».

Все эти записи он очень ценил и берег, намереваясь привести их в порядок. Это тоже был отчет о поездке, но для одного лишь себя. Тут были и песни и речения... Казак говорит: «Своя воля царя боле!» А другой отвечает: «Дай уму волю, а сн и две возьмет». А еще раз на привале, за огоньком, услышал так: «Ты балакаешь про разуменье, тогда будто все можно взять, а народ говорит разум сядает, да воля не берет». Пушкин это последнее понимал особенно хорошо, как хорошо понимал ощущение лошади на короткой узде.

Были записки пестры и отрывочны. Иногда попадался и легкий набросок стихотворной строки: мысль, интонация, абрис мелькнувшего образа. Но чаще это были скудные записи фактов, порою отмеченных так (из осторожности), что только он сам мог разгадать и припомнить. Вот перед ним таганрогская запись: не о кровати, на которой спал Александр, император, а о крестьянском восстании на Дону, которое удалось подавить только картечью. Именно так генерал Чернышеву слободы Мартыновки-Голодаевки (название-то какое!), рассеял двадцатитысячную толпу мужиков, вооруженных «кольем и дубьем».. И вот под несколькими словами бьется, шумит все та же ненаходящая выхода «воля!» Разве можно об этом в письме? Но когда-то еще они увидятся? И он в свою очередь остерегал младшего брата, пребывавшего еще в университетском Благородном пансионе.

Левушка писал ему же в Кишинев, но не на Инзова, а на Орлова. Пушкин вчера, получив и распечатав, не удержался и вслух продекламировал стихи пятнадцатилетнего брата, пародию на «Народный гимн» Жуковского — «Боже, царя храни».

Самое письмо Левушки было еще по-

лудетское, коротенькое, а стихи длинны и слабы, но конец, прочитанный вслух, всем очень понравился. Точно в стиле верноподданнического гимна Левушка восклицал:

Деву прелестную,
Русским безвестную,
Волю чудесную
Нам ниспослали!

Михаил Федорович Орлов ходил по комнате и все повторял.

— Русским безвестную... Точно: русским безвестную:

«Не доволью ли, что меня одного заслали в пустыню? — думал про себя Александр. — И этому хочется, кажется, того же!» Мальчик один. Правда, его любят в семье, но это слепая любовь, могут избаловать. Да и кто его мог бы направить — отец? Или дядюшка Василий Львович? Странное дело, но и сами они подчас казались Александру большими детьми, жизнь их несет, а сами они лишь поковыляются с боку на бок, как им поудобнее...

И он писал брату — осторожно, но достаточно внятно: «Благодарю тебя за стихи; более благодарил бы тебя за прозу. Ради бога, почитай поэзию доброй, умной старушкой, — к которой можно иногда зайти, чтоб забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться ее милым болтаньем и сказками; но влюбиться в нее — безрассудно. Михайло Орлов с восторгом повторяет... Русским безвестную... я также. Прости, мой друг! Обнимаю тебя!»

Пушкин даже легонько вздохнул, но был и доволен, как непринужденно легла под перо характеристика поэта, которого Лев пародировал, а он рекомендовал почитать, как добрую бабушку. От Льва может все статься: покажет Жуковскому... «То-то будет забавно!»

Так наставлял он малого брата Левушку, а сам про себя хорошо не знал, долго ли выдержит? Сквозь пестроту и суету кишиневского его бытия все яснее проступали резкие черты совсем иного рода.

У Орлова, в первый же день, Пушкин познакомился с очень интересным человеком, Иваном Петровичем Липранди, подполковником егерского полка в дивизии Орлова.

Слегка поблескивая выпуклыми своими светлыми глазами, знакомя их между собой, Михаил Федорович так отзывался о Липранди:

— А вот и еще один парижанин. Вместе, можно сказать, занимали столицу Европы. Прошу, господа, быть знакомыми и жаловать друг друга.

Еще молодой человек, лет тридцати, с хмурыми, но одновременно живыми глазами, поднялся с дивана и обменялся с Пушкиными рукопожатием. Рука его была суха и горяча.

— Вот если б мой брат Александр Федорович не отговорил вас пойти в гусары, — продолжал Орлов, все относясь к Пушкину, — так, может быть, вы вместе с Иваном Петровичем вступили бы в свое время в Царьград!

Липранди, не улыбаясь, показал свои ровные зубы, чуть желтоватые от табака.

Он, этот всяка и дуэлянт, о чем Пушкина также оповестили, был в этот вечер весьма молчалив и более сам приглядывался к Пушкину. Но когда, покинув гостеприимного хозяина, Александр вместе с ним очутился на улице, тот пригласил его на минуту к себе.

— Вы поминали Овидия и ссылку его в наши края и пожалели, что здесь у вас нет его «Писем с Понта». Извольте зайти, и я вам вручу все, что хотите. Овидий мною высоко ценим, и он у меня есть весь.

На стене у Липранди висела золотая шпала, полученная им за храбрость в бою, и несколько пистолетов. Но в остальном это был кабинет не военного, а ученого. На стенах были развешаны карты, и особенно бросалась в глаза карта Балкан, изученная, видимо, с большою и пристальною внимательностью. Не только города, но и многие небольшие селения были отмечены разноцветными карандашами. На столе в большом порядке высились груды папок, лежали чертежи, свернутые в трубки.

— Все это по должности, но и по вдохновению, да-с, — немного загадочно отозвался хозяин. — Пройдемте, однако ж, и в библиотеку.

Это была самая большая комната в доме, вся уставленная шкафами с книгами. Тут были и изящные парижские издания классиков, и ученые фолианты по истории и географии; археология и путешествия. На особом столике лежал массивный, самим хозяином составленный, каталог его книжных богатств.

— А вот тут у меня особые редкости, — сказал Липранди и отомкнул небольшим ключиком огромный глухой шкаф, откуда прямо даже пахло Востоком. Это было порядочное собрание старых рукописей — арабских, турецких.

Великий книжник среди своих владений был сейчас весьма колоритен. Не будучи от природы высок, он казался выше собственного роста, и как бы затем, чтобы хоть немного уравнивать себя с другими смертными, он немного сутулился, что странным образом шло ко всей фигуре его, сухой и прекрасно очерченной. Лицо его было смугло и выразительно. Потомок испанского древнего рода, носящий в себе, вероятно, и мавританскую кровь, он хранил прирожденное, немного суровое достоинство. Хмурость в глазах, быть может, и оставалась, но ее топил блеск разгоревшегося взгляда, когда Лип-

ранди заговорил о книгах своих и о Востоке, и — внезапно — о близости неизбежной войны.

Минута выросла до доброго часа. Пушкин ушел от него с томом Овидия и с ощущением, что он напал на значительного и интересного человека.

После того они виделись часто, и у них установились тесные взаимоотношения: не дружба совсем, но взаимный неостывающий интерес друг к другу. Липранди отнюдь не был любвеобилен, и вообще в нем добрых качеств было немного. Казалось, потому он Пушкина и любил, что тот давал возможность ему быть лучше самого себя. Они платили друг другу полным доверием, и Липранди это высоко ценил: подобным к себе отношением никак не был он избалован.

Через него Пушкин узнал много людей. Балканы, турки, румыны, славяне — переставали быть для него отвлеченностями. В доме у Липранди он встретился с сербскими воеводами, бежавшими с родины и мечтавшими о ее освобождении. Это были смуглые, заросшие, страстные люди. С Липранди у них, по видимости, отношения были исключительно деловые, они помогали ему в научной работе своими многообразными сведениями по географии Балканского полуострова. Пушкин не спрашивал, но, конечно, наука была здесь не отделима от жизни и от политики, от планов текущего дня.

Тут же Пушкин услышал рассказ и о Георгии Черном — народном сербском герое Карагеоргии. Он был повстанец, отец же считал это бреднями и обо всем хотел рассказать угнетателям-туркам. Старик любил свою Сербию, но боялся восстания, чтобы окончательно не погубить родную страну; и, также любя родную страну, сын вынул пистолет из-за пояса и убил отца на дороге. Мрачным образом этим Пушкин был и поражен, и восхищен.

Когда он узнал, что дочь Карагеоргия живет неподалеку от Кишинева, он написал ей стихи, «похожие на узорный кинжал, залитый солнцем», как о них отозвался, прослушав, один из приятелей Пушкина — Вельтман.

«Чудесный твой отец, преступник и герой» — так называл в стихах Карагеоргия Пушкин.

Как часто, возбудив свирепой мести жар,
Он молча над твоей невинной колыбелью
Убийства нового обдумывал удар
И лепет твой внимал, и не был чужд
веселью!

А когда он это прочел сербским воеводам, и о девочке, смиренной своей жизнью искупившей грехи отца, под сурово опущенными ресницами стариков затеплилась давно забытая слеза. И они, быть может, в эту минуту вспомнили сво-

их детей, покинутых в родимой чужбине...

Пушкин, приглядываясь теперь к разноплеменной кишиневской толпе, научился читать на сумрачных усатых лицах балканцев — сербов, болгар. Эти не думали только о сегодняшнем дне, об удачной торговой афере, о партии на бильярде. Под всеми их думами как бы подстелена — дума одна, и даже когда они пили в какой-нибудь дешевенькой ресторации местное кислое вино, каждый их глоток из стакана был подобен поступку.

Однако ж, по некоторым скупым, но определенным высказываниям Липранди, Пушкин скоро уразумел, что готовилось в первую очередь что-то другое. Положение Греции было еще более тяжким, чем положение балканских славян. И хотя кишиневские греки были богаче и торговали недурно, жили спокойней, — они все же между собой что-то обдумывали, к чему-то готовились. Греки были хитрее и замкнутей, но хитрости их не хватало на то, чтобы сообразить, что самая нарочитая сдержанность их была куда как красноречива.

Сестра Горчакова, лицейского товарища Пушкина, была замужем за князем Кантакузенем и жила в Кишиневе. Она просила Липранди привести к ним Пушкина. Отсюда возникло знакомство и с братьями Ипсиланти, пламенными греческими патриотами. Молодые князья Ипсиланти с обожанием глядели на старшего своего брата Александра, безрукого флигель-адъютанта русского императора. Отец их, бывший молдавский и валахский господарь, бежал в Россию еще за несколько лет до присоединения Бессарабии, и умер года четыре назад. Пушкину было известно еще с Петербурга, что в министерствах и при дворе очень сочувствуют попытке Греции освободиться из-под владычества турок. Но теперь он видел воочию зарождение этих идей в самой его окружающей жизни.

Александр Ипсиланти не произвел на него впечатления большого государственного деятеля, но он весьма подходил для роли вождя восставших своих соплеменников. Даже в гостиной он так держал голову, как если бы говорил пламенную речь войскам перед тем, как кинуть их в бой. И действительно, им можно было залюбоваться и за ним можно последовать. Кинуться в бой, оприскнуть врага, или погнаться, но только бы не сидеть у себя в канцелярии, не сопустствовать его величеству красиво разряженной пешкой и не проводить парадных учений! Сама фигура этого человека просила коня, багрового фона пожаров и порохового, клубами, дыма.

Ложась спать, исполненный таких приподнятых впечатлений, Пушкин остро чувствовал близость границы, которая

вот-вот могла загореться на картах Липранди изогнутой, огневою линией. «Что ж, война?» — спрашивал он себя, просыпаясь. И эта мысль заставляла его внимательно приглядываться к русскому воинству, которого в Кишиневе было достаточно.



Русское воинство.. Молодой девятнадцатый век щедро его закалял почти непрерывными войнами, следовавшими одна за другой. Как хороший борец, постоянно себя тренирующий, спокойно взирало оно на возможность и новой (в который уж раз!) встречи со старым врагом. Молодые генералы и молодые полковники, с которыми здесь Пушкин общался, все бывали в боях и имели знаки отличия не на одних парадных мундирах, а и под ними: «Эти памятки, — шутили они, — нам заменяют барометр». Эта ломота от ран была многим известна, и многим памятен был знаменитый огромный барометр в Париже с поднимающейся и опускающейся в нем водой.

Но, однако ж, и здесь, в этих мундирных рядах, не все было так просто и прочно, незбылемо, как это бывало в доброе старое время и как могло бы и теперь показаться по одному внешнему виду. Побывав в чужих краях и дохнув европейского воздуха, русские офицеры — как бы в самых складках шинели, в думах и в сердце, привезли с собой и на родину этот дух просвещения и высокой гражданственности.

Пушкин помнил, как незадолго до его высылки из Петербурга шумели в столице, читая и обсуждая, переписывая друг у друга киевскую речь Михаила Федоровича Орлова, сказанную им на торжественном собрании Библейского общества, где он с такою силой и страстью обрушился на охранителей старого.

— Подумайте, — говорили в салонах старики звездоносцы, — до чего же все это, в конце-концов, может дойти? Как он говорит о людях достойнейших?

Говорили и вспоминали, почти точно цитируя рукопись, лежавшую у изголовья их кроватей и развратившую уж, конечно, не одного каллиграфа из полковых писарей.

...«Эти люди везде и всегда одинаковы. Любители не добродетелей, а только обычаев отцов наших, хулители всего нового, враги света и стражи тьмы, — они настоящие исчадия средневекового варварства. Во Франции они гонят свободумыслие, в Германии защищают остатки феодализма, в Испании раздувают костры инквизиции. Они и у нас были личными врагами нашего великого преобразователя и бунтовали против него московских стрельцов и сейчас они же употребляют все свои старания, чтобы вернуть наш народ к прежнему невежеству и огра-

дить от вторжения наук и искусств. Эти политические старожилы убеждены, что они — избранники, которым все остальные люди обречены в рабство... И они присваивают себе все дары небесные и земные, всякое превосходство, а народу предоставляют одни труды и терпение; отсюда родились все тиранические системы правления, начало которых следует искать не столько в честолюбии самих властелинов, сколько в изобретательности лстящих им».

Даже такие люди, как Александр Иванович Тургенев, речью Орлова были несколько смущены. Вяземский, находивший, что от пера, очиненного шпагою, больше и требовать нельзя, умно замечал: «Наше правительство не выбирать, а удалять умеет с мастерской прозорливостью». На это Тургенев ему возражал: «Я держал бы его близ государя, но держал бы на привязи».

Адъютант Орлова Константин Алексеевич Охотников, большая умница и скупой на слова, показал Пушкину один из самых первых приказов, выданных Орловым при принятии им дивизии в Кишиневе.

Был туманный осенний денек, и Пушкин отошел к окну, откинул портьеру и сел на подоконник с сероватым листом плотной бумаги, исписанной старательным писарским почерком.

«Вступив в командование первую пехотную дивизию, я обратил внимание на пограничное расположение оной и на состояние нижних чинов. Рассматривая прежний ход дел, я удивился великому числу беглых и дезертиров». Далее Пушкин читал о причинах побегов и, в первую очередь, о злоупотреблениях с солдатским питанием: «... ежели сверх чаяния моего таковые злоупотребления существуют где-либо в полках вверенной мне дивизии, то виновные недождо от меня скроются, и я обязуюсь перед всеми честным моим словом, что предам их военному суду, какого бы звания и чина они ни были, все прежние их заслуги падут пред сею непростительною виною, ибо нет заслуг, которые могли бы в таком случае отгратить от преступного начальника тяжкого наказания». — «Я прошу господ офицеров крепко заняться своим делом, быть часто с солдатами, говорить с ними, внушать им все солдатские добродетели, пешись о всех их нуждах, давать им пример деятельности и возбуждать любовь к Отечеству, поручившему им свое хранение и свою безопасность... Я сам почитаю себе честного солдата и другом, и братом». — «Строгость и жестокость суть две вещи разные, одна прилична тем людям, кои сотворены для начальства, другая свойственна тем только, коим никакого начальства поручать не должно. Сим правилом я буду руководствоваться, и господа офицеры могут

быть уверены, что тот из них, который обличится в жестокости, лишится в то же время навсегда команды своей».

Резкий окрик, раздавшийся с улицы, заставил Пушкина выглянуть в окно.

Неизвестно, в чем состояла провинность солдата. Он стоял, вытянувшись в струнку, офицер же размахивал выхваченным из ножен тесаком. Он грубо ругался и орал. Сквозь ругань, однако, Пушкин смог разобрать:

— Когда бы ты был не из этой дивизии, я из тебя такой винигрет бы устроил! Убирайся к чортовой матери, пока цел!

Руки у Пушкина дрогнули. Он толкнул раму окна, но она не подалась, и пока он возился с защелками и наконец распахнул окно, офицера уже не было. Он скрылся за углом соседнего здания. Пушкин хотел выбежать на улицу, но Охотников, сам потемневший лицом, его остановил.

— Этот мерзавец... этот господин офицер, — сказал он с заметною дрожью в голосе, — адъютант Сабанеева — Радич. Он мне знаком. Да, несомненно, он у себя дома мог бы, если не искрошить, то...

Он не докончил. Волнение помешало ему говорить. Пушкин схватил его за руку.

— Я понимаю вас, — воскликнул он с живостью, — вы с ними ведете войну.

— Вы угадали, — ответил Охотников, — и очень точно определили. Но настоящая война еще впереди. Я свободен сейчас, хотите пойти посмотреть нашу школу?

Пушкин уже имел понятие о Сабанееве, командире корпуса, штаб которого находился в Тирасполе. Но он его еще не видал. Это нечаянно вырвавшееся словечко «война» верно порождено было словами Охотникова: «Он у себя дома». Да, и в армии также были свои обособленные территории и резко враждебные лагеря...

Серенький день был прохладен. Туман поднимался, и на небе уже оформлялись контуры облаков. Из-за заборов на улице падали, плавно кружась, желтые листья.

— В мягкую зиму случается, что даже дрозды, теплолюбивая птица, остаются у нас зимовать.

Пушкин взглянул на Охотникова без изумления. Фраза о птицах, такая простая и столь неожиданная, окончательно привлекла его к этому суровому человеку.

— Насколько я знаю, — говорил между тем Константин Алексеевич, — первую школу у нас по ланкастерской системе завел у себя в Киеве Николай Николаевич Раевский. Там его заведывал наш генерал и довел число кантонистов с сорока до шестисот. Он вложил в это дело и силы, и личные средства. Вы ведь с этим совсем незнакомы? Дети у нас обучают друг друга: успевающие руководят

отстающими, а главный учитель имеет лишь общее наблюдение за всем ходом дела.

— Ну, в Лицее у нас было немного иначе, — улыбнулся Пушкин, — там часто как-раз отстающие вели на поводу успевающих!

Школа была расположена в большой деревянной постройке. Одно из окон было открыто, но оттуда не доносилось ни единого звука. «Верно, там и нет никого», — подумалось Пушкину, привыкшему к лицейской свободе.

Но классы были полны. Подростки мальчишки, коротко стриженные, с живыми глазенками, в одинаковых куртках, дружно, по-военному, встали навстречу юшедшим. Особый их интерес возбудил, конечно, не капитан, которого знали они уже хорошо, но тот рослый мальчик, как: первого взгляда им показалось, который юшел с капитаном. Мальчик одет был, однако, по-взрослому и никак не походил на кантониста.. Пушкин, в свою очередь, с меньшим интересом оглядывал этот кишиневский лицей.

Ученики распределены были соответственно их успеваемости: каждое отделение состояло из восьми человек. У каждого такого стола был свой старший, а главный смотритель класса стоял у доски, на которой были вывешены слова, разбитые на отдельные слоги.

— Продолжайте занятия, — приказал Охотников, и все стриженные головки наклонились над покатыми пальпетами, в которых насыпан был ровным слоем гонкий песок.

Точно на морском берегу — кто пальцем, кто тонко очиненной, как перо, палочкой, выводили они на песке заданные им слова. Потом было чтение вслух: каждый отдельно, потом по отделениям и, наконец, хором весь класс. Все это было очень занимательно: тоже английская штука, но как, однако же, не похоже на Байрона!

Пушкин задумался и крепко сжал губы, как это делывал, когда бывало решал недавнюю ему математическую задачу. Он недоуменно взглянул на Охотникова, а тот точно бы отгадал его мысли.

— Вам хочется, может быть, — сказал он с улыбкой, — чтобы летний гром прогремел в осенний денек? Прочтите им что-нибудь из «Руслана»... Ну, бой его: живой головой!

— «Черная шаль» выбила у меня все стихи из головы.. Только ее и читаю. — И Пушкин стал вспоминать потихоньку Руслана.

Найду ли краски и слова?

Пред ним живая голова.

Опронны очи сном объаты;

Храпит, качая шлем пернатый..

Десятки блестящих юных глаз, как пчелы в цветок, впивались в него. Царило то самое безмолвие степи, в котором витязю предстояло вступить в бой с огромною головою богатыря. Пушкин чувствовал эту живую и напряженную, пристальную тишину. Странно, он перед ребятами волновался, голос его звенел. Как это было похоже и непохоже на памятное чтение перед Державиным! Там он читал для него одного, и этот старик — великолепный восемнадцатый век, его судия, возвышался перед ним, как огромный холм. Здесь же.. Он почти их не видел, но смутно, и в то же время отчетливо сознавал, будто бы слышал действительно живое эхо, как их молодые сердца бьются под куртками вместе с его собственным сердцем — удар в удар.

Когда он уходил, ребята его обступили. Они были в восторге, и голоса их плескались, как воды ручья.

На улице Охотников ему объяснял:

— Мы с ними ведем и кое-какие беседы. Но больше со старшими: у нас есть еще школы для солдат и для юнкеров. Туда собирается Михаил Федорович пригласить замечательного человека из егерского полка в Аккермане — Раевского.

— Как Раевского? — воскликнул Пушкин. — Не родственник ли он генерала? Охотников с улыбкой, прощаясь, ответил:

— Нет, этот Раевский совершенно особенный.

Но Пушкину уже самая эта фамилия была мила. Он предчувствовал возможное скорое свидание с милым семейством генерала Раевского. Ему захотелось побыть одному и, протиснувшись с Охотниковым, он направился за город.

День, между тем, прояснился. Облака в вышине, подымившись и покурчавившись, великолепно теперь громоздились одно на другое, меж ними синело горными озерами холодноватое небо. В такую погоду звонок и шаг, а мысли бегут, обгоняя шаги.

Полтора всего месяца, а чего только не было за эти быстро мелькнувшие пестрые дни! Сколько знакомств, раздумий и разговоров. «Пленник», о котором пока великий молчок, но который вчерне вот-вот будет готов. «Черная шаль», которую все твердят наизусть — молдаванская песня, услышанная им в «Зеленом трактире», и как армянин Худобашев, как бы переломленный набок и загребаящий правой ногой, принял ее на свой счет и не прочь был себя выставить соперником Пушкина.. И Пушкин почти хохотал, вспоминая, как кидал его на диван и, садясь на него верхом, приговаривал:

— Что, длинный нос, гречанок задумал у меня отбивать?

И вспоминал великую глупость, как в бильярдной, подвыпив, за женой поспорил с милым приятелем Алексеевым и с уданским полковником Федором Федоровичем, братом генерала Орлова, — поссорился, будучи, кажется, сам виноват. Но помирили. И хорошо. А Федор Федорыч этот — чудеснейший, в сущности, человек. Как он, двадцатилетним офицером, проигравшись в карты, стрелялся перед зеркалом, а пистолет разорвало, и пуля прошла через подбородок, а через год потерял ногу в бою и теперь ходил на деревяшке...

Пушкин ждал возвращения Михаила Орлова, уехавшего по служебным делам.

Давыдовы, два брата, по матери, генерала Раевского, приехавшие погостить к Михаилу Федоровичу в Кишинев, звали его на именины своей родительницы в имение Каменку, где они все проживали большою семьей. Они звали и Пушкина, уверяя, что дамы ждут его не дожидаясь. Пушкин отчасти догадывался, что дело было не в одних именинах, но его ни во что не посвящали, и он обижался немного, что ему как бы предназначалась роль простого увеселителя дам. Но, пораздумав, он махнул на это рукой: главное, снова увидит Раевских. Александр и отец должны быть, наверное, там, а ежели сестры и Николай останутся в Киеве, то кто ему запретит махнуть и в Киев: спрашиваться там будет не у кого! Только б отсюда Инзов отпустил.

Пушкин и не заметил, как взобрался на один из холмов, раскинувших свои шатры над Кишиневом. Пестрый городок лежал у его ног. Белели дома, коричневато темнели сады, редкая листва поблескивала под лучами неяркого солнца, на минуту проглядывавшего меж облаков. Река Бык извивалась по луку, как нарицательная на карте. Здесь ему жить, и ежели даже поедет в Каменку, всё равно ведь сюда возвращаться.. Надолго ли, и вообще, как же дальше все будет?

Он присел на прохладную осеннюю землю и обнял колени руками. Ветерок пробежал, чуть щекоча, по оброставшей его голове. Эта прохлада очень приятна, в ней свежесть и бодрость, нельзя унывать!

Полтора эти месяца снова лежали пред ним и он их обозревал тоже как бы с холма. Так разнообразны, пестры, но порой и значительны были кишиневские впечатления Пушкина. Под легким узором «базара» как ощутимы были ему на глубине движенья другой, большой жизни, искавшей выхода на поверхность. Нет, нет! Не надо унывать!

Пушкин прилег на землю и закрыл глаза. Солнце слабым лучом бередило опущенные ресницы, и от этого легкого касания в сердце возникала неясная музыка. Снова пред ним ожил Кавказ и

Юрзуф, южное море, и как на заре он видел в волнах Нериду.. Музыка еще не рождала слова, но когда-нибудь придут и они! Слабая улыбка тронула губы, потом они дрогнули, полуоткрылись и пропустили легкое дыхание. Пушкин, для себя незаметно, уснул.

Когда он пробудился, не сразу мог сообразить, где он и как сюда попал. Он стал глядеть в небо и увидел там нечто, как бы продолжавшее его молодой легкой сон.

Солнце было покрыто причудливо темневшим косматым облаком, но лучи били из-за огненной его оторочки — голубые лучи, каких не видал никогда. Как если бы солнце было в темнице, но пело, побеждая темницу. Это было чудесно! Пушкин вскочил и протянул вперед обе руки, как бы стремясь охватить в едином объятии небо и землю. Так, секунду промедлив, сжал он ладони и, опять разомкнув, медленно положил их на грудь. Он не сознавал этих движений, но слышал, как сильно, порывисто билось в груди сердце.

Это ощущение биения собственной жизни и голубых неукротимых лучей как-то сливались в одно, точно бы в нем самом загоралась такая же огневая оторочка, как у того облака на вышине: это и бой, и победа, и песня. Жить — хорошо!

С холма он сбежал, как любил это делать, когда сердце бывало полно: так верно воды неудержимо бегут с высоты.

Уже внизу, немного запыхавшись и умеряя размеренным шагом биение сердца, он снова обрел потребность пошутить. Он вспомнил: дрозды.. теплолюбивая птица.. «Ну что же, и я, вольнолюбивая птица, попробую тут зазимовать.. А все-таки, раньше того, — в Каменку! В Каменку!»

НА БЕРЕГАХ ТЯСМИНА

Все так и случилось. Орлов поговорил с Инзовым, и добрый Иван Никитич отлучку Пушкину разрешил.

— С генералом Раевским я тебя отпустил из Екатеринослава, — сказал он ему на прощанье, — и к генералу Раевскому опять отпускаю. Только тогда была ты большой и вылезился, а теперь остерегайся — не захворай. В Каменке климат опасный!

При этом Инзов сощурил левый глаз, стремясь подчеркнуть этим движением всю тонкость сделанного им намека. Пушкин, впрочем, и так отлично догадывался, что тот имеет в виду, но притворился, будто подумал что-то другое. Он коснулся рукою у сердца и, смеясь, возразил:

— За это ручаюсь. Будьте покойны.

— Что, брат, за это.. Вот за что поручись!

И старик постучал желтоватыми пальцами по лбу.

За этой шутилой беседой скрывалось, конечно, и серьезное. Во всяком случае Пушкин надеялся заставить и увидеть в имени Давыдовых множество новых и интересных людей. В самые последние дни до Кишинева дошли слухи о военном бунте Семеновского полка в Петербурге. Что-то готовилось и назревало. «Настоящая война еще впереди», — вспомнились ему слова Охотникова, также теперь собиравшегося в Каменку. Пушкин часто спрашивал себя: «А где же мое собственное место? И какова цель моей жизни?»

Выехать решено было рано.

И они пожелали друг другу доброго сна.



Осень в том году на Украине выдалась ясная, теплая. Ноябрь уже перевалил за половину, а еще леса кое-где не были вовсе черны. Порой пролетала отбившаяся и запоздавшая цапля, и аист, напоминающая Михайловское, стояла где-нибудь на одной ноге у затона, не боясь простудиться. На лугах по мочежинам еще зеленела трава, радуга глаз, и, низко склонившись, прилежно щипали ее отары овец; облака на синеве всё завивались по-летнему. По утрам, однако ж, ложился по перелескам сизый туман и солнце вставало — недужное.

Худенький Пушкин зарею поживался, а Михайла Орлов, нежадный до сна, плечистый и плотный, пышущий здоровьем и утренним добродушием, закуривал походную трубку. Александр глядел на него, не полностью размыкая ресницы.

— Что ты на меня шуришься! Я ведь не солнце.

— Верно, на вас лежит солнечный отблеск, — ответил Пушкин не без намека.

— На какую рекрутскую службу ты поступил, я не знаю, — продолжал шутить Михаил Федорович, обращаясь к Пушкину «на ты», как всегда это делывал, будучи в расположении веселом. — Но ты голову выбрил: оттого знать и зябко.

— Подождите, генерал, скоро забреют и вас, — живо отвечал ему Пушкин и, видя недоумение на розовом лице своего собеседника, пояснил: — Я разумею: на службе у Гименея.

Волна крови прилила к щекам Михаила Федоровича. Он выпустил целое облако дыма и, скрывая смущение, расхохотался, — быть может, несколько более громко, чем хотел.

— Откуда ты знаешь?

— Сердце сказала.

— Ну, ну! — немного смущено погробил ему пальцем Орлов. — Я знаю тебя и твою «Черную шаль», не вздумай приревновать!

Тут покраснеть пришлось в свою очередь Пушкину, и он принялся расспрашивать о гостях, ожидавшихся в Каменке. Но на эту тему Михаил Федорович распространяться не слишком с большою охотой. И Пушкин умолял, дабы не возбуждать в собеседнике излишней настороженности. Да оно и любопытнее было — все выдать и все разгадать самому.

Само по себе путешествие было очень приятно. Снова ложилась земля под колеса, кружились поля и плавно бежали деревья на горизонте.

Когда после тракта дорога пошла меж холмов, лесистым проселком все ниже спускаясь к долине Тясмина, — реки, которую доселе он только слышал, — в воздухе повеяло сладковатым, несколько пряным запахом прелой опавшей листвы. Пушкин вытянул ноги, снял шляпу, под ней ермолку. Касание холодного воздуха к коже напоминало немного купанье.

Он про себя улыбулся. Теперь, чтобы осень, с детства любимая, дохнула во всей полноте, недоставало, пожалуй, еще только горьковатого дыма из кухонных труб, а в самой усадьбе, наверное, встретит особо приятный для путников аромат пирогов — в честь именинницы, престарелой вдовы Екатерины Николаевны — родоначальницы сначала Раевских, позже Давыдовых.

Лошади прибавили рыси, когда на взгорье, господствуя над рекой и местечком, открылся глазам двухэтажный обширный помещичий дом, окруженный по обе стороны многочисленными службами. Флигель стоял прямо в саду, ближе к реке. Ниже еще, у плотины, стояла старая мельница; красивая башня при входе напоминала собой мавзолей. Две церкви местечка поблескивали небольшими крестами. Одна из них, новенькая, деревянная, как подъехали ближе, казалось, пахла еще свежими бревнами. Избы белели по-украински — равно и у крестьян, и у евреев, занимавших целый порядок вверх по реке.

Сад, начинавшийся от господского дома, был гол и прозрачен. В высоких сапогах, с ружьем за плечами, с двумя собаками по саду шел молодой человек. Завидев экипаж, он остановился, снял шляпу и чуть декоративно задержал ее так в отведенной руке, приветствуя этим жестом гостей. Пушкин только взглянул на него и сразу узнал.

— Александр! — закричал он, соскакивая на ходу с экипажа.

— Куда вы? Он к нам подойдет!

Но Пушкин не слышал, что ему говорил Орлов. Перепрыгивая через канаву, отделявшую сад от дороги, он едва не споткнулся, и лишь ухватившись за голую гибкую ветку орешника, быстро, легко выскочил на довольно крутую, заросшую кустарником насыпь. Александр Раевский степенно и, не торопясь, при-

держивая покороче собак, шел ему навстречу. Они обнялись.

— Ну, Александр, я очень рад, что ты выбрался к нам, — говорил он с искренней радостью и, однако же, чуть покровительственно поглядывая на друга сверху вниз.

Пушкин глядел на него сияющими, загоревшимися глазами.

— Орлов дожидается, — сказал Раевский.

Но Орлов как-раз махнул кучеру и тот резво погнал лошадей.

— Ну что, подружился?

— Я уважаю Орлова, — ответил Пушкин серьезно, и несколько сдвинув брови.

«Он непременно будет с ним говорить о сестре», — подумал он в то же самое время, и чуть запинаясь, спросил:

— А кто же из ваших.. здесь?.. Кто приехал?

— Ах, вот ты с кем подружился! — смеясь, возразил Раевский. — Я знаю уже, я всё теперь знаю..

И, любясь смущением Пушкина, рассказал ему, что сестры и собирались, да из-за нездоровья Елены остались в Киеве.. («Ну, язык и до Киева доведет.. Буду там непременно!» — пронеслось у Пушкина в голове), что и брат Николай не захотел их покидать..

— А, впрочем, я поглядел бы, как он их вздумал бы не покидать.

— Но почему ж?

— Отец не пустил.

— А, понимаю, — весело рассмеялся Пушкин. — В Каменке климат, говорят, опасный! Но меня, однако ж, пустили..

— Вот именно климат, — улыбнулся в ответ и Раевский.

— А что, — спросил его Пушкин, не удержавшись. — Кто тут? Говори. Есть интересные люди?

— Люди как люди, — с обычной насмешливостью ответил Александр Николаевич. — А вот жаль, что ты не охотник.

— Нет, до людей я охотник, — быстро ответил Пушкин, смеясь.

И оба они пошли по направлению к дому.

— Будет охота скорей на тебя. Дамы ждут не дождутся. Все Пушкин да Пушкин: «Когда ж будет Пушкин?»

— Я это слышал уже. Будет!

До именин оставалось три дня, и пирогами еще не пахло, но двор уже весь переполнен был экипажами. Оглобли, поднятые вверх, напоминали осенний бурьян на заброшенном поле. Между людей шныряли собаки, и кучера громко бранились.

Пушкин все это время был крайне стеснен в деньгах. К тому же, незадолго совсем до отъезда прибыло отношение в Бессарабское областное правительство о взыскании с него старого петербургского долга, однако ж на кру-

гленькую сумму в две тысячи рублей. Бумага переслана была Екатеринославским губернским правлением.

Пушкин Инзову жаловался:

— А отчего не послали ее на Кавказ, а после в Юрзуф, в Бахчисарай? Непорядок! Она мне, как лодке, нос перерезала..

— Посмотрим.. Поедешь, — отвечал ему Инзов, — а мы уж тут что-нибудь выдумаем.. — И обещал, кроме того, написать в Петербург, чтобы жалованье-то хотя б выслали.

Про Пушкина нельзя было, однако ж, сказать, чтобы он жил небогато. Это определение совсем не подходило. Он не тратил совсем ничего: нечего тратить! Порой занимал; случалось, хоть редко, немножко выигрывал в карты; постанывал к брату в письме: «Мне деньги нужны, нужны!» Питаясь у Инзова или в гостях, редко за свой счет в трактире, особенно остро он ощущал недостаток в одежде и обуви. В сущности, только одна и оставалась приличная пара.. И оттого он ни за что не позволил выбежавшему навстречу лакею взять свой чемодан: не слишком-то был он тяжел! А когда подошел где-то замешкавшийся Никита Козлов, Пушкин, от смеха даваясь, громко его предупредил:

— Поосторожней носи. Не надорвись!

Денег из дому не слали. И невольно сейчас, моясь и переодеваясь, он представил себе петербургскую квартиру отца, как сидит он в халате у письменного стола, опершись о подлокотники кресел и вертя в руках разрезальный нож из слоновой кости, а Лев стоит перед ним, держа очередное письмо брата. «Но чего же он хочет? — говорит отец, переходя на самые высокие ноты: это всегда у него и оборона, и наступление. — И чего вообще все вы от меня требуете? Что мне — халат свой продать, обстановку? Я делаю все, что могу. Кто может меня упрекнуть? Я пишу ему любезные письма.. И, наконец, я же ведь не отрекаюсь от блудного сына..»

Тут Александр, моясь и фыркая, живо представив себе и фигуру и интонации очередной декламации отца, расхохотался так весело, как давно не случалось. «В Киев — да, непременно — поеду! Но, кажется, и здесь хорошо!»

Издали, с лестницы, слышался шум голосов, женские возгласы, и им овладело забытое ощущение петербургской его молодой и беззаботной жизни.

Еще когда проходил через залу, чтобы подняться сюда, произошла у него забавная встреча. Нарядная девочка с милым и нежным лицом, бежавшая на носках через комнату, внезапно остановилась, заметив его, и, тронув слегка кончики белого платья, уже готова была присесть в реверансе, но так и застыла в изумлении. Он издали, по невольному движе-

нию ее губ, разгадал безмолвное восклицание: «Пушкин? так вот он какой!» И, повинувшись охватившему его шаловливому настроению, он сделал ей смешную гримаску. Девочка от неожиданности выпустила платье из пальцев, сомкнула ладони и опустилась на пол от затомившего ее беззвучного смеха. Тогда он и сам заскользил по вошеному паркету, как если б бежал на коньках.

— Адель! Адель! Иди скорее сюда! — услышал он, как по-французски кто-то шалунью позвал из-за дверей.

Произношение выдавало природную француженку, и, обернувшись, Пушкин успел различить в распахнувшейся двери легкую чью-то фигуру, взбитые локонны и изящную ручку, олягощенную кольцами; быстрый женский взгляд сверкнул на него с любопытством. Кажется, это была жена Александра Львовича, старшего из братьев Давыдовых.

Он кончил свой туалет, и сейчас же его охватила возвращаясь к нему, привычная светская легкость, как на балах в Петербурге; глаза заблестали, и по скрипящим ступенькам он стал сходиться с лестницы.

Александр Львович, огромный толстяк с большим животом, непокорным жилету, спускающийся, с высоты своего величия, представил его своей жене Аглае Антоновне. В глазах у нее мелькнул веселый огонек.

— А я вас уже видел, — минуту спустя, болтал с нею Пушкин, едва толстяк отошел. — И сразу узнал. Вы точно такая, как я вас себе представлял. Я о вас много дорогою думал.

Впрочем, все это он говорил, ни минуты не думая, что она может поверить. Это была обычная легкая болтовня, а эта тридцатилетняя хорошенькая женщина, миниатюрная и грациозная, как фарфоровая кукла, с задорно вздернутым носиком и кокетливой улыбкой, конечно, привыкла к подобным невинным шуткам. Впрочем, Пушкин свой комплимент произнес отчасти и в пику ревнивому супругу, покровительственное отношение которого его раздражало. И всё же пустяки эти создавали сразу между молодой хозяйкой и гостем какую-то условную легкую близость, и за обедом они несколько раз взглядывали друг на друга, как будто меж ними уже была некая маленькая тайна.

Адель заняла место рядом с матерью, и на нее Пушкин глядел совершенно иначе, чем на ее мать. Впрочем, и девочку было не узнать. Она сидела за столом, как большая, держась несколько преувеличенно прямо. И лицо у нее — не просто детское личико. Чистая линия лба и чуть косой разрез глаз создавали неповторяемое своеобразие. Сейчас он глядел на нее почти с робостью, как если бы даже и взглядом можно было что-то

спугнуть невозвратимое, неповторимое, как самое детство.

Так нередко возникали у Пушкина своеобразные отношения с людьми, с которыми за четверть часа до того он даже не был знаком; порою это случалось и с первого взгляда.

Перед тем, как садиться за стол, он все поглядывал, где же Раевский Николай Николаевич. Генерал вышел из внутренних комнат с престарелой матерью, когда почти уже все были в сборе. Орлов тотчас к нему подошел, и они на глазах у всех обнялись. Пушкин не смел этого сделать, хотя чувство его толкало к тому. Николай Николаевич приветливо ему улыбнулся, добро пожал его руку и представил матери. Орлов был давно уже с нею знаком.

Сидя теперь за столом, Пушкин, конечно, был занят не одними лишь дамами, он озирал и все общество, живо, легко схватывая общую картину. Здесь не было чинности, званого петербургского обеда, ни некоторой безалаберности кншиневских пиршеств, тут господствовали непринужденность, свобода и тот особый тон простодушия, какой-то домашности, который Пушкин ценил и любил и которым так наслаждался, едва ли не впервые в жизни, в Юрзуфе у Раевских.

За столом, вперемежку с помещиками и забавными дамами их, блистало немало военных мундиров. Александр жадно глядел и на этих, еще совсем молодых офицеров, стараясь прочесть в их манерах, во взгляде скрытые думы. И вправду, казались они какой-то иной породой людей. Раевский был всех много старше. Пушкин невольно сравнивал эти два поколения.

С теплым чувством почтения, столь для него редким, взглядывал он на генерала Раевского, сидевшего рядом со старухой матерью. Лицо у Николая Николаевича показалось ему немного уставшим, летний здоровый загар отошел, ясней выделялись морщинки у поседевших висков.

И Пушкину вспомнилось, как впервые увидел Раевского на лубочной картинке, где изображался подвиг его в отечественную войну двенадцатого года, как генерал, взяв за руку своих сыновей, Александра и Николая, бывших совсем еще мальчиками, вышел с ними под обстрел неприятеля и крикнул солдатам: «Вперед, ребята, за царя и за отечество! Я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь!» Пушкин отчетливо помнил, как еще мальчиком глядел он на эти лубки и как по спине его пробежал ошутимый холодок восторга.

Правда, что героическая брань эта давно отшумела; правда и то, что отношение к царю и у Пушкина, и у всей молодежи резко теперь переменялось, — но героизм Раевского от того не поблекло.

И разве в нем не остались всё те же — храбрость и честь, прямота? И то, что недавно узнал про него от Орлова: царь хотел возвести его в графское достоинство. Раевский ответил ему тем девизом, который во Франции провозгласил один из Роганов: «Царем быть не могу, герцогом быть пренебрегаю, я — Роган!»

И эти, молодые, знали войны.. Но стоящая их война еще впереди. Будут и там свои испытания.. Как они выдержат их? Пушкин взглянул на Орлова. Спокойный и ровно оживленный, он любезно беседовал с соседями. Но в ясных выгуклых глазах его Пушкин читал и задумчивость, которую не трудно было отгадать. Однако Пушкина сейчас занимало другое. В первый раз с такою отчетливостью почувствовал он, какое своеобразное место занимает Михаил Федорович Орлов между другими его знакомыми и приятелями-военными.. Он был самый старший среди молодых, но, одновременно, и самый младший из старшего поколения. Куда же он ближе, и что для него больше характерно?

Раевского, Инзова Пушкин считал, как чудесных и истинно ему милых людей; Раевский к тому ж был и настоящий народный герой. С Охотниковым и другими молодыми офицерами, с которыми сблизился в Кишиневе, роднило его общее восприятие жизни. С ними было легко и все с полуслова понятно. Как же с Орловым? Часто тот говорит ему «ты», а Пушкин его величает на «вы».. Какая-то грань отделяет его от прочих. Раевский и Инзов — там явное старшинство, здесь — что-то другое.

И Михаила Орлов — отличный вояка; и Михаила Орлов по взглядам своим отделим от молодежи; но у Михайлы Орлова есть нечто свое, что его отделяет от тех и других и.. пожалуй, что так и надо это сказать, — выделяет его между другими.. возвышает над ними. Орлов — государственный ум и прирожденный государственный человек, если бы дали ему настоящую власть. «Я чувствую в себе больше способностей, чем могу применить в моей обстановке» — это его собственные слова. И при этом никак не думал он ни о карьере, ни о почестях. В этом Пушкин отдавал ему должное.

Но не было в нем ни озорства, ни молодого задора, цветения не было.. («Какой же тогда он жених!» — именно что с озорством подумалось Пушкину). Но даже не это, а вот чего у него нет: нет этого снизу, которое есть и у Охотникова, и у других. Он молод, но он генерал уже с двадцати шести лет, и как давно уже он — распоряжается. Вот Пушкину не только нечем распоряжаться, но он и вообще — не у дел.. («Так, с другой стороны, какой же и я-то жених!» — И стремительно выпил рюмку вина).

Все эти мысли с лаконической быстротой пронеслись у него в голове, перебиваемые еще более быстрыми «интимными» мыслями, скорее похожими на мгновенный укол, чем на полет. «Сановник! Вельможа!» — Пушкин способен был и на минутную несправедливость.

Как-то спросил он Орлова, слегка раздраженный его достойным спокойствием:

— Вот вы говорите: «Жить с пользой для своего отечества и умереть одлакиваемым друзьями — вот что достойно истинного гражданина». Ну, а умереть за отечество?

— Жизнь моя к тому бывала готова не раз, — с большой простотой ответил Орлов.

Пушкин смолчал: ответа не было убедительней. Но он думал, спрашивая, о другом, к чему готовы были, он это чувствовал, многие из молодых. Или это чуждо было Орлову?

«Не буду я больше думать о нем», — прервал сам себя Пушкин, и тотчас обменялся улыбкой с Аглаей Антоновной. «Однако, действительно, кажется, занят он мною», — подумала та. — «И какой он живой и смешной!»

Обед, между тем, как костер, разгорался не сразу, но уже потрескивали в разных местах, подобно загорающимся сучьям, отдельные восклицания, смех. Еще немного, и все сольется в единое шумное пламя.

Стол возглавляла хозяйка, семидесятилетняя барыня, в темной наколке из кружев. По левую сторону от нее сидел генерал Раевский, ее первенец и единственный сын от первого брака. Сиделись за стол не по чинам, и Пушкин расположился, впрочем, по указанию, неподалеку от них. В этом тоже было нечто приятное, ибо тем самым он здесь пребывал отчасти как свой. Время от времени до него доносились отдельные фразы из их разговора. Однажды прислушался он и поинтересовался.

— А правда ли маменька, — говорил Николай Николаевич, склоняясь к старушке и поднося к губам длинные ее пальцы, как бы тем самым предвзяв ее, что последует нечто интимное; при этом лицо его открытое, но немного суровое, теплело в улыбке. — Правда ли, что вы уже готовились стать матерью, а еще игравали в куклы?

— Ах, мой дружок, — возражала она, отводя в сторону вилку, чтобы случайно его не задеть, и отвечая поцелуем в голову на поцелуй руки, — а вся жизнь не есть ли игра, и люди — не куклы ль в умелых руках, привыкших к игре?

Сын почтительно-весело ей возразил:

— Что до меня, я, как и в детстве, всю жизнь играю в солдатики!

— Ты шутишь, а я говорю вовсе не в

шутку. Великое дело — уметь играть в эту игру, о которой я говорю. Мы это знали, а вы забываете, у вас теперь в голове, видишь, и-де-и! Ты хотя бы Василия Львовича, взял труд, пожурил. Да и все его эти приятели ходят возле греха.

И она повела еще быстрым, насмешливым взглядом по молодым офицерам.

— Не печальтесь, мамаша! — весело крикнул ей, расслышав последние слова, младший из Давыдовых, Василий Львович. — Вы уповайте на Александра Львовича. Старший мой братец верен отцам: он только и ходит, что возле стола. Да и сейчас поглядите, как вдохновился, как вник!

Все, слышавшие этот возглас, весело рассмеялись и невольно перевели взгляд на Александра Львовича, который столь усердно трудился над залогом жиром индейкой, что не только ничего не слышал, но вряд ли и вообще в эту минуту что-либо другое способен был воспринять. Жирные плечи его, как эполеты, свисали над белой большою салфеткой, закрывавшей лишь верх его груди, ворот и галстук; ниже валами вставал огромный живот, который ему не мешал лишь по многолетней привычке. Птиц иногда ели руками, беря деликатно ножку или крылышко, но Александр Львович позволял себе много больше: шумно он грыз сладкие кости, жевал их, высасывал мозг, а остатки выплывал к себе на тарелку; пальцы его блестели от жира, не стесняясь, он их облизывал и только потом уже комкал салфетку у подбородка. Тут до идей действительно было далеко.

Заметив, наконец, что по какому-то поводу стал центром внимания, толстый Давыдов шумно откинулся, двигая кресло, в котором сидел, еще раз покрепче обтер себе рот в уголках и возгласил:

— Нет лучше домашней индейки! Те дураки, кто живет в Петербурге. Не правда ль?

И, посмеявшись своему остроумию, поманил доверительно старика-дворецкого:

— А нет ли на кухне еще? Погляди.

Когда в комнате засинели ранние сумерки, лакеи зажгли высокие свечи — и на столе в канделябрах, и по стенам в бронзовых бра. Хрусталь засиял, и тени, пересекаясь, легли на скатерти и на тарелках. Лица при свете огня изменились: женские стали таинственнее, мужские — значительней. В группах молодежи звенели бокалы, и Пушкин различал негромкие, но одушевленные тосты за свободу и за карбонариев, восставших в Неаполе. Офицеры в неверном свете свечей казались ему заговорщиками. Пили иносказательно за тех и за ту...

— Неаполь далеко, — промолвил он вслух. — Не худо б и нам...

Он вспомнил Липранди, у которого бы-

ло намерение идти волонтером в итальянскую народную армию, и хотел тотчас рассказать об этом соседу, молодому человеку, но встретил ясные глаза его, как бы запрещающие много болтать, он почел это за особый доверительный знак, и у него стало в груди горячо. Ему казалось, что еще немного — и его пригласят на заседание, где для него откроется заговор, планы, и его пригласят в число заговорщиков. В Петербурге нето. В Петербурге отмалчивались или отрицали все начисто. Здесь люди иные: дальше от трона, открытее мысли и действия!

Пушкин редко пьянел от вина, но весь этот вечер, давшийся свободно, легко и после обеда, многолюдное общество, нарядные женщины, милые лица Раевских, шутки и тосты, счастливое сознание, что он не в Кишиневе, особенно ощущение близости чего-то необычайного, что отныне войдет в его жизнь, — все это пьянило сильнее вина.

Соседом его оказался старый знакомец — Иван Дмитриевич Якушкин, с которым встречался он еще у Чаадаева в Петербурге.

Первая эта их встреча едва не началась со столкновения. Знакомясь, Якушкин назвал свою фамилию. Вчерашний лицеист сделал вид, что расслышал ее так: «Я — Кушкин», и с бойкостью возвратил, вдобавок еще, как бы и ослышавшись:

— Позвольте, однако ж... Но ведь это я — Пушкин!

— Я имею удовольствие знать, что вы Пушкин, — последовал ответ, хоть и безукоризненно вежливый, но дающий понять, что шутка не была принята.

Шутка была не принята, но все же обиделся больше не новый знакомец, а сам Пушкин: доселе он был так избалован, что каждое слово его принималось с восторгом. Он поглядел снизу вверх на своего собеседника, готовый на самый резкий ответ; кровь уже кинулась в голову. Но к ним подошел Чаадаев, Пушкин взглянул в спокойные его, твердые глаза, столь далекие от всяких житейских страстей, что при нем погасла всякая возможность личной ссоры, и ограничился тем, что сердито спросил, отходя с Петром Яковлевичем, кто же, собственно, этот дерзкий молодой человек в штатском?

Чаадаев, по обычаю, спокойно и рассудительно, в ответ рассказал недавнюю новость про вышедшего в отставку юного штабс-капитана Якушкина, как он вызывался в Москве покончить с императором Александром... Молодежь толковала тогда о бедственном положении, в котором находится Россия. Читали письмо Трубецкого, что царь ненавидит и презирает Россию, хочет несколько русских губерний присоединить к Польше и

самую столицу перенести в Варшаву. Все были возмущены и крайне возбуждены. Когда же волнение достигло высшего предела, Александр Муравьев заявил, что царя надо убить, и предложил бросить жребий. Тут-то Якушкин и выступил. «Вы опоздали! — воскликнул он. — Я решился без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступаю этой чести».

— Вот молодец! — воскликнул, загоревшись, Пушкин. — Я тотчас побегу позвать ему руку.

— Погодите, — все так же спокойно остановил его Чаадаев. — Ему не следует об этом напоминать. Его и тогда едва успокоили и отговорили. Вы ведь играете в шахматы? Так он, между прочим, сказал, когда пытались его охладить и уверяли, что он на завтра одумается и сам: «Вы говорите — одумаюсь, но я и сейчас совершенно спокоен. Хотите сыграть в шахматы, и я вас обыграю!»

Так Чаадаев и самого Пушкина успокоил. Тот засмеялся:

— После всего вами рассказанного я и сам готов получить от него мат и обещаю, что не буду сердиться!

Встретившись здесь, тотчас они оба вспомнили это первое их знакомство и как забавно оно состоялось.

— А и действительно, кто же вас не знал? Да и здесь — кто же не знает здесь Пушкина и его горячих стихов?

Якушкин с тех пор изменился. После обеда он рассказал, как поселился в деревне, в Смоленской губернии и сел на хозяйство. Деревенская жизнь на него наложила свой отпечаток. Он и сам теперь говорил куда как спокойнее и деловитей, лишь изредка вскидывая на соседа ясные прямые глаза, об уединенной жизни своей в сельской глуши и о планах освобождения крепостных.

— Поляки теперь, кажется, нам не угрожают, жизнь стала прочней. И вот я им предлагаю, что отпущу их на волю. Толкую им это, а они в ответ мне одно: мы ваши, а земля наша!

— А вы хотели бы, чтобы земля была ваша, а они... свои? — живо возразил Пушкин, быстро схватывая суть положения.

— Я хотел, чтобы они стали свободными, а не крепостными. Состояние крепостных есть состояние, позорящее и их, и меня; главное благо — свобода.

— Вы правы, конечно. Свобода есть первое благо. Но чем же им жить, как зарабатывать?

Якушкин немного помедлил, как бы решая про себя, рассказывать ли: не вышло бы чего-нибудь похожего на то, что он рисуется своим благородством. Но, поглядев на Пушкина, все же открялся:

— Я начал с того, что уменьшил им барщину наполовину. Я учу их детей,

а самих взрослых отучил кланяться в ноги и стоять передо мною без шапки.

Пушкин слушал с живым интересом; уважение к собеседнику светилось в глазах его.

— Ну, а землю.. Я им хотел предоставить безо всякого выкупа и в их полную собственность усадьбы, их, скот и имущество. Что же до пахотной..

Тут Якушкин раздумчиво качнул головой, как бы сам себя спрашивая: «Ну, а совсем без земли.. и помещику.. как же и чем существовать без земли?» Пушкин, казалось, безмолвно его понимал, и собеседник закончил:

— Что же до пахотной, то я хотел так: половину обрабатывать вольнонаемным трудом, а половину сдавать им в аренду..

— И на чем порешили?

— Я стал хлопотать в Петербурге, а там об условиях не стали и слушать и во всем отказали. Да и странно, пожалуй, было б чего-нибудь ждать..

И Якушкин, закончив эту невеселую тему, вдруг усмехнулся и вымолвил пониженным тоном:

— А знаете ль вы, что я видел вас в Кишиневе?

— Когда? Каким образом?

— А вовсе недавно.

— Вы приезжали к Орлову?

— Я приезжал в Кишинев.

Так это для Пушкина и осталось загадкой.

В зале, полной гостей, вечером все танцевали. Пушкин произносил эпиграммы: их все знали здесь и все их хвалили.

Вина в столовой не убирали, и столовая не оставалась пустынной комнатой.

— Мы с вами не выпили, — сказал Пушкин, несколько захмелев и взяв под руку генерала Орлова, чего обычно не делал. — Там шли все за нее. Выпьем и мы..

— За будущую киевскую именинницу? — спокойно и просто произнес Орлов, принимая намек. — Пойдемте.

Пушкин был этим доверием и прямою совершенно обезоружен. Они дружно чокнулись, и ему не захотелось более возвращаться в бальную залу. Он поднялся к себе, надел пальто и незаметно спустившись, вышел из дому.

Ночь была крепкая, звездная. Схваченная легким морозцем, земля ложилась под ногою упруго, как бы с охотой сама давая наступить на себя. В саду было строго, прозрачно. Деревья не жались друг к другу, и им для раздутья было довольно простора. Незаметно сошел он к реке, и в звездном ночном полусумраке Тясмин показался ему немалой рекой. Движение ее скорей ощущалось, чем было видимо глазу, и лишь у берегов тонкою певучею оторочкой плескалась ночная вода.

Пушкин присел на берегу прямо на землю. Голова его была обнажена. За от-

вороты рубашки холодок проникал и на грудь. Множество впечатлений сегодняшнего дня находили теперь в тишине свое настоящее место,—как нынче в столовой, все на ногах, беспорядок и шум голосов. Минута — и сели все в стройном порядке, и тишина. Пушкин знал хорошо, как у него это бывает, и очень это любил.

И вот — изо всей пестроты, забавного и серьезного, внешнего и душевного, громогласного и лишь отгадываемого, выделялась одна будто бы совершенная мелодия: Якушкин был в Кишиневе, и он этого не знал... В Кишиневе! — где через полчаса все новости знают во всех кофейнях города. И не кто-нибудь, а не знал он! Что это значит? Якушкин, разговоровшись, ясно сказал ему лишнее. Что же от него скрывают и почему?

Да, острая память ему не изменяла, она все сохраняла на случай, и тотчас подала.

ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР

Давыдовы были безмерно богаты. «Те дураки, кто живет в Петербурге». И действительно, здесь было все, или почти все, чем изобилвала Северная Пальмира, но не было никаких придворных стеснений: тут был как бы собственный двор, не имевший ни тягостного этикета, ни нарочитой парадной пышности. Жизнь протекала широко, с размахом: деревенский простор пашен, лесов, рек и степей был почти необъятен; охота, поездки к соседям и в города — Киев, Одессу, Кишинев; ярмарки, выборы, балы и молебствия; свадьбы, крестины и похороны... Лошади на конюшнях не стояли без дела.

И у себя принимали Давыдовы ближних и дальних соседей с охотой и гостеприимством. А впрочем, и без гостей дом был переполнен племянниками и племянницами, дальними родственниками, приживалаками и приживальщицами. Нехватало лишь арапчат да карлы и карлицы, но уж, конечно, не потому, что было трудно ими обзавестись или хлопотно с ними обходиться, а просто не было к этому делу любопытства. Зато с черного хода обильно ходили многочисленные бродячие люди: паломники по святым местам, монахи, монашки, просто юродивые. Их принимала, до того, как повести избранных к старой барыне, дочка старика-дворецкого, воспитывавшаяся на положении приемной дочери. Пушкин обратил внимание за столом на эту бледнолицую девушку с горящими глазами, у которой поверх платья висел на цепочке деревянный кипарисовый крестик. Когда отец приближался к ней с блюдом, она поднималась и целовала ему руку. Таков был обычай.

И все это множество народу, — воспитанников и тунаецдцев, — пило и ело, обувалось и одевалось, получало подарки.

Хватало на всех: богатство старухи Давыдовой было столь велико, что однажды в игре, забавляясь, второй ее муж, Лев Денисович Давыдов, из одних начальных букв тех поместий, кои ей принадлежали, составил целую фразу: «Л е в л ю б и т Е к а т е р и н у».

И эта Екатерина умела еще и теперь поддерживать славу державной тезки своей «матушки Екатерины», и на именинах ее пахло тем веком, что отошел, как самой ей казалось, лишь в недавнее прошлое, но о котором младшее поколение знало лишь понаслышке.

Служили молебен двенадцать священников, гостей было свыше ста человек, столы ломались от яств и питья, пушки палили приветственные салюты, а вечером, при иллюминации, отраженной тяжелыми водами Тясмина, выкатили для челяди несколько бочек вина. И сама именинница, забыв о «домашности», в тот день выступала, как некогда на придворных балах, со всей той пышностью, какая и подобала любимой племяннице блистательного князя Григория Александровича Потемкина.

И большой дом, и флигеля шумели, как улы перед роением. Весь этот день полон был звука и блеска. Споры и смех; прозрачные звоны бокалов и приглашенные стуки бильярдных шаров; щелканье шпор и шлепанье по полу быстрых, босых девичьих ног; духи и табак; запахи кухни и ладана после молебствия в зале; тосты в столовой на обеденном пиршестве и вечером танцы с домашним оркестром и дирижером, отдававшимся этому важному делу со всей беззаветностью; карты для старших и веселые игры для молодых; свечи в обширных, жарко натопленных комнатах и свет месяца в заолодавшем пустынном саду, примыкающем к дому, — таковы были эти именины и торжество в день святой мученицы Екатерины.

Пушкин, кружившийся вместе со всеми и едва успевавший отводить своих дам на места, однако ж, совсем не терял головы. Эти три первые дня то обещали ему, то обманывали. Он не сразу еще видел и узнавал тех людей, которые его интересовали.

С наибольшею живостью и даже азартом вели разговоры самые молодые из офицеров; иные из них еще хранили угловатость подростков и, преодолевая ее, заливаясь почти девическим румянцем, старались казаться особенно вольными в манерах и особенно дерзкими в высказываемых ими мнениях, когда речь заходила о царской фамилии. Но если тогда, в Петербурге, рассказ Чаадаева о Якушкине живо зажег воображение юного Пушкина, то сейчас с наибольшим интересом прислушивался он к более зрелым суждениям, в которых трактовались всего основательнее вопросы государственного

устройства у нас в Европе, и главный домашний вопрос — об освобождении крестьян от крепостной зависимости.

Всякий день на обед собирались у старой хозяйки — Екатерины Николаевны, а потом переходили в гостиную, где царил уже молоденькая Давыдова, урбденная герцогиня де Граммон. Отношения с нею у Пушкина оставались все теми же, как определились они с первого их разговора: явно она была польщена, что юный поэт не отставал от других ее поклонников в любезностях и комплиментах, и даже читал, по ее просьбе, стихи.

Но каждый раз, когда в девять часов голубоглазая Адель заходила «к большим» — проститься на сон грядущий с матерью и отцом и делала, удаляясь из комнаты, прощальный реверанс таинственному для нее гостю-поэту, — самому Пушкину, правда лишь на очень короткое время, после ухода ее все как бы чего-то недоставало. И летучее чувство этой утраты снова в нем связывалось с тем детством, которого он почти был лишен. А впрочем, с тем большею страстностью опять он вступал в веселый и шумный круг гостей.

Подремав с полчаса, а иногда и похрапав, почерпнув во сне свежие силы, и Александр Львович Давыдов вдруг оживлялся и обретал буйную свою подвижность любезного европейца. Считалось, что у него были манеры настоящего герцога, но говорившие так, отчасти подсмеивались над толстяком: в этой супружеской паре верх, конечно, держала хозяйка, герцогиня действительная, а уже «по жене» и он попадал в титулованную знать.. Скорее всего в нем остывала некогда буйная кровь рода Потемкиных: недаром он ростом и светлорусыми волосами, и величавостью живо напоминал ставшего уже легендарным «светлейшего».

Но вот вечер уже нечувствительно переходил в ночь, и младший Давыдов, Василий Львович, на брата ничуть не похожий, скорей подстать Пушкину, — курчавый и темноволосый, — поглядывал уже то на одного, то на другого из избранных и спрашивал взглядом: «А не пора ль?»

Мигал он при этом и Пушкину, с которым, хоть и был изрядно постарше, в первый же день выпил на брудершафт.

Александр особенно любил это время, когда, попрощавшись с дамами, переходили в апартаменты Василия Львовича. В самом переселении этом с одной половины дома на другую была своя доля таинственности, ибо приглашаемы были далеко не все, а самые сборища, типично «мужские», то-есть серьезные и веселые вместе, — достойно завершали долгий день, придавая ему значительность, вес.

Огромная комната, устланная цельным

ковром, с диванами вдоль стен, а на стенах — с картинами, портретами предков и фамильным оружием, с горками фарфора, книгами в шкафах, длиннейшими чубуками в углу, с огромным камином, щедро излучавшим тепло, и, наконец, с заранее уже приписанной и дышавшей прохладой льда корзиной с шампанским, — комната эта заполнялась не вдруг. Люди сначала бывали немногословны, и голоса их негромки: большое пространство и мало людей. Но постепенно там и сям вспыхивал огонек разжигаемой трубки и громко звучал несдержанный чей-нибудь возглас. Народ прибывал, дым застилал лица, хлопнули пробки, произнесены тосты, и загорается спор. Хозяин облекся в халат, мундиры растегнуты, льется вино, и время забыто, боя часов не слышать, никто и не помышляет о сне.

Пушкин со всеми «допущенными!» Он курит и пьет и даже шумит; остроты его и политические выпады хором подхватываются. Можно услышать то здесь, то там, как вспоминают его эпиграммы: на Фотия, на Аракчеева. Он в общем потянуто, ему легко и свободно: осуществляется жизнь.

Но вот он подходит к окну. Холод идет из-за шторы. Глазу не видно, но знает: месяц над садом, белеют стволы, и одиноко дышит земля. И он представляет себе густую бегущую воду в реке и молчаливые крутые ее берега. И ему самому становится зябко. Красноречие его замыкается. Лучше слушать других. И, отойдя от окна, он садится на отдалении, забираясь с ногами на широкий диван.

Бывали такие минуты одиночества между людей и в Петербурге, но после лицей, когда окунулся в светскую жизнь, ему никогда не казалось, что не такой же он взрослый, как и другие. Порою томил его и тогда неизвестность, и он часто пытал у друзей, чтобы признались ему... Но вот даже Пущин, ближайший и душевнейший друг, лишь улыбался в ответ своею чудесной, открытой улыбкой и крепко, тепло жал его руку. Да, именно так: улыбка открыта, но закрыты уста! А перед самою высылкой Пушкина Пущин ездил к сестре в Бессарабию, — только ль к сестре?..

Бывало все это и в Петербурге, но все же там не было этого ощущения, что будто бы подошел вплотную к запертой двери, и вот — только толкнуть, и войдешь... Да и сам он теперь вырос и изменился.

Уже более полугодом, как он видит не одну лишь Мойку да Невскую перспективу с адмиралтейскою иглою вдали: перед ним открылась Россия. Там, в Петербурге, империю застилал император, теперь перед ним открылась — страна. Огромная, разноязычная, пленившая сердце и разбудившая думы — и о себе, и о

ней. И это не были две раздельные думы: на глубине они сливались в одну.

Россия, это огромное слово, переставало быть для него отвлеченным понятием, оно включало в себя и топи болот, и чащи лесов, долгие степи с пылью дорог, цветами, полынью и оводами, дикие горы и просторное море, бескрайность полей. И включало оно сонмы людей разного звания и состояния; он видел их, слышал их говор, и песни, то дико-гортанные, то полногласные — со сменой жалобы и тоски на дику удаля... И слова о земле, о крепостных, о народной свободе вызвали теперь реальные образы, одетые плотью и кровью.

Но ожидание чего-то большого, решающего, которое затуманило его еще по дороге сюда, здесь изо дня в день все возрастало, и вот он спрашивал себя, как не спрашивал в Петербурге, — достаточно ли он готов ко всему? перестал ли он быть веселым «мальчишкой» или светским молодым человеком? Казалось бы, странный вопрос, он хорошо понимал свое положение в обществе и знал, как ценили его, но ведь здесь речь совсем о другом... О чем именно? А вот переступит порог и узнает. Нечто уже существовало, что ведомо многим, но не открыто ему. И лишь постепенно приглядываясь, он открывал для себя понемногу настоящих людей. Так дошла до него и история с музыкантами: то, что Якушкин сам от него утаил.

— А как же, отличное дело! Да ты того и не знал? — спрашивал Василий Львович, присаживаясь к нему на диван. — Якушкин... ты знаешь: ведь он не богат, а у него от отца — из крепостных два музыканта, и замечательные оба таланты. И их приторговывал богатый сосед, граф Каменский, и надавал за каждого по две тысячи, а Иван Дмитриевич ему отвечал: «Я людьми не торгую!» — и тут же, при нем, выдал обоим им вольную. Не благородно ль?

Александр снова был тронут поступком Якушкина. Больше того, этот рассказ вызвал в нем самое горячее чувство. Но не взирая на все возроставшее свое уважение к Ивану Дмитриевичу и на то, что он уже кое-что слышал и о несчастной любви его, из-за которой тот и ушел в деревенское свое уединение, — все же больше всего теперь занимала Пушкина мысль: смоленский помещик, отшельник почти, отнюдь не охотник до общества и далеких поездок «на именины», — зачем же он здесь — за тысячу верст — и что значил его тайный наезд в Кишинев? И в сотый раз повторял себе: «Нет, нет! Я чего-то не знаю!»

В самый день именин из Кишинева приехал Охотников. Пушкин ему очень обрадовался. Но и Константин Алексеевич показался ему на деревенском отдыхе куда более деловым, чем на службе,

и еще скупей на слова. И по тому, как его встретили, и как тот же Якушкин, казалось, его только и поджидавший, тотчас же уединился с ним на диване в библиарной, где между ними сразу возникли горячие, но негромкие прения, Пушкин не мог не догадаться, что адъютант значит никак не менее своего генерала. Даже напротив: Орлов — и старший летами, и прямое начальство Охотникова — порой так внимательно слушал и при этом так для себя непривычно серьезно глядел на своего подчиненного, что угадывалась в этом безошибочно иная какая-то иерархия, тайно существовавшая между двумя этими людьми.

Новоприбывший, то ли с дороги, то ли от давней серьезной болезни, часто кашлял и говорил резко и глуховато. Но что же именно он говорил? Случалось не раз, что кто-нибудь к ним приближался, и офицер тогда замолкал на полуслове, а взгляд его серых остановившихся глаз из-под густых, почти сросшихся над переносицею бровей откровенно, казалось, гласил: «Ну что ж, тогда подождем!»

Однажды так точно случилось и с ним, но Пушкин тотчас погасил в себе мгновенно возникшую вспышку: «Я не в Кишиневе, и офицер этот не молдаванский бдэрин».

Тайны раздумий своих, однако же, он не поверял никому — даже и Александру Раевскому. Порою казалось, что тот обо всем отлично осведомлен, но инстинктивно Пушкин бежал его скептицизма, все разлагавшего и охлаждавшего всякий горячий порыв.

За то иногда возникало желание уединиться, бежать от людей. Большой серый грот около дома, летнее прибежище для освежительных пиршеств Александра Львовича, манил его. Вспоминался подобный же, только что маленький, грот в милом, далеком Курзуфе: там хорошо слагались стихи. Здесь же пока не писалось. Он лишь бегло набрасывал неполные строки, — фрагменты, — как бы опорные пункты для памяти, о недавнем своем путешествии по еще более дальним кавказским краям. В памяти теснились и требовали своего места и конские табуны черкесов, и снеговые вершины на горизонте, оббитые летучим венцом облаков, и кипящие ручьи меж утесов в горах...

Шутливо и звучно, под впечатлением чрезмерного избытка богатств в феодальной усадьбе Давыдовых, он пародировал десятую заповедь, не находя в себе зависти к земным этим благам и делая исключение лишь для хорошенькой маленькой герцогини — Аглаи Антоновны...

Обидеть друга не желаю,

Не надо мне его вола,

Не надо мне его осада,

На ясе спокойно я взираю.

Но ежели не составляет труда «добра чужого не желать», то преодолеть «зависть ко блаженству друга», обладающего «ангелом во плоти», — дело куда более трудное. И Пушкин с улыбкой спрашивал: «Мне ль нежным чувством управлять?»

А впрочем, стихов этих он пока не доверял и бумаге: были они мимолетной забавою и развлечением, но их можно шепнуть по секрету разве только самой Аглае Антоновне; думы же все о другом и о другом. И отдыхал он по-настоящему только в саду.

Каменский сад этот, круто сбегавший от дома к реке, очень ему полюбился. Деревья стояли рядами, но на свободе, как бы отдаваясь заслуженному ими покою и тишине. Здесь и дышалось, и думалось хорошо и легко. Он, гуляя, любил, как иногда на глаза попадалось до селе укрытое в остатках листвы и вдруг обнаженное яблоко. Оно легко отпадало от ветки и мягко ложилось в ладонь. Чуть отогрев, он тут же съедал его; это напоминало ему раннее детство в Захарове.

Скоро, однако ж, и в доме, когда праздничная сумятица улеглась, наконец, и отпировав именины, склынули гости-помещики и остались на несколько дней только свои да самые близкие люди, — скоро и в доме стало просторней: видней и слышней, а слово иль мысль неожиданно также порою блестили, как и в саду тяжелое зрелое яблоко, утаенное до поры между ветвей.

«Нет, я чего-то не знаю»... Пушкин, конечно, не знал, что Михайла Орлов недавно лишь — в Тульчине, куда по пути в Кишинев заехал из Киева, вступил, наконец, в тайное общество, о самом существовании которого Пушкин только подозревал. Он не мог отгадать и причины приезда Якушкина, а между тем именно через него Михаил Федорович и получил приглашение на предстоящий съезд, но, колеблясь, соглашаться ль ему ехать или не ехать в Москву, просил Якушкина погостить вместе с ним в Каменке. Также, чувствуя и воспринимая всю особенность отношений между Орловым и его адъютантом, Пушкин не знал, что Охотников был давним и ревностным членом Союза Благоденствия и тоже направлялся в Москву; убеждая поехать туда и своего генерала.

Деловые и политические эти переговоры шли втайне и разрешились благоприятно: Михайла Орлов ехал на съезд.

Но, залучив в свою организацию такую крупную величину, Якушкин, Охотников и Василий Львович Давыдов мечтали о большем: они с надеждою и сомнением поглядывали на самого Николая Николаевича, который, в свою очередь, с видимым интересом приглядывался к окружающей его молодежи. Членам тайного общества безмерно ценна была такая

фигура, если бы ею возглавить движение. Но ни Орлов, ни брат Раевского по матери Давыдов не решались прямо о том заговорить. Более того, надежды их в этом отношении были невелики. Николай Николаевич был достаточно широк в своих взглядах, и в частных беседах не проявлял никакой особой осторожности. Даже напротив, он открыто прицал Аракчеева и был во всех отношениях фигурой независимой. Но именно эти-то его качества, прямота и независимость собственных взглядов, несклонность его поддаваться чьему бы то ни было влиянию, — оны-то и ощущались как великое препятствие. Что Николай Николаевич в любую минуту готов был отдать жизнь за родину, в этом не могло быть ни малейшего сомнения, но был ли он и «свободы верный воин»?..

И друзья решили испытать его, заведя при нем разговор о целях возможного тайного общества и о той пользе, которую могло бы принести его существование России. При этом, однако же, решено было не открывать, что общество уже существует и что оно состоит его членами. При этой беседе ведь будут присутствовать и кое-кто из гостей, кого привлекать вовсе не собирались: тут имелся в виду и Пушкин, и Александр Раевский, который совсем не скрывал своего скептицизма. Про Пушкина же ни у кого не возникало сомнений, что он охотно вступил бы в тайное общество. Они могли сами видеть и оценить всю ту горячую искренность, с которою он высказывал свои убеждения, а ежели чем и грешил, то разве лишь крайнею резкостью и прямотой, и совершенною открытостью этих речей. Но это-то как-раз и было опасно: Пушкин был в Кишиневе на положении полусельского и поднадзорного; следовательно, слишком он был на виду у полицейских агентов.

А между тем этот вечер остался надолго в памяти Пушкина: часто потом ему снилось, как, покинув друзей, убежал он в сад на мороз, не одетый — под звезды...

И верно, в тот день беснежный мороз грянул с утра, и ветви деревьев, трава и земля засеребрились своею собственной влагой, стали сухими и строгими. Хотелось бы и на душе подобной же строгости, ясности, и Александр направился на прощальный тот вечер с особую, звонкою заостренностью чувств. Завтра отбывают Раевские в Киев, и Орлов с товарищами в Москву. Пушкин оставался один: Василий Львович пригласил его еще погостить в Каменке.

Не походило сегодня ничуть на предыдущие оживленные сборища, когда еще было много гостей. Лица у всех собравшихся были невольно серьезны, даже немного торжественны.

— Вы отбываете завтра, друзья, — сказал Василий Львович, усаживаясь в кресло и даже не облачаясь в обычный домашний халат. — Когда-то увидимся? И что между тем произойдет за тот срок в любезном отечестве нашем?

— А чему же и произойти, — произнес Орлов, раскуривая трубку, — в том государстве, которое есть вотчина Аракчеева?

Беседа не выходила по началу за пределы обычного разговора о положении вещей в «любезном отечестве», но Пушкин сразу насторожился, когда тот же Орлов с задумчивым видом, пустив новое облако дыма, задал вопрос:

— А не полезно ли было б в России учреждение тайного общества?

«Вот.. начинается...»: — подумал с волнением Пушкин и подобрал под себя ноги; это было его давнее детской привычкой: слушая сказки, в самом страшном или в самом таинственном месте, он как бы сжимался в клубок — на случай опасности готовый к прыжку.

— Обсудим.. Обсудим! — одновременно отозвались и Якушкин, и Василий Львович.

— Обсудим, но я предложил бы тогда избрать для порядка и президента. — И Михайла Федорович обратился к Раевского.

Предложение это поддержали и остальные.

— Ну что же, — сказал полусерьезно Николай Николаевич, оставаясь попрежнему в стороне на своем излюбленном кресле, — будем иметь суждение за и будем иметь суждение против. Не угодно ли вам и открыть наши прения?

Александр Николаевич зорко взглянул на отца, и короткая усмешка пробежала по его губам. Александр Львович Давыдов недовольно сморщил брови у носа и проворчал с хрипотцой:

— Что за комедия, не люблю!

Но на него не обратили внимания.

— Так кому же угодно взять первое слово?

— Если прикажете, — промолвил Орлов, двинув плечами, — я, пожалуй, начну...

Пушкин заметил, что все же Михаил Федорович несколько волновался. И действительно, для него все то, что происходило, имело, кроме общего значения, еще и свое личное. Он уже твердо решил искать руки Екатерины Николаевны и, как верно угадал Пушкин, просил Александра Николаевича быть посредником в этом его волнующем деле... И потому он заранее оговорил свою роль: он выскажется объективно — и за, и против. И все же он, непривычно для себя, вынужден был несколько помолчать, как бы неуверенный в том, чтобы ему не изменило обычное его спокойствие. Это короткое

молчание придало, однако, его речи особую значительность.

— Вы знаете сами, да я этого никогда и не скрывал, что по возвращении из чужих краев после войны я сам составил всеподданнейший адрес государю об уничтожении крепостного права в России. Его подписали и многие высокие сановники. А какова судьба этого адреса? А каково направление нашей политики за последние годы?

— Свобода дарована эстонцам и латышам, — заметил Василий Львович, — а коренная Россия меж тем...

— А также полякам! — воскликнул Якушкин, не удержавшись: польский вопрос его всегда волновал.

— Полякам? — подхватил Михаил Федорович, и общее настроение сразу поднялось. — Так я вам скажу: с течением времени я составил еще и вторую записку с протестом о Польше. Ведь когда русский солдат, русский мужик... когда наш крепостной проливал на войне свою кровь..

Орлов всегда говорил хорошо, может быть, несколько длинно, но плавно и выразительно. Однако ж, сегодняшняя речь его была не такова. Начав говорить сдержанно и как бы несколько отвлеченно, он постепенно, забыв о всяких сторонних соображениях, отдался настоящим своим думам и колебаниям, и, как всегда в таких случаях, когда под словами движется истинное чувство, заволновали они также и слушателей, вызывая в них ответные мысли.

Так он говорил о крушении надежды на открытые выступления, о невозможности договориться с правительством. Но он также остановился и на своих тайных сомнениях: достаточно ль русское общество созрело для восприятия коренных изменений?

Василий Львович Давыдов, памятуя о цели собрания, тоже старался в своем выступлении проявить скептицизм; так же держался и Якушкин, весьма удивив и искренно огорчив настороженного Пушкина. И только прямой, неуступчивый Константин Алексеевич Охотников, больно опять восприняв колебанья Орлова, сердито и грубовато, все с тем же привычным покашливанием, обрушился на всяческие отговорки оратора.

Говоря, он поднялся и стал возле окна, на котором по случайности оказалась несущенной штора. Двойной свет от свечей и морозного полного месяца придавал фигуре его, высокой, сухой и угловатой, особое своеобразие пламени и обреченности. Как если б, поднявшись, шагнул он сюда, прямо от далеких земель — бескрайних, могучих и нищих. Как если б и впрямь за плечами его стояла — Россия.

Слушая эти слова, отрывистую, короткую, несколько хриплую речь, Пушкин

чувствовал, как не только в нем без следа растолось произвольно возникшее за последние дни несколько неприязненное отношение к Охотникову, шедшее от угрюмой его замкнутости, но, как опять, и еще больше, чем в Кишиневе, он полюбил этого особенного человека, и что в то же самое время внутри его самого все становится на свое настоящее место, и закипает в крови одушевление, жажда борьбы.

«Верно, верно.. все верно!» — громко шептал он, не замечая того, и радовался горячую радостью, что и сам — наконец-то! — готов к прыжку.

— Ты хочешь что-то сказать? — обратился к нему Александр Николаевич, когда Охотников кончил.

— Да, я хочу сказать, господа! — воскликнул Пушкин, не дожидаясь разрешения председателя и обуреваемый жаром подлинного волнения.

Он быстро поднялся с дивана и выступил на середину комнаты, как бы готовясь держать ответ за свои слова. Николай Николаевич, не останавливая, внимательно и немного задумчиво глядел на него.

— Я хочу сказать, что все спасение наше в том-то и есть, чтобы все.. честные люди объединились в борьбе против правительства. Тайное общество необходимо! Что же мы можем сделать открыто? Тут говорилось, что все общества вскоре будут у нас запрещены, — так тем более! Не значит ли это, что надо спешить и не откладывать нашего дела?

Председатель спросил:

— Какого же именно дела?

— Какого? А все, что мы постановим ко благо России. И первое дело — освобождение крестьян, Николай Николаевич! Полгода назад мы с вами вместе были в Екатеринославе, восстание там было ведь поголовное, и землешцы жаждут свободы. Якушкин дал волю своим музыкантам. Что ж, хорошо: музыканту не надо земли. Но что делать пахарю?

Раевский попрежнему его не останавливал, и, по мере того, как Пушкин, все более разгораясь, стал развивать свои взгляды, выказывая не только горячность, но сопоставляя и состояние умов на Западе и у нас, прогивопоставляя народ и правителей, — слушатели начинали смотреть на него другими глазами и, как раньше почти что забыли совсем про молодого поэта, так теперь думали только о нем. Не слишком ли легко они относились к нему, полагая, что он настоящий знаток только в поэзии?

— И если на Западе народы воеют с царями, то разве не тайные общества подготовили это движение? Разве не боевой клич карбонариев — «Мщение волку за угнетение агнца?»

— Ну, о царях и волках можно бы и потише, — лениво промолвил доселе

дремавший на отдалении старший Давыдов.

— Вы угадали, Александр Львович, когда озаботились и о волках, — быстро отвечал ему Пушкин. — Но помните только, что ежели со свободой для землешцев замедлится, то и волкам не сбродовать! Да я бы и сам..

Неизвестно, что еще в запальчивости добавил бы Пушкин, но тут и председательствующий поднял ладонь.

— Да я бы и сам, — повторил он за Пушкиным слово в слово и, чуть покачав головой, улыбнулся ему. — Да я бы и сам хотел сказать несколько слов. Не отрицаю: тайное общество было б полезно.

Все насторожились, услышав эти слова, а Раевский спокойно перечислил, обращаясь преимущественно к Якушкину, все те случаи, в которых тайное общество могло бы принести пользу, но, конечно, все это было не то, о чем мечтались заговорщикам. И, кроме того, за словами, произносимыми вслух, угадывалось и нечто еще другое. Якушкин понимал и это и оттого чувствовал себя не особенно ловко, словно бы Николай Николаевич ему говорил: «Вы испытываете меня. К чему это?» И Якушкин не выдержал.

— Но это вы с нами шутите, — воскликнул он, обращаясь к президенту собрания: столь ощутим ему был укор этого пронизательного человека.

Наступила минута нелегкого замешательства. Раевский глядел на Якушкина, предоставляя ему говорить дальше.

— Вы шутите, — повторил тот, несколько нервничая, — и это легко доказать. Я предложу вам вопрос: если бы тайное общество существовало уже, вы-то, наверное, к нему не присоединились бы?

— А почему? — несколько сухо возразил Николай Николаевич. — Напротив.

— Ну, тогда дайте мне руку! — В ту же минуту, однако, почувствовал он, что зашел много дальше сравнительно с тем, как все это было задумано.

— Шутить, так шутить, вот вам моя рука, — ответил Раевский.

Тут сразу и все уже поняли, что надо кончать и лучше всего обернуть дело на шутку. Весь красный от смущения, под общие восклицания, Якушкин так и завил:

— Вы правы.. Ну, разумеется, все это было одной только шуткой.

— Что ты скажешь, — негромко обратился к Пушкину Александр Николаевич, сидевший рядом с ним на диване. — А ведь отец-то оказался умнее их всех.

Но Пушкин едва ли и слышал что-либо. Ему в эту минуту мало было дела до того, кто умнее кого. А вокруг все уже снова было мирно. Было серьезное, была также и шутка: все, как бывает на свете. Может быть, шутка сия и вышла

немного неловко, но все же она кое-что прояснила. Якушкину очень хотелось, чтобы всем было смешно, и смех этот покрыл бы собою его не слишком удавшуюся затею, он был еще очень молод, а молодость больше всего на свете боится попасть в неловкое положение, и он не заметил ни недовольно сведенных бровей Михайлы Орлова, ни закаменевшего взгляда Охотникова. Впрочем, и смеявшихся было довольно..

Так все и разошлись бы, и закончился бы вечер веселым шампанским. Но и еще раз выступил Пушкин на середину большой этой комнаты.

Он был возбужден: и собственной речью, — когда волновался, казалось ему, он не умел говорить, — и особенно тем, что в последнем вопросе Якушкина уже было открылась ему — нет, не надежда, а полная вера, — что тайное общество есть! Все молодое и чистое, все, чем горяча готовая к подвигу юность, залило все его существо. Наконец, наконец-то!..

Эта минута была для него совершенно особой минутой радости, близкой к восторгу. Вот открывается та долгожданная цель его жизни, которая и осветит все, и все оправдает, и которую ждал, чтоб открылась, — именно здесь. Так он, наконец, не один! и этот Якушкин.. Он их подвергал испытанию, и вот открывает всю правду! И вслед затем непосредственно — вдруг — потрясение: нет! Ужели же — нет?

У него потемнело в глазах. Невольно он тронул пальцами пальцы: были они холодны.

Обида и горечь, смятение, гнев обуревали его. Он не хотел бы все еще верить, но и не верить нельзя. Какая же злая, жестокая шутка!

На голос его все обернулись. Стоял перед ними — всем им отлично знакомый, веселый всегда, задорный и буйный, и остролов, и милый товарищ, и умница, как он себя сейчас показал, — стройный и маленький ростом Пушкин. Да он ли? Его не узнать: какой же трещающий, бледный, испепеленный почти.. и слезы блистают между ресниц.

Он вышел на середину комнаты и совсем негромко произнес несколько слов. Но прозвучали они в такой тишине, что доходили до сердца:

— Я никогда так не был несчастен, как несчастен сейчас. Я уже видел, как жизнь моя.. какую могла она стать благородной. Я видел высокую цель перед собою. И все это.. все это.. Но какая же злая была ваша шутка!

И он выбежал вон, оставив своих старших друзей в смущенном молчании.

«ЗЛАТОВЕРХИЙ ГРАД»

Всякая буря находит свой покой и смеяется тишиной. Но жизнь не останав-

ливается ни на одно мгновение, и тишина эта также исполнена своего движения, невидимого со стороны, а часто не полностью осознанного и изнутри. В такой тишине идет как бы «перегруппировка сил», возникают иные направления их, новые возможности.

Пушкин испытал большое внутреннее потрясение. Он обманулся, как обманывается река, находя в стремительном движении своем не беспредельный простор и не пригрезившийся за поворотом блестящий и шумный водопад, а глухую плотину, снежный обвал, о которых он слышал на Кавказе. Но пусть волны отпрянули прочь, разбались на струи и струйки, завихрились водоворотами, — движение от этого стало только сложней, а новые воды продолжают все прибывать, и напор свежих сил ищет путей и выхода.

Так и у Пушкина, с отъездом Орлова, Раевских и других интересных гостей, жизнь на поверхности стала очень тиха, напоминая Тясминский пруд перед мельницей. Это была обыкновенная деревенская жизнь, строго размеренная и протекавшая от принятия пищи до следующего принятия пищи. Но за воротами барской усадьбы шла еще и другая деревенская жизнь — рабочая, трудовая. Пушкин был горожанином, но все же весело было ему слушать удары цепов, глядеть, как на ветру провеивается и падает пловесным зерном отлично уродившаяся пшеница, внимать скрипенью колес и наблюдать медлительную поспесть волнов.

С народом не очень ему давали общаться. Одно дело выпить бокал за свободу за веселым пиршественным столом, и вовсе другое — следить за хозяйством и за доходами. Главным мастером на это был сам «герцог», Александр Львович. Тут и тучность ему не мешала, и сопливость не одолевала не во-время. Он даже и брата, Василия Львовича, доброго и слабохарактерного по натуре, не очень-то допускал к кормилу правления..

И все же, каждый день Пушкин наслаждался чудесно-певучим украинским говором, слушал песни и сказки; кое-что и записывал, «Глядите, брат брата на вилы поднял!» — говорили девочки, глядя на месца. И они же ему объясняли, почему, например, зайца надо бояться: бог, видишь ли, создал всякую тварь, а про зайца забыл, а чорт, не будь дурак, сам его вылепил, а из шерсти да из ветра хвост ему сплел; заяц обрадовался, что и про него вспомнили, и с тех пор он у чорта на службе «передовым», а уж чорт за ним сам поспешает: «на девять локтей позади».

Насмешил однажды Пушкин даже самого «герцога». Войдя в столовую к чаю, он громко спросил его:

— Как это, Александр Львович, я слы-

шал, вы говорите: «Прости мене, моя мила, що ты мене била?» Разве с вами это случается? — И он весело поглядел в сторону Аглаи Антоновны.

Пушкин это услышал только-что, проходя мимо скотного, и приговорка эта показалась ему достойной Фонвизина. Александр Львович никогда так не выражался, но это очень хорошо отражало его супружеское положение. Все рассмеялись, а сам Давыдов поднял кверху жирный свой палец и погрозил им молодому человеку.

— О, шалун!

И хоть и ревновал свою жену к Пушкину, но изречение это столь ему понравилось, что он ввел его в свой обиход.

Вообще в доме — маленьких чувств было хоть отбавляй: и Аглая Антоновна, в свою очередь, ревновала к Пушкину свою хорошенькую дочку. Но Пушкин Аделью искренно любовался. У них создались своеобразные отношения, и Александр обращался с нею не вовсе как с маленькой, что девочка очень ценила. Разговоры они вели порой совершенно серьезные, но за то иногда и откровенно дурачились.

В Каменке было множество книг, и держались они без призора. Вот он идет по гостиной. Адель на диване. Возле нее лежит маленькая узкая книга, по переплету похожая на молитвенник, а на коленях покоится толстенное, фунтов в пятнадцать весом, французское издание «Девственницы» Вольтера. Пушкин уже глядел эту книгу, отлично изданную в самый год французской революции.

— Что вы тут разглядываете, Адель! — воскликнул он не без ужаса.

— А вот посмотрите, что это у нее на груди? — сказала она, показывая одну из гравюр, отлично исполненную, но едва ли не самую неприличную в книге. — По-моему, это маленькие домики. Как странно!

Пушкин взглянул на нее. Она была чиста, как подснежник.

Он вспомнил тотчас, что это мальчишка, погонщик мулов, и старый монах мечут кости на груди у Жанны, кому из них обладать ею, и вспомнил свои нехорошие мысли, которые неизвестно как возникают, но по счастью только скользят и исчезают столь же мгновенно; он как-то подумал: вот и я предложу генералу Орлову метать со мной кости... И сейчас он покраснел перед этою девочкой — не от стыда, что она смотрит нечто совсем неподходящее, а оттого, что устыдился самого себя.

— Нет, это вовсе не домики, — сказал он, запинаясь, — это игральные кости.

— А зачем же они играют на ней?

— Потому что оба они грязные ослы

и скверные люди! — И он взял у нее книгу и сам отнес ее в шкаф. — А это что за молитвенник?

— Вот уж совсем не молитвенник! Когда молитвенник читают, так не смеются. — И она тут же фыркнула. — Тут все смешно. Вы посмотрите: его угощают и накрыли стол. «Скоро явилась на нем, — стала она водить пальчиком по странице, — и треска с черным хлебом, который был старше и тверже лат нашего героя». Вы подумайте только: старше, чем латы! — тверже, чем латы! Да как он только себе зубов не сломал... А ему нипочем, всё нипочем! — И она залилась звонким детским смехом, заражая и Пушкина.

— А посмотрите, как он лошадку свою окрестил. А лошадка была... Погодите... — И отыскала: — «Бедная кляча была не иное что, как живой скелет, но показала герою нашему лучше Александрова Буцефала и Сидова Бабиссы (я этих не знаю!). Четыре дня думали, как бы назвать ее получше, и, правду сказать, не шутка выдумать имя, которому надлежало некогда греметь в мире, и прославляться потомством! Накронец, думав, наш рыцарь окрестил коня Рыжакком — имя, по его мнению, приятное, звонкое и многозначущее». «Думав, думав» — передразнила она и, уронив «молитвенник» на колени, закрыла руками лицо и закачалась от смеха.

Пушкин уже отгадал, но все же взял в руки книгу. Конечно: «Дон Кишот ла Манхский. Сочинение Серванта. Переведено с Флорианова французского перевода В. Жуковским». И те же портреты — и самого Сервантеса, и Флориана, памятные с раннего детства и про которые он как-то спросил у дядюшки Василия Львовича: «Дядюшка, а почему Сервант Флориану усы сбрил?» Как не ценить такие минуты? Они, как окошечко, в которое заглянул и увидел большое чудо, — самого себя маленьким...

И тут же думалось и о Жуковском. Как мило он Россинанта окрестил Рыжакком, чисто по-русски! И в предисловии — Пушкин уже и сам полистал узенький томик: — «Остается желать мне, чтобы всё это нашло в моем переводе. Флориан». А дальше Жуковский добавил уже от себя: «И мне тоже. Переводчик Флориан». «О, милый Василий Андреевич, о дорогой Дон-Базиль, как ты шалишь и как ты мил. Тебя хвалить, тебя порочить... (Я уже стал думать стихами...) — можно тебя и бранить, но не любить тебя нельзя». — Пушкин был благодарен Адели за эти минуты.

Толстяк Александр Львович обратился с письмом к Инзову (для порядку и для важности написал именно он, как старший), объясняющим, почему Пушкин так задержался в Каменке: Инзову на

всякий случай пригодится эта «оправдательная бумажка»! «По позволению вашего превосходительства А. С. Пушкин доселе гостит у нас, а с генералом Орловым намерен был возвратиться в Кишинев; но, простудившись очень сильно («Ничего, перо вывело, — громогласно провозгласил Александр Львович. — Гусиные перья, слава богу, все терпят!»), он до сих пор не в состоянии предпринять обратный путь. О чем долго поставлю уведомить ваше превосходительство и при том уверить, что, коль скоро Александр Сергеевич получит облегчение в своей болезни, не замедлит отправиться в Кишинев».

Письма ходили не быстро, и Пушкин шутил, что Инзов, верно, все еще не устроил его дела с предъявленным иском о взыскании старого и забытого долга, вот он и медлит. Но ответ все же пришел.

«До сего времени я был в опасности о г. Пушкине, — писал Инзов, — боясь, чтобы он, не взирая на жестокость бывших морозов с ветром и метелью, не отправился в путь и где-нибудь при неудобствах степных дорог не получил несчастья. Но, получив почтеннейшее письмо ваше от 15 сего месяца, я спокоен и надеюсь, что ваше превосходительство не позволит ему предпринять путь, пока не получит укрепления в силах».

Пушкин готов был милого Ивана Никитича расцеловать.

О том памятном вечере ни с кем, а тем паче с самим Николаем Николаевичем, он не заговаривал. Орлов уезжал очень задумчиво, а Охотников был зато ясен, как морозное утро, и особенно крепко пожал руку Пушкину, как бы говоря: «Слова и прочее — это пустое, не обращайтесь внимания, главная сила в другом». Но он ничего этого не сказал, только обронил как бы мимоходом:

— А об этом адъютанте, помните? Я генералу докладывал, и он отношением запросил Сабанеева, как тот намерен с ним распорядиться за дискредитацию офицерского мундира. Будет буря!

Пушкин внял безмолвному совету Охотникова. Он и сам уже позже сообразил, что произошло нечто сложное, не вполне понятное, но вернее всего, что тайное общество все-таки есть! Об адъютанте же, вспомнив свой гнев и как тот ускользнул, порадовался за Орлова, что не махнул просто рукой, как сделал бы всякий другой генерал, хотя бы и из самых просвещенных. И вообще Орлов — молодец, молодец! — И при этом, для себя самого неприметно, вздыхал.

О Екатерине Николаевне Пушкин старался не думать. Это порою и удавалось, но лишь потому, что между Раевскими — она была не одна. По вече-

рам любил он гулять, вверх по Тясмину до того самого мыса, который ему наполнил небольшие приморские скалы Юрзуфа. Звезды всходили на потемневшем небе, и мечта рисовала ему полуденный берег и мирные вечера позднего лета. Вечер и море — это всегда было связано для него с Марией. Если солнце и день, и яркие краски, красная роза — вся эта царственная и недоступная, красота, захватывающая дух и порождающая глубокое беспокойство, — все это носило имя Екатерины, то вечерняя звезда, мир и покой — это Мария. И, странно, он знал, что покоя-то именно и не было в беспокойной душе этой дорогой ему девочки, но для него был в ней покой.



Однажды Василий Львович, войдя с мороза розовый и оживленный, сказал, обращаясь к Пушкину:

— Уже передовых мы отправили. Целый обоз — овес и прочее. А мы что? Мы не деушки-вековушки, чтобы весь век коротать, слушая вьюгу да греясь в сугробах. Едем в стальной град Киев, мать городов русских — в твой «златоверхий град», а?

Он любил иногда выразиться так витиевато. И еще больше любил удивить какой-нибудь неожиданностью. Он и не подозревал, что Пушкин давно уже видит домашние приготовления, да только не хочет лишить его удовольствия преподнести «внезапный сюрприз».

— Видишь ли, Пушкин, — говорил между тем Василий Львович. — Твой генерал наказал, чтобы тебе не позволено было предпринять дальний путь, но он разумел — в Кишинев, путь же в Киев, мы так полагаем, лишь укрепит твои силы.

Он был очень доволен своей маленькой речью, заранее заготовленной, и Пушкин не возражал против этой слабости старшего друга. Он заранее радовался новой поездке, свиданию с Раевскими и тому, что вот, наконец-то, увидит воспетый им город.

Женские сборы закончены, мужские недолги, возки стоят у крыльца, вьется позёмка, зимний санный путь — самое русское, что только есть в нашей природе. Пушкину захотелось хоть немного проехать на козлах. Кучер с ним рядом крепко расправил плечи, тронул шапку и выхватил кнут на отлет, тройки рванули, бубенчики прынули в лад и залились, не умолкая, ветер и снег певуче и молодо забили в лицо, сугробы ложились направо, ложились налево, вешки мелькали по сторонам, приветствуя путников, мороз и тепло одновременно, а на сердце совсем горячо — путешествие в Киев!

Станционные домики были похожи один на другой, как полосатые дорожные версты. Только были они не полосаты, а ровно окрашены казенною желтою охрой. Дворы также все по одному образцу: на глубине вместибельные конюшни, по сторонам — ямщицкая, склады; колодец посередине двора. Похоже на маленькую крепость: дом стоит крепко, как бы упершись поудобнее в землю; голые стебли подсолнечника и георгинов торчат в свете факелов (вечер), как оружие, воткнутое в снег; и двор огорожен неплотом: столбы, а между столбами пролеты плотно забраны толстыми досками. Над крыльцом с крепкой двусторчатой дверью и еще, совсем уже крошечные, глинобитные крепостцы — покинутые на зиму ласточкины гнезда — утешение дочек станционных смотрителей: нет смотрителей, не бывает такого, чтобы бог ему не послал скромную дочку с русою в ленте косой!

Так, время от времени, на почтовых станциях и подкреплялись, не ленись в этом привычном занятии, в меру шумели, встречали знакомых, а с незнакомыми сводили знакомство; случалось, убаюканные ровною снежной дорогой, и подремывали, сидя и откинувшись на спинку дивана.

Можно на волю и не выходить, на станции все предусмотрено, но Пушкин был любопытен, и двор интересовал его не менее чистых комнат. Он забегал и в ямщицкую, где прямо с порога ошибало его густым жарким запахом свежего хлеба, овчины, ямщицкого пота. Круглая румяная кухарка единым махом широченного фартука смахивала с дубового стола хлебные крошки, ногой поддавала под лавку чью-то раскиданную обувь: сапоги громыхали, а валенки прятались в тень, скользя и шурша. С полатей, увешанных полушубками и армяками, свешивались сивые бороды, зубы блестели в приветствии, и только глаза, сами себе хозяева, глядели порой то плутовато, а то и озорно. Две-три фигуры поднимались и в лавки. Тепло разморило, но любопытство не подвержено дреме: милости просим, но чего-де, пожаловали?

А молодая кухарка, то ли поворожив, то ли само по себе такое у них деется, уже отвела куда-то пальчиком зиму и цветет, как маков цвет и лицом, и алою лентой. А за окном воеет метель, свищет в трубе, завывает на все голоса; а за столом — минуло четверть часа — забывши, что только-что были себе на уме, те же горячие лица и бороды не такие уж сивые, и разговор о том и о сем... разговор неплохой и горячительный. Молодой человек ничего не спрашивал, а вот — на-поди! — язык сам развязался. Но и его послушать охота, и про свое, и про чужие края — будто сам там бывал. И краев таких не слышали, и го-

родов. Что за город Неаполь, а вот поворачаяешься теперь на полятах, как это там здорово будто бы принялись...

Пушкин — как полный бокал вина выпивал. Ему эти вылазки в ямщицкую (он сделал их две или три) давали дышать полной грудью.

— Где пропадали? — спросит его, зевая, старший Давыдов.

— А на звезды глядел во дворе.

— Какие же звезды? Метель!

— А это и есть те самые звезды, что на землю спускаются.

Из этой поевдки, кроме таких вот станционных дворов, глубоко запала на память еще одна песня, которую пел молодой грустный ямщик.

Это была не разбойничья и не любовная песня, но было в ней что-то, что глубоко брало за душу. В коротких ее двустипиях (в пении вторая строка всегда повторялась) была дана целая жизнь, оборванная в самом цветении молодости. И как это было дано лирически-проникновенно и эпически-строго! Строки были короткими, как коротка была сама жизнь, но напеву хотелось прощаньем как бы продлить эту жизнь, погодить отлетать от родимой земли, помедлить, помедлить...

Із-за горы сніжок летить,

А в долині козак лежить,

Накрив очі житайкою,

А ніженьки ногайкою,

Що в головах воріи кряче,

А в ніженьках коник скаче.

И самая первая строчка, мотивом своим, неспешным, реющим, как снежинка, над молчаливою снежною степью, уже давала тональность не горького горя, не спазмы, а тихого и музыкального разрешения. Вот глянула смерть в молодые очи, но сердце тепло еще бьется в груди и песня его не покинула, а песня есть самая жизнь — до последней минуты. И ворон крикает уже в головах, но верный конь еще не допускает его. Беги, конь, по степи к батьке и к мати, донеси им последнюю вестку от сына..

Не стій коню, наді мною,

Не бий землі під собою,

Бо ти землі не добьєшься,

З моря води не напьєшься,

Біжи коню, дорогою

Степовою, широкою!

Як підбіжиш під батьків двір,

То вдаришся об частокі.

Вийде, батько, розсідлає,

Вийде, мати, розпытат:

— Ой, коню мій вороненький,

А деж мій син молоденький?

— Не плачь, мати, не журися,

Уже твій син оженився,

Узяв собі паняночку,
В чистом полі земляночку.

Візьми, мати, піску в жменю,
Та й посієшь на каменю.

Як той пісок рясно айде,
Тоді твій син з війська прийде...

Нема піску, нема сходу,
Нема сина із походу —

Нема сина із походу.

Мороз был несильный, но не зря говорят, что мороз выжимает слезинки. Песня была завершена, но мелодия долго еще реяла в воздухе, а кружения крупных беспешных снежинок, плавные и задумчивые, ее продолжали...

Пушкин невольно вздохнул и о себе: был молод и он, и был на чужой стороне, и хоть редко он вспоминал о родителях, но все ж и они, как никак, были его батько и мати.

А между тем и самые образы песни: ворон, жаждущий крови богатыря, и верный друг воина — конь, их нерушимая дружба — как это все западало на сердце! А художник-поэт, никогда его не покидавший, следил между тем, как неразрывны слова и мелодия, как возникало, играя и переливаясь, это подлинное волшебство интонации. Да, бывает — стихи маршируют, и бывает — живут своею особою музыкальною жизнью. И никакого нажима, насилия в изгибах и поворотах не терпит живая стихотворная строчка: в ней чувство покорствуется разуму доброю своей волей, а разум точно угадывает, что несет ему чувство и чем подарит его; подарки же многообразны, и в каждом из них чистое дыхание жизни.

Так и песня сама, и мысли ею порожденные, не слишком отчетливые, но музыкально понятные, сливались в одно. Возок за возком плавно скользили по гладкой дорожке, мягко полозья поскрипывали, чуть убаюкивая, и точно бы самое время стлалось одною бесконечною дорожкой, а горизонт все убегал и убегал...



Киев открылся путникам на заре. Еще издали золотые купола церквей затеплились крупными тальми каплями над горизонтом. Морозная дымка лежала над городом, и долгое время ее прорезали лишь очертания гористого берега и силуэты церквей, подобранных, легких, как бы подошедших к самому краю крутизны — навстречу молодому поэту. Но и он сам не раз приподымался с сиденья, чтобы лучше схватить эту чудесную морозную панораму. Скоро, однако, ее закрыли леса. Со стороны Васильковской дороги, где ехали путники, леса стояли сплошным многоверстным заслоном. Дорога пошла трудней, чем в степи,

но зато какая краса! Могучие, устоявшиеся за долгую жизнь великаны-дубы с их дремучим узором ветвей, как бы серебряной чешуйчатой броней, были одеты с головы до пят блистающим инеем. В лесу ехали тихо, и в тишине то здесь, то там, то-и-дело возникал хрустальный прерывистый звон от падающих и рассыпающихся при падении комьев промерзлого хрупкого снега. Точно в разных местах поочередно, устав держать, разжимались древесные ладони и выпускали добычу на волю. Снег чудесно синел в глубине меж деревьев, испещренный тысячами крохотных птичьих лапок. Сами певуны замолкали, однако, при приближении троек, но не пугались, не улетали. Застыв на какой-нибудь веточке, узловатой, удобной, они живо посверкивали своими глазами, слушая, как настоящие ценители, в тишине этот редкий в столь ранний час концерт бубенцов.

И городские строения стали мелькать меж стволов. Город и лес незаметно смешались в одно. Потом лес стал отставать, дорога поползла в гору. Множество церквей прилило в движение, с каждым поворотом дороги они как бы меняли места; ранний базар просыпался; как птицы, перелетали редкие человеческие голоса; хлопотливые хозяйки заботливо пустились над трубами дымы — как бы для красоты: каждому весело глядеть на картинке, как из трубы вылетает дымок! Так простодушно-приветливо, легко и красиво расступался, к себе принимая желанного гостя, столичный град Киев.

Пушкина Раевские взяли к себе: так было условлено. С биением сердца переступил он порог милого дома, и встреча была хороша: пожатие теплой руки, ясные взгляды. Дом обширен, обжит, и у дома дыхание ровное, как у живого существа, здорового и спокойно-неторопливого.

Но дни побежали, один вслед за другим, скорей, чем того бы хотелось. Было много людей, много движения. Однако же выпадали и тихие вечера, полные семейного тепла и уюта. Орлов вернулся уже из своей московской поездки. Можно было почувствовать, что все идет гладко, предложение, видимо, было принято. Он приходил каждый вечер, держался со всеми ровно и мягко.

Вечером часто сидели за круглым столом. Самовар отшумел. Лампа под абакуром очерчивает магический круг мира и тишины. Раевский — отец — раскладывает долгий пасьянс. Вспоминают Юрзуф. Что ж вспоминают еще? Тысячу разных вещей: как нашли кусочек закамневшей смолы, а в нем крохотное насекомое, покоившееся как в саркофаге; как зеленопрозрачный, «русалочьего» цвета большой богомол целый час сидел без движения,

как бы подвесив свои узловатые страшные лапы и неустанно глазами следя за пробегавшими «мушками и таракашками», и как рядом, невинно, прямо из камня, протекал ручеек; и как по утрам на гравии отступала роса в тень кипарисов...

— А что я вам покажу, — сказала Мария с той особю интонацией, которая всегда трогала Пушкина. — Папа, можно?

Папа задумчиво кивнул головой, размышляя над стратегическим расположением королей и валетов.

Придвинулась ближе и Елена. Свет заиграл на отдельных, выбившихся волосках склоненной ее головки. Мария была на глубине взволнована, черные ее волосы, у пробора гладко расчесанные и плотно прилежавшие к коже, блестели сосредоточенным и каким-то серьезным блеском. Она открыла кипарисовый ящик, Пушкин увидел ряд небольших медальонов, покоившихся в вате и тотчас догадался: он уже знал о их существовании, Николай Николаевич младший недавно подробно ему рассказал всю эту историю.

— Ты, может быть, слышал уже это от Батюшкова. Он был очевидцем. Они вместе бились под Лейпцигом. Направо, налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Отец, говорят, был мрачен, безмолвен, только горели глаза. И он вдруг победил и сказал: «Батюшков, посмотри, что у меня», взял его за руку и положил себе под плащ, а потом под мундир. Батюшков не сразу мог догадаться, чего он хочет. Тогда отец, оставив повода, сам положил руку за пазуху, вынул ее и поглядел, рука была в крови. Он был ранен жестоко, а когда рану перевязывали, сказал с необыкновенною живостью:

Je n'ai plus rien du sang qui m'a donné la vie,
Il a dans les combats coulé pour la patrie.*

— Но вот. И, конечно, не лег, а еще целую неделю не сходил с лошади и не покидал своих гренадеров. А потом сделали операцию и вынули из груди семь костей. Дамы наши из них сделали себе медальоны на память. Только они их не надевают, да и редко кому показывают, ты понимаешь это.

Пушкин все это помнил и очень хорошо понимал. Тем более был он тронут, что ему принесли показать семейную эту реликвию. И кто же? Мария, из всех самая внутренне гордая, и умевшая, когда захочет того, держать себя на расстоянии.

Косточки эти были частью живого человека, сидевшего здесь же, и когда-то

были они его же кровью омыты, — кровью, пролитую в боях за родную страну, — как об этом французскими стихами сам хорошо он сказал своему соратнику, русскому поэту.

И точно бы отгадал Николай Николаевич, что проносилось в эту минуту в голове у Пушкина. В наступившем молчании, которое, видимо, и привлекло его внимание, негромко он произнес, с едва заметной улыбкою глядя поверх разложенных карт:

— Что за судьба: все-то поэты на мои кости любуются! Ты чего это вздумала? Ведь сама-то ты тоже кость от кости моей...

Если и мог кто позволить себе сейчас пошутить, то, конечно, только он сам.

Утром в тот день Пушкин имел с Марией еще одну встречу — один-на-один, в библиотеке, где нечаянно вместе сошлись.

— Хотите ли слушать стихи? — спросил он ее.

Она кивнула ему головой и полупришла на подоконник.

— О Крыме?

— Вы угадали.

И начал читать:

Редет облаков летучая гряда,

Звезда печальная, вечерняя звезда!

Твой луч осеребрил увядшие равнины

И дремлющий валив, и черных скал

вершины.

Люблю твой слабый свет в небесной

вышине;

Он думы разбудил, уснувшие во мне:

Я помню твой восход, знакомое светило,

Над мирною страной, где все для сердца

мило,

Где стройно тополи в долинях

вознеслись,

Где дремлет нежный мирт и темный

кипарис,

И сладостно шумят полуденные волны,

Там некогда в горах, сердечной думы

полный,

Над морем я влачил задумчивую лень,

Когда на хижину сходила ночи тень,

И дева юная во мгле тебя искала

И именем своим подругам называла.

При первой же строчке она высоко подняла голову и немного прищурила глаза, как если бы всматривалась в морскую, в небесную даль. По лицу ее пробежали все оттенки чувств — от улыбки до строгой серьезности. Он кончил и ждал, что она скажет. Наконец, она сделала непроизвольное движение рукой — по направлению к нему, — но и тотчас отвела руку назад.

— Нельзя это печатать.. последние строчки.. — чуть глуховато сказала она. — Нельзя: это ведь было.. А я не хочу..

Пушкин чувствовал, как она взволновалась, и сделал было к ней неуверен-

* Вся кровь, что жизнью мне
Дана была, — она
За родину в боях
До капли отдана.

ный шаг. Но, подняв глаза, он увидел, что она полностью овладела собой.

— Стихи хороши, — сказала она. — Спасибо вам за стихи! — И закончила совсем неожиданно: — Но какие они спокойные! Это значит, что в них или очень много, или совсем ничего.

Тут пришлось и ему помолчать. Тогда Мария, как бы оставляя ему время подумать, отозвалась еще и по-иному:

— А самая лучшая строчка — первая строчка! — И она ее произнесла — раздельно, немного замедленно, как бы задерживая каждое отдельное слово и вкладывая в них какое-то особое, свое ощущение жизни, собственной жизни:

— Редеет — облаков — летучая — гряда...

Больше он от нее ничего не услышал, она почти тотчас и ушла, оставив его и немного смущенного, и отчасти задетого, и очарованного. А надо всем стояли эти ее слова: «Или очень много, или совсем ничего». Так, пожалуй что, с ним никто еще не говорил.

И в этот день он даже немного ее избегал. Ни с чем и она к нему не обращалась. Но вот вечером, за лампой, у стола, после как будто незначущих, но милых обоим воспоминаний... ах, да, впрочем, еще этот каштан! Нет, нет, это неважно, это пусто! Разве и там, в Георгиевском монастыре, он не вспомнил о ней, когда в руке его затеплел этот глэденький плод... Важно другое... Она ему принесла... Как это вышло: «Кость от кости»... Как если бы и сама себя, душу свою принесла... Глупости! — Мысли его на минуту действительно, кажется, замутились.

Но ночью зато были мысли ясны и отчетливы.

Не спится. Где-то на колокольне пробили мерно часы на отдалении. Петух прокричал в городской ночной тишине. «Чего ж я хочу?» И какая Мария особенная! Она разная? Нет. Каким бы различным человек ни казался, на глубине он — один. А ежели трудно свести к одному, значит... глубина, значит, большая. Да, или — «очень много», или... «совсем ничего».

Мысли его были очень ясны. Но ясность была только в вопросах. Ответ еще не рождался. Был только ответ о стихах. Это он чувствовал: как в них много вложилось... не мыслей своих, а именно дум, самого себя. Об этом же верно и Мария сказала... Или она говорила о чем-то другом... о его чувстве к ней?

Так не заснешь. Надо ли думать об этом? Быть может, все это только фантазия? Но, как ручеек, бегущий прямо из камня, в нем звонко, прозрачно и ясно шевельнулась чистая радость.

И еще раз — как будто все основное, неизвестно как, само собою, светло стало на место, — еще раз подумал он — и по-серьезному очень, и немного по-

детски: «А может быть в ней, беспокойной, я и нашел бы покой!» — А покой — это сила и крепость, и она не мешала бы, а помогала.

Он мог бы подумать еще о ней, быть может, и так: в нем, беспокойном, наша бы покой и она! Но эта вторая мысль так к Пушкину в эту его раздумчивую ночь — так и не пришла... Он потянулся — мгновенье одно — и тотчас же уснул.

И только в самые последние секунды перед сном услышал внизу шум, паденье вещей и громкий чей-то, знакомый, только не вспомнишь, несколько хриплый, как бы простуженный голос.



Итак Пушкин проснулся от неясного, все возрастающего шума. Он хорошо различал осторожный, остерегающий шепот Никиты, но все не мог отгадать ночного внезапного гостя. Тот также, видимо, сдерживался, чтобы не поднять на ноги весь дом и, однако ж, порою голос его взвизгивал, как шашка, выхватываемая из ножен, и сразу возникало ощущение: не город уже, и не дом, стены исчезли, распались во тьму... поле, метелица... свещет нагайка. Да что же, однако... да как не узнать? Это, конечно, Давыдов — Денис!

Александр быстро зажег свечу и потянул с кресла халат.

— Вот неожиданность! Да что ж ты, Никита? Впускать!

Дверь на ночь не была заперта, и под энергическим ударом тупого носка сапога она распахнулась настежь. Так распахнуть мог бы только рывок грозового ветра или какой-нибудь возникший из ночи гигант.

Этот гигант и возник на пороге. Он остановился, слегка колыхаясь в неверном свете далекой свечи. Вся его мощь как бы ушла в этот толчок, и он заметно искал равновесия. И гигант этот ростом был едва ли поболее Пушкина. Заросший и бравый, в ментике, откинута за спину, кивер набекрень, лихой и пьяный смертельно. Волоса на висках ниспадали, крутятся, на бакенбарды; бакенбарды пушились, струились и прядали, подобно горному ручейку, в клоающую бороду, кипевшую из-под шеи бурным прибоем; и как рыбацкий челнок, потрепанный бурей, но однако ж совсем потонуть не желавший, выглядывал из этого хаоса маленький, с пережабинкой нос, а по сторонам его двумя пикообразными утесами угрожающе вздымались усы... Это — Давыдов!

Денис Васильевич издали протянул Пушкину руки:

— То-то, что ноги не слушаются... Где у тебя тут диван?

Кончиками пальцев побарабанил он

голову и продекламировал, к удивлению твердо и трезво, поблескивая с хитрецей своими живыми зеленоватыми глазками:

Коль право ты имеешь управлять,
То мы имеем право спотыкаться!

И, принагнувшись, он крепко потер за-немевшую ляжку.

— Денис Васильевич! Да откуда ты взялся? Ты точно с поля сражения.

— А так оно отчасти и есть.. Но ты помнишь ли, чьи это стихи? Ежели помнишь, так поди же меня поцелуй!

Но Александр, несколько неловко, от изумления замешкавшийся с халатом, едва успел сделать к нему движение, как тот сам, преодолев, наконец, накопившую на него мороку, легко, почти подскочив, побежал через комнату Пушкину навстречу, и с размаху они обнялись.

— И ты мог поверить, что я.. Всего-то ведь две-три бутылки! А я часа уже два, как прибыл сюда. Я должен был бы к Давыдовым, я там всегда.. Да они, видишь ли, дом переменили. Не стал искать и — сюда! Вещи свалил — и в ресторан. Чего же мне дом будить? А проголодался. Ты говоришь, как после сражения? Точно.

Он сел на диван и, работая одними ногами, стянул по-солдатски сапоги.

— Трубочку дашь?

И, скинув верхнее платье, прилег на диван, высоко вздыбив подушки.

— Эх, хорошо! Точно хороший стог сена.. Так слушай. Там капиташка один.. встрелся. Ну, попросил позволения присесть. Вижу — усы уже мокрые, хочет еще покупать. Что же, купи! Пожалуй-ста! Выпили. То да се, разговор. И что-то он помянул Багратиона. А ты знаешь, я князя Петра Ивановича.. вот где ношу — в сад сердцем. Он у меня тут живой! И как он произнес это драгоценное имя, я встал. А он что же? Сидит и тарашится на меня, не понимает. Я команду: «Встать!» Так, знаешь, рявкнул, что стекло на столе зазвенело. А он, будто камнный идол, совсем ошалел. Сидит и тарашится. Ну, тогда я его поднял!

И Давыдов показал у затылка, как именно поднял, а затем, уже вовсе без слов, одними лишь жестами, столь живописно изобразил, как отшвырнул капиташку он в угол, что Пушкин не мог удержаться от веселого хохота; даже мурашки у него по спине пробсжали.

Было похоже на правду.

— Что же — дуэль? Ты пришел меня звать секундантом?

— Прежде всего я пришел тебя, видишь ли, поцеловать. А дуэль? Какая же дуэль? Он извинился. И мотивы его.. не лишены были веса. Еще до того, как подсел, у него уже было, как оказалось, довольно.. — И Денис Васильевич легонько

щелкнул себя пальцем по щеке. — Было уже, как оказалось, полдожины. Я точно проверил. Пянул. Простил.

И, вспомнив опять (а, может быть, и не забывал), спросил еще раз:

— Так чьи же те стихи?

Александр улыбулся его авторской слабости и, вместо ответа, повторил и продолжил:

Коль право ты имеешь управлять,
То мы имеем право спотыкаться,
И можем иногда, споткнувшись, — как же быть, —
Твое величество об камень
расшибить!

Денис Васильевич был очень доволен. Отложив трубку в сторону, он с задумчивостью покрутил ус.

— Да.. Но одно слово ты, однако ж, запомнил. У меня нет «величества», у меня только «могущество».

— А думал ты разве не о Величест-ве? — смеясь, спросил Александр, и по смежу его было ясно, что словечко-то переменил он нарочно.

— Мне и за «могущество» мылили голову предовольно.

— И один клок выстирали, говорят, до бела, да что-то не видно.

— Смотри, другому бы я не спустил, — стозвался Давыдов, двинув бровями, и, вытянув губы в тоненькую трубочку, подул в них: так он делал всегда, «выду-вая» из себя зародившееся в нем недо-вольство.

Давыдова за его басни перевели из гвардии в армию, а прядь волос на его голове была седа с самой юности, но он старательно ее красил. Такова была слабость у этого отважного крепыша. И, вспоминая что-либо, он не отказывал себе в удовольствии скинуть с плеч годика два-три.

— Я потому так сказал, что она очень бы к тебе шла, — примирительно произнес Пушкин. — «Анакреон под доломаном», и притом с белой прядью — красиво!

— А ты помнишь и это! — опять оживился Денис.

— Я помню все, и как ты отмечен в Парнасском Адрес-Календаре у Воейкова «Действительный поэт, генерал-адъютант Аполлона при персидско-Вакха с Венерой».

— О покоритель Индии — Бахус или Вакх, или, иначе, тезка мой Дионис, это действительно, но вот по части Венеры.. Ты знаешь, я ведь недавно женился.

— А все же крутишь свои стихи, как усы, или усы, как стихи.

— Ты угадал. Я поэт не по рифмам и словам, я по чувству поэта. Да и рассказы мои, и разговоры, и за рюмкой стихи и, бывало, налеты в чернильную, не проглядную темь с горстью моих уда-лов — все это одно. И ты понимаешь. А

я люблю, когда понимают. А, впрочем, пока еще не забелело в окне.. Это девиз мой: «Во многоглаголании несть спасения!» Спать!

Но еще часа два говорили, да и девиз повторялся несколько раз. Говорили они обо многом. Давыдов хвалил «Руслана», а Пушкин признался, что он многим обязан ему.

— Ты стихами своими дал мне почувствовать, что можно быть оригинальным!

— А я, когда тебе было, верно, годика три, твою судьбу предсказал. Знаешь ты это?

— Какую судьбу?

— А сегоднешнюю. Не помнишь такого: царь осудил вельможу на казнь — «за правду колкую, за истину святую». А тот отвечал ему басней..

— О реке и о зеркале. Помню. Зеркало можно разбить, а в реке уродства своего не избудешь!

Монарха речь сия так сильно убедила,

Что он велел ему и жизнь, и волю

дать...

Постойте. виноват! — велел сослать.

А то бы эта была на басню походила.

— Так вот, Пушкин. Это и есть твоя боль.. А Аглая Антонова как? Цветет, как чайная роза? Попржнему?

Пушкин знал об этом давнем увлечении Давыдова женою его двоюродного брата, толстяка Александра Львовича. Тут бы, пожалуй, он мог кое о чем и распространиться, но он боялся каким-нибудь колким замечанием обидеть Дениса Васильевича, всегда сохранявшего по отношению к дамам из общества рыцарскую деликатность.

Так они перескакивали с темы на тему, пока, как бы завершая некий круг, Денис не напал опять на своего «капиташку». Видимо, тот, как кость, оцарапал его горло, им как-то першило и хотелось поскорей его из себя «выговорить».

— Да, ты знаешь, этот сосун-то.. Разговорились потом: я хорошо его протрезвил! Был он, оказывается, под Рушуком, в чине прапорщика, когда этот наш «ай да» Каменский, сменивший Багратиона, вздумал кинуть пыль в глаза. И, представь, он Каменского чит. А? Дурак! Ну, я и напомнил ему, как сей полководец послал Башнягу-аге сказать, что-де я пришел с армиею и даю три паса на решенье — сдаваться или держаться, а тот отвечал, что поздравляет его с приездом, может даже и ворота открыть и встретить его достойным родом в самой крепости Рушуке, но только молит всевышнего, да присенит он покровом своим всесильное российское воинство! И положили мы восемь тысяч под Рушуком, а Рушука Каменский не взял.. Таких-то не чтыт! Да коли бы стоял разговор, я бы этому вислоусому скомандовал: «Сесты!»

Это и было последнею вспышкой и подлинной страсти, и многоглаголания. Молодецкий заезд был закончен. Давыдова, как иногда, бывало, в седле, покачивал не хмель уже, а батюшка-сон.

— А то еще было.. — заговорил он, зевая. — В тех же краях, как мы с Николаем Николаевичем.. Речка и горы.. то-есть, не горы, а лес.. и надо мне.. Что это надо мне..

И покачнулся, завел глаза и уронил руки, чуть шевельнул усом (должно быть, улыбка), сделал маленький ротик и прошептал:

— Знаю, что: мне надо.. спать. — И «спать» говорил уже, кажется, спящий.

Так сразу гигант превратился в ребенка; лихого вояку можно было взять на руки и отнести на какое-нибудь более удобное ложе. Члены его так и остались раскинуты, точно каждый из них заснул сам по себе, ничто их не связывало. Сон был мгновенный и огульный. И только немного спустя возникло как будто некое ощущение единства спящего «я». Ноги одна к другой подтянулись, корпус лег на бок, рука потянулась к щеке и под щеку, ноздри пошевелились, ротик открылся свистулькой, и вдруг могучий храп сотряс воздух, как если бы не человек захрапел, а боевой казачий конь. А лицо у Дениса Васильевича стало доброе-доброе, детское.

Пушкин больше уже не ложился. Скоро и свет снеговое бледной полоской глянул в окно. Спать не хотелось ничуть. Словно он в полные горсти набрал снега из сугроба и растер им лицо. Думы остались. Но свежий и молодой веял воздух в душе. Давно забытая хорошая беззаботность подувала в груди. И впереди был день, солнце, люди, мороз. И хорошо, что много и солнца, и человеческих глаз.

В комнате было накурено, вещи разбросаны в беспорядке, посвист и храп, но хорошо было в комнате, было свежо и пахло в ней молчаливым крепким снегом.



Киевом Пушкин очень интересовался, и Киев его пленял. Пленял и своей красотой, могучим Днепром, закованным в латы зимы, крутыми горами, вековыми дубами и липами, и красавицей-тополяю, как тут называли нежно — по-женски; вальным размахом простора, широкими улицами, убегавшими прямо в леса или в степь, маленькими домиками, причудливо-щедро рассыпавшимися по откосам, множеством кузниц, заводов — кирпичных, кожевенных, разнообразием лавок, соборных как бы в могучую горсть гостинных дворов — два на Подоле и один на Печерске; своєю веселой и подвижно толпой, переливавшейся с горки на горку с одинаковой легкостью — вверх или

вниз. И он так привык: «Не знаю, как теперь буду ходить по ровному месту, совсем разучился!»

И был еще Киев другой, среди оживления, говора, шума хранивший в своей многовековой тишине внятную музыку прошлого. В этих соборах и колокольнях как бы отлито самое время: древняя Русь, истоки истоков.

Пушкин как будто везде побывал; поэтичным его чичероне в этих прогулках был Николай Раевский, отлично знавший всю старину.

Уже весенний просторный ветер плыл с далекого горизонта над могилой убитого князя Аскольда, который, бог весть, и был ли когда, но при котором, по преданию народному, впервые Русь нажила себе славное имя в истории. Это-то было, что двести парусных лодок оказались внезапно у стен Цареграда, на воротах которого попозже Олег прибил свой щит победителя. И этот обрыв с крутыми уступами, и самая даль, и Черторой, неустанно роящий Днепр и уже сейчас поломавший свою ледяную броню, — все это было уже и тогда. И на исходе зимы также звенел в кустарнике ветер, качая и руша сосульки на тоненьких ветках шиповника.

На лаврском дворе были тучи народа: богомольцы и богомолки, послушники, продававшие разные чудотворные штуки, убогие, открывавшие свои уродства и язвы и собиравшие в деревянные чашки гяжелые пятаки, размером и тяжестью не уступавшие «государственной российской монете» — рублю, предмету всех возжеланий. Были и сбитенчики, но этих на двор не пускали и стояли они у ворот: розовые, ладные, в поддевах, волосы в кружок, а шеи докрасна выскоблены острым ножом: прямо-таки ярославские, а не то костромские посадские. Тут торговали и городским красным товаром, и природными тканями коренной Украины: петухи так орали на добротном полотне полотенец, что говорилось невольно погромче, а то тебя не расслышат.

В пещерах была духота, тишина, шарканье ног, шопот молитвы, нагар на свечах. Тут долго нельзя было быть. На кладбище Александр и Николай остановились над могилою Искры и Кочубея. Пушкин списал и старинные стихи, высеченные над их гробом, и прозаическую надпись: «Року 1708 июля 15 дня, посечены средь обозу войскового за Белою Церковию на Борщяговце и Ковшевом, благородный Василий Кочубей, судья генеральный; Иоанн Искра, полковник полтавский. Привезены же тела их июля 17 в Киев и того ж дня в обители святой Печерской на сем месте погребены».

— Историю украинского народа? Может быть. А может быть, и поэму: поэму об

Украине. И не сказку уже, а живую — страшную и прекрасную жизнь.

— Пойдем, я еще тебе покажу... Это мало кто знает, мало кто смотрит.

И Николай, у кого-то добыв разрешение, повел его по ступенькам в маленькую изящную церковь, расположившуюся над входными воротами лавры.

За дверями еще, загибаясь, шла лестница. И это действительно было чудесно — то, что на стенах.

— Псалом стопятидесятый, — сказал Николай: — «Всякое дыхание да хвалит господа!»

По стенам, несколько затуманенные и смазанные временем, между гор, деревьев, потоков с мостками шествовали в рай отдельные группы: святые жены, преподобные, девственники. На земле и в воде — звери и птицы: одиозный верблюд, крохотный слон с ушами, вырезанными фестончиками, ростом с павлина, и рядом павлин, равный ростом слона, с цветистым хвостом и коронкой на голове, собака на тоненьких ножках с острыми ушками и крысиною мордочкой, обезьяны и раки, страусы, лебеди, голуби, гусь, и тут же в волнах — сирены, русалки — и все шествуют в рай: всякое дыхание да хвалит господа! А краски? Одежды горят цветными узорами, а святые жены не уступят и дородностью, и пышным румянцем тем самым киевлянкам на улицах, с прабабушек которых их рисовали когда-то молодые и простодушные лаврские послушники-ученики.

Пушкин был очарован. Он очень смеялся, смехом своим отдавая должную дань простодушно-языческому вдохновению на христианский сюжет. «И мне бы написать нечто библейское!»

Так и теперь — раннее утро, Давыдов уснул, в доме никто еще не проснулся, а уже с улицы слышно: нет-нет да и прокрипит под чьею-то легкой, спешной ногою снежок — так и теперь захотелось ему выйти на волю. Редкий, негромкий, как бы только для посвященных, утренний звон призывал прихожан к ранней обедне. Пушкин не был еще у Софии! Надо пойти!

— Да ты с ума, кажется, друг мой, сошел, — говорил, протирая глаза, сонный Раевский.

— Ну, Николай, голубчик, пойдем! Как же мне без тебя?

— Да у тебя там свидание, что ли?

— Вроде того. — Пушкин смеялся. — Хочу очиститься скверны и подышать горным воздухом.

На улице было зябко, легко, хорошо. Встать и пойти к ранней обедне — не бычайню!

— Скоро мне уезжать. А я еще не видал. А святую Софию нельзя обижать.

В обширном и несколько мрачном храме народу было немного. Но иконостас был залит огнями, а в самом верху тем

нел суровый Христос со смоляной боро-
дой. Тяжелая масса воздуха полнила
храм, и песнопения были сумрачны, важ-
ны. Каждый шаг по каменным плитам
давал глухой и замирающий отзвук в уг-
лах.

Николай провел Пушкина поглядеть сар-
кофаг Ярослава. От кого-то он слышал,
что и теперь в Карпатах гуцулы ставят
такие же с двускатною крышею скрини.
Саркофаг был изукрашен высеченными
на нем изображениями: кресты с грече-
скими буквами, звезды в кругах, симво-
лические рыбы, растения, птицы у гнезд.
Все это мраморное сооружение походило
немного на дом, украшенный и приспо-
собленный для житья покойника. Неболь-
шие углубления напоминали даже окон-
ца, откуда он мог бы полуосмуренным
оком поглядывать в мир, да и на него
самого можно было б взглянуть...

Однако же и весь храм, когда-то испол-
ненный жизни, горячий участник собы-
тий, отчасти и сам теперь походил на
гробницу. Стоило ли и идти? Николай
прав: в этакую рань можно было бежать
разве что на свидание..

Но «свидание» это все ж таки состоя-
лось. Озирая иконостас и колонны, Пуш-
кин вдруг увидал чудесную мозаику де-
вы Марии. Она была не с младенцем, не
приснодева, а подлинная земная девуш-
ка. Она занималась работой, прядла: в од-
ной руке кудель, в другой нить, на нити
веретено. Она приостановилась, глядит...
А на другой стороне арки — архангел
Гавриил шагает в сандалиях, шаг раз-
машист, широк.

— В руках его посох, — поясняет Ни-
колай. — Это символ всех путников, всех
посланцев во имя божие.

Пушкин, не отрываясь, глядит на
Гавриила.

— Я тоже путник, — говорит он с усмеш-
кой, — и я поэт, следовательно, тоже посла-
нец богов. Только это не посох, ты при-
глядись.

Действительно, посох кажется больше
похожим на огромный стебель лилии,
только почему же он красный? А над
пальцами правой руки, средним и указа-
тельным, поднятым вверх, действительно
на столько крест, венчающий жезл,
сколько розетки цветка. Однако же сте-
бель вверх пламенеет гранатовыми цвет-
ными пятнами между белых звездочек-
лепестков. Посланец небес только ступил
на милую грешную землю, как уже го-
рячий огонь обжег его внезапною стра-
стью. И тот же огонь уже зажег пряжу
Марии: кудель, нить, веретено.

А может быть и наоборот — ответ ее
пуширой пряжи осветил собою ответ-
ным огнем цветов из небесных садов?

Они еще не близки, но видят друг дру-
га. Пространство их разделяет, и это про-
странство полно пламенеющим морем
свечей, и каждая свеча, как открытое, го-

рящее сердце. И внезапно в хоре стаи
различим раньше терявшийся между
других молодой женский голос, и в нем
была вся полнота цветущей, ликующей
жизни. Это было чудесно, как если бы
солнце раздвинуло своды и засияло на
вышине.

И библия, и Парни, и Вольтер, и эта
мозаика в храме, сквозь бледные краски
которой пурпуром глянуло солнце языче-
ства, да и не язычества.. а солнце земли,
на ней творящее жизнь, и это потрески-
ванье горящих свечей, и мреющий воз-
дух над ними, — все это вместе колы-
халось и в Пушкине в каком-то внезап-
ном, поэтически-ясном, озорном и чист-
том одновременно — в замысле? Нет еще..
Но в предчувствии — да.

В этом свете огней, усиленном еще и
ответом, идущим от пышных царских
врат, позолоченных, богато украшенных
выпуклою растительной орнаментикой, и
лицо самого Пушкина, со сжатыми губа-
ми и немигающим взором, как бы мерца-
ло — в ладу и соответствии с возникав-
шим в душе скрытым волнением, то за-
тихавшим порою, то вновь разгоравшим-
ся. От Николая, стоявшего рядом, ничто
не укрылось: дружба внимательна.

— Да что ты? — спросил он тихонь-
ко. — А ведь и верно: ты сам.. ты и сам
ведь сейчасходишь на Гавриила.

Пушкин лишь усмехнулся и отвечал
очень коротко:

— Пожалуй, пойдем.

Так и случилось, что в это утро в нем
проросло новое детище — «Гавриилада»,
зачатое в Киеве, осуществленное потом —
в Кишиневе.



Денис все еще спал, когда Пушкин
вернулся. О нем уже приходили справ-
ляться, но велено было не тревожить.

Проходя к себе, Александр встретил
Аглаю Антоновну. Она никогда так рано
у Раевских не появлялась. Молодая жен-
щина, в утреннем туалете, была души-
ста, свежа, как всегда. «Вот бессмертная
Ева, — подумалось ему, — которая со
змием никак не раздружилась». И ведь
рада, конечно, что Денис без жены..

— А какой это поэт, — спросил он все-
ло вслух, — и о ком, не припомните ли,
вздохнул, кажется, так:

Сколько пленников скитается,
Сколько прёзренных терзается
Вкруг обители красавицы!

Аглая Антоновна отвечала довольной
улыбкой и, не взирая на утренний час,
потянулась к столику за пахитоской.

— Скитались когда-то, — с приторною
скромностью возразила она и даже опу-
стила ресницы. — А теперь, кажется, спят и
не могут проснуться. Вы, говорят, рано
встали и уходили. Куда? — Тут она под-
няла на него свои серые с точками жел-

товатых огоньков, «пестрые», как однажды Пушкин их окрестил, странные, но очень красивые глазки.

— Я был на свидании.

— А! Ну, конечно.. А когда же молодой поэт мне напишет пьесу? Прощальную, — протянула она.

— Он ее обдумывает, — ответил Пушкин и ухмыльнулся при этом довольно выразительно.

«Так напишу, что тебе, матушка, не поздоровится», — подумал он про себя с минутною злостью. Впрочем, по правде сказать, это его раздражение было направлено не только на нее, но и на себя. Чем эта женщина так чаровала? А чаровала, действительно, всех.

Он знал оба стихотворения Дениса Давыдова, посвященные бывшей герцогине, а ныне действительной русской помещице, и второе из них очень ему нравилось. Вернувшись к себе и будучи в настроении приподнятом, он наклонился над спящим поэтом и не очень даже громк над ним произнес:

Не пробуждай, не пробуждай
Мои безумств и испуганий,
И мимолетных сновидений
Не возвращай, не возвращай!

Негромко, но все же прочел с невольною страстью, которая почти что рыдала в этих коротких строках.

Весьма вероятно, что сон Дениса Васильевича не был бы прерван даже и пушечным выстрелом, но эти короткие строки заставили его быстро вскочить.

— А где она? — спросил он, моргая глазами и ошалев от внезапного пробуждения. — Или это ты... за нее?

— Это я — за тебя:

Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти!
Дай отдохнуть тревогам страсти
И ран живых не раздражай!

Через четверть часа, по-военному быстро, Денис Васильевич был совершенно готов, чтобы сойти к столу.

По дороге он брал Пушкина за локоть и, щекоча усом, говорил ему на ухо, все так же, хоть и тихо, то похрипывая, то подвизгивая:

— Это, брат, минуло. Этого не воротить. Не поминай! А стихи, говоришь, хороши? Сердце писало.

День был чудесный; из-под застрех падала солнечная осыпаящая капель. В открытые форточки доносился веселый шум города.

★

Весело было и за обедом, к которому были приглашены и каменские Давыдовы. Денис Васильевич сам себя превзошел. Он вспоминал, как видел Наполеона в Тильзите, куда его, в качестве адъю-

танта, часто посылал князь Багратион.

— Станом таков, как на портретах. Стан его очень схватили. Но лицо не схватили никак. Наполеон — человек лица чистого, чуть смугловатого, с чертами весьма регулярными. Нос небольшой и прямой, горбинка еле приметна. Черные брови, ресницы, а глаза голубые. Это взору его придавало очарование. А ростом был мал: два аршина шесть вершков; я по себе точно измерил.

Все улыбнулись.

— А что ж, necessarily быть великаном. Вот и мы с Пушкиным не велики, а между тем.. между тем..

— Здоровье поэтов! — с улыбкой провозгласила Аглая Антоновна, и все дружно ее поддержали.

— А что вы скажете, — продолжал Денис, окончательно развеселившись. — Ежели дух несоразмерно велик с брэнной его оболочкой, то ведь от одной тесноты — так и пышет, и прыщет!

Посреди всеобщего оживления Пушкин поймал на себе пристальный взгляд Александра Раевского. Что он хочет сказать?

Пушкин не знал, что Михаил Федорович оставил за собою на съезде в Москве полную свободу действий, но знал уже, что Николай Николаевич склонялся принять формальное его предложение, и почему-то лишь медлил с окончательным ответом. Теперь Пушкин, отвечая на взгляд Александра Раевского, глазами спросил: «Что ж, или уже предложение принято?» — и тот утвердительно кивнул головой.

Тем временем Николай Николаевич дал знак дворецкому. Появилось шампанское. Его разлили в бокалы, и тогда он поднялся с бокалом в руке. Он помолчал несколько мгновений, верно, не хотел, чтобы голос выдавал его волнение, и лишь затем произнес решающий тост, спокойно и ровно, только несколько тихо, а это еще усилило значительность минуты.

— Я предлагаю выпить за здоровье жениха и невесты! — И повел бокалом в сторону дочери и Михаила Федоровича, сидевших невдалеке от него.

Все встали. Денис Васильевич звонко провозгласил: «Ура!» Другие мужчины его поддержали. Жених поцеловал руку невесты. Родители Раевские поцеловали их обоих. Все встали и один за другим подходили к помолвленным с поздравлениями.

Пушкин знал. Пушкин ждал. И все-таки у него закружилась голова. Но он полностью овладел собою. Впрочем, Екатерина Николаевна было не до него. Обычная наблюдательность в эту минуту оставила и ее. У Орлова сияли глаза. Он крепко жал руки, и было видно, как душа его была полна и открыта.

— Так-то когда-нибудь, брат, и ты.. — тихо промолвил Денис. — Это большая минута.

Пушкин хотел что-то сказать, но запнулся. Он почувствовал, как у него защебетало в глазах, и отвернулся.

Мария глядела на него издали, и рука ее, все еще державшая тонкую ножку бокала, дрогнув, заколебалась. Она поспешно его поставила. Пушкин ничего этого не видал.

ГРЕЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ

Как Пушкин ни торопился выехать поскорее из Каменки, все же ему пришлось несколько там задержаться.

Деревенская жизнь протекала попрежнему: неторопливая, несколько сонная. Братья Давыдовы после киевской встряски с удовольствием предавались покою. Происшествия случались простые, домашние: пала корова, вспыхнул пожар, прососало платину. Но из Кишинева доходили в Каменку разные, будоражившие слухи. Восстание еще не началось, но Александр Ипсиланти уже перешел с братьями за пределы русской границы, и тотчас там возникло народное движение. Бояре поднялись с насаженных поместий и двинулись в Бессарабию. Все это не могло не волновать Пушкина, подымало и его с места.

В самые первые дни по возвращении снова его охватила было тоска и ощущение одиночества. Памятный вечер вспоминался ему как острее, потрясшее его несчастье. Он снова твердил и еще заострял эти стихи о себе: «Один на ветке обнаженной / Трепещет запоздалый лист».. И особенно глубоко он почувствовал здесь, что это не об одной Екатерине Николаевне.. Ведь это — почти точная картина того, как он выбежал после заседания в сад — в таком одиночестве и охватившем его внутреннем холоде, как никогда еще в жизни..

Так с ним бывало не раз. Разум и мысль никогда не оставляли его, и за стихами он не безумствовал. Но, случалось, они подымались из такой глубины, что и сам он лишь по прошествии некоторого времени охватывал во всей полноте их подлинный смысл. Тут же он окончательно утвердился в мысли не включать их в поэму.

Но и Раевских не мог он забыть. Он еще весь был овеян киевским воздухом, и весь этот дом, все семейство неотразимо его к себе привлекали. Он перебирал воспоминания, сетовал на судьбу, упрекал и себя за действительно бывшие мелкие невольности и за воображаемые большие.



Кишинев весной стал неузнаваем, Улицы были переполнены народом и экипа-

жами. Ехали еще и на санях, свистя полозьями по жидкой грязи, и ухали колами многолошадной каруццы, запряженной дугом. Лошаденки в диковинных этих плетеных тележках были столь нищи, худы, что, казалось, с превеликим трудом тащат только себя и ту, что за ней, ближайшую, а повозка плетется, пожалуй что, как-нибудь сама по себе. Было похоже на то, что все жители города и все новоприбывшие только и делали, что передвигались с места на место; возникали людские заруды, водовороты.

Стоило кому-нибудь со знакомым остановиться и начать говорить, как тотчас возле него возникала толпа, и каждого отошедшего от нее вновь останавливали, спрашивая, в чем дело, какие новости, Домов и кофеен стало, кажется, мало, в них тесно: просторней, когда над головой потолок из синего неба. Да и вообще сидеть невозможно, противостоит вено, когда мысли в движении, кровь в жилах в движении, и также ломает она какие-то льдины и ворошит их, и куда-то уносит..

Пушкин снял шляпу. Волосы его на голове давно уже отросли, ветер их шевелил и вздымал. Ему тоже сидеть невозможно. Хотелось бы встать и так, стоя, ехать между толпы. Но он только порою приподымался и поглядывал по сторонам, точно надеясь выглядеть самый исток, откуда бил этот неукротимый поток людей. Он улыбнулся этому своему несколько детскому желанию и возницу направил прямо к дому главного начальника всей Бессарабии.

Иван Никитич был дома и встретил его на террасе.

— Ну, что, бегунок, — сказал он ласково и хитро улыбаясь. — Надеюсь, что прибыли в добром здравьи. Вас тут искали по городу, ровно иголку. Градская полиция, слышал, донесла, что вы отбыли в Москву; туда же и денежный иск к вам, на изрядную, однако же, сумму, в догонку последовал.

Александр конфузливо, но и открыто глядел в его голубые глаза.

— Ну, а чтобы впредь за вашим здоровьем самому мне поближе следить, я распорядился, чтобы вещи ваши переправили ко мне. В вашем распоряжении отличные две комнатки.. Да вы знаете их, направо внизу с окнами в сад.

И в самом деле все небольшое имущество Александра Сергеевича ждало его здесь. Не думая, не гадая, попал на собственное новоселье.

За обедом обменивались новостями. Инзов знал уже от Орлова о пребывании Пушкина в Киеве. Он знал и о поговаривании молодого генерала. Свадьба была назначена на май. И свадьба будет в Киеве, а потом молодые придут сюда. Орлов готовит уже себе второй дом.

Сам Инзов очень интересовался хозяйством: хорош ли в Каменке был урожай, да сладкие ли бураки уродились в этом году, да велики ли были зимою сугробы: сугроб высок — и рожь высока!

Пушкин на все отвечал: в деревне живя, невольно про все это знаешь, и Инзов поглядывал на него с одобрением и даже с какою-то смутной надеждой, а не возрастет ли из молодого поэта когда-нибудь и добрый хозяин.

— Да что же у нас? — отвечал он на встречные нетерпеливые вопросы. — Сам видишь, какая сумятица. На моем птичьем дворе, разумею, потише. Я, чаю, самому графу Каподистрии в Санкт-Петербурге не стыдится. Дело его собственных рук. Давно замышлял. Только не знаю.. Игрок-то он не из важных: сколько раз я его за шахматной доскою бивал.

После обеда, наедине, перед тем, как пойти подремать, он доверительно сообщил Пушкину, что Александр Ипсиланти к нему присылал вестового с письмом. И к государю писал. Выходит, что надо теперь ждать событий.

— А что же именно он вам писал?

Инзов немного откинулся на спинку дивана и чуть сощурил глаза.

— Да так.. кое-что. Я, по правде, запомывал. Ну, кланяться всем наказал.

Александр сообразил, что спросил он довольно неловко, но все же немного обиделся. Только обижаться на Инзова было почти невозможно. Он тотчас протянул руку и подвинул Пушкина по дивану поближе к себе.

— Неосновательный князь, — сказал Иван Никитич, зачем-то понизивши голос. — И так собрался внезапно. Сел себе на Рыжака и ускакал!

Пушкин уже улыбался.

— Это вы из Жуковского?

— Ну да, дон Кишот настоящий. Я его уважаю, люблю, но только в звезду его я не верю. А событий все-таки надобно ждать. Вы знаете, что еще в январе скончался Валахский господарь Александр Суццо, а гетеристы этим воспользовались — тайное общество.

— Тайное общество?

Так странно звучали эти слова в устах Ивана Никитича.

— А что ж, вы не знаете? И чему удивляетесь? Ежели может быть тайная дипломатия, то почему не быть тайным обществам, от коих может проистечь польза народная?

Как было понять генерала? Или он даже не подозревал о существовании того, настоящего тайного общества, или смотрел столь широко, что признавал разумность его, как некоего противовеса арачкеевскому гнету в стране, как признавал необходимость отдушника, форточки?

Глаза Инзова глядели так ясно, открыто, что никакого ответа на эти вопро-

сы в них прочитать было нельзя. Но самый тон голоса был так доверительно простодушен, что мимо всяких вопросов, на них не задерживаясь, Пушкин внезапно почувствовал, что, вернувшись в Кишинев и обосновавшись под этою кровлей, он находился все же отчасти как бы и дома.

Инзов его поселил у себя: за молодым человеком надо притягивать! Комнаты выходят прямо в сад, вид из окон просторный, широкий — на реку, на город, на горы вдаль.. Но самые окна (или вы не заметили этого, дорогой генерал?) — окна с решетками; может быть, от воров. И все-таки Пушкин не был в претензии. «Это затем, чтобы я сам ночью не лазил, летом травы не топтал, цветка не сломал. Буду ходить просто в дверь — когда и куда захочу. А не то, — внезапно в нем загорелось, — хоть и еще раз в Киев иль в Каменку, захочу — убегу!»

— И не греки одни, — молдавانه и влахи. Все поднимаются. Только эти с дубьем и топорами. Видели, сколько их бар сюда понаехало? Валахский солдат Теодор Владимиреско собрал, говорят, целое войско таких головорезов. Трудно будет князю Александру с ними поладить.. К Орлову пойдешь? Напомни ему о заседании Библиейского общества. Тут одна неприятность могла произойти. Сабанеев хотел поднять дело..

— Ах, из-за этого адъютанта мерзавца!

— А вы это знаете?

— Я помню. Это было при мне. Я очень жалел, что сам его упустил. Что ж, была буря?

— Буря не буря, но из-за мерзавца, как вы говорите, я не хотел допустить неприятностей человеку, которого я уважаю. А Орлов написал не как младший старшему, а сам потребовал объяснения, а за это.. за это вот неприятности и бывают. Но я Сабанеева пошридержал.

Инзов поднялся и закончил очень серьезно:

— Не такое время теперь. Надо силы беречь, и людей надо беречь. Потому что, как знать, может быть, мы накануне войны. Но это решит государь.



Март и апрель двадцать первого года были для Пушкина месяцами большого подъема. Все свои силы, всю страстность порывов, молодую, кипучую, — все он пустил на полную волю.

Инзов его заставил говеть. Для чиновников это было обязательно. А Пушкину хоть жалования и не высылали, все же он продолжал «числиться». Пушкин говел и.. писал свою «Гаврилиаду». Так он отводил себе душу, сражаясь с лицемерным и ханжеским христианством императора Александра и его друга, сладостлюбца и изувера архимандрита Фотия. Это

не было нарушением данного им обещания, это не «противу правительства», это всего только вольный пересказ вольного апокрифического сказания, который так удачно совпал с собственными его поэтическими ощущениями в соборе святой Софии...

Инзов однажды застал Пушкина за чтением Библии. Тот только-что прочитал и отчеркнул для себя: «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал»; и еще: «сыны божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им»... Как это было кстати!

У Пушкина было лицо оживленное и на губах бродила улыбка. Иван Никитич немного тому даже и подивился. Но он был доволен, что застал своего подопечного за чтением священного писания, и стал говорить о великом просветительном значении Библии. Он знал, как это надо сказать.

— Вы же архимандрита Фотия сами высмеиваете. И справедливо, а ведь он Библейского нашего общества очень боится, и боится широкого распространения библии, считая ее для народа очень опасной.

Пушкин ответил с наивностью и озорством:

— Я и сам думаю написать что-нибудь библейское.

— Ну вот и отлично, и очень отлично. И в Общество надо вступить.

— Там надо деньги вносить, а вы сами знаете, сколько я вам задолжал..

— Ну, задолжал! Разбогатеешь — отдашь.

— Нет, я уж надеюсь, скоро и сам внесу свою лепту, хотя бы и не деньгами. Пушкин смеялся, и Инзов ушел от него в легком недоумении: что-то он был слишком уж скромно и тих. Да и то сказать только не выкинул бы чего-либо противу правительства. А так, что же — молодости кто запретит и пошалит! Даже и в саду у себя Иван Никитич терпеть не мог подстриженных деревцов, живое себя само должно отыскать.. Ну, а поэты — пути их неисповедимы.. — У Ивана Никитича была своя философия.

Также поддразнивал Александр и своего друга Николая Степановича Алексева, коллежского секретаря, что пишет поэму о прекрасной еврейке. Тот очень боялся, как бы Пушкин не отбил у него его возлюбленной, хорошенькой Марьи Егоровны, которую, хоть и была она чистокровною молдаванкой, по типу лица прозвали «еврейкой».

А великий пост долог, и церковные службы у Благовещенья, куда он ездил с Инзовым говеть, были весьма уютными. И Пушкин жаловался в шуточных стихах Василию Львовичу Давыдову:

Я стал умен, я лицемерю —
Пошусь, молось и твердо верю,
Что бог простит мои грехи,
Что бог простит мои грехи,
Как государь мой стихи,
Я променял Вольтера бредни
И лиру, грешный дар судьбы,
На часослов и на обедни,
Да на жушеные грибы.

Давыдову он не очень приоткрывал, что Вольтера отнюдь не забыл и ни на что не променял. Напротив, приятелям в Кишиневе он намекал, что, воспев «землю и море», теперь поглядывает на небо.

— А потом, чего доброго, и адом займусь!
Но был ли то ад или рай, «Кавказский пленник» или «Гавриилада», — прежде всего и во всем это было отражение живой сегодняшней жизни, которая мучила, радовала и волновала его на множество разных ладов. И опять-таки было это и неустанным единоборством с собою самим — в поисках точного слова, верного образа, а через это — и находением, утверждением самого себя.

У Пушкина времени, сил и внимания на все доставало. Он и друзьям писал письма, стихи, где рядом с шуткой были раздумье, спокойная мысль, и он же нетерпеливо и страстно спорил и возмущался, мечтал, строил планы — и вслух, у Орлова, Липранди, и про себя: о, и про себя!

Стихотворные послания были им адресованы Давыдову в Каменку, Дельвигу, Гнедичу, Чаадаеву.

Порою, устав от серьезных волнующих споров, болтал он и всяческие пустяки, мешая были и небывлицы, рассказав и про то, как будто бы за время своего пребывания в Киеве довелось ему побывать и на Лысой горе, и что там с ним приключилось (из дам кишиневских кое-кто ему отчасти и верил), и — за стаканом вина — про Дениса Давыдова, как тот в дверях ночью возник, как привидение.

Порою все же охватывало его и острее ощущение, что он в подлинной ссылке, и ему все чаще вспоминался другой поэт-изгнанник — Овидий, сосланный Августом на берега Черного моря, в те же, примерно, края. И он поминал римского певца в своих стихотворных посланиях и к Гнедичу, и к Чаадаеву.

И вот, стоило ему вспомнить Чаадаева — не мимолетно, а вечером, у себя, в тишине, как волнения дня уходили и уступали место раздумью, спокойной беседе.

В стране, где я забыл тревоги прежних лет,
Где прах Овидиев — пустынный мой сосед,
Где слава для меня предмет заботы малой,
Тебя не достает душе моей усталой.

.....
 И, сети разорвав, где бился я в плену,
 Для сердца новую вкушаю тишину,
 В уединении мой своеобразный гений
 Познал и тихий пруд, и жажду
 размышлений,
 Владею днем моим; с порядком
 дружен ум;
 Учусь удерживать вниманье долгих
 и дум;
 Ищу вознаградить в объятиях свободы
 Мятельной младостью утраченные годы
 И в просвещении стать с веком
 наравне.

Пушкин опять много брал книг у Липранди. Он их не только читал, поглощая страницу за страницей, и не только продумывал то, что читал, — новые знания, новые мысли он связывал с прежними знаниями и с привычными старыми мыслями. Ничто не ложилось в него само по себе — пусть и ученым, но несколько мертвым грузом. Нет, одно проникало другое, и то, что уже знал и о чем думал и прежде, заживало новою жизнью.

Нередко случалось, что в спорах с Охотниковым или с Раевским, Владимиром Федосеевичем, — тем самым Раевским особенным, о котором слышал от Охотникова еще до поездки своей в Каменку, — вдруг обнаруживалось, что он обо многом не имеет никакого понятия. Он не показывал виду, что это так, лишь немного краснел, и в этот же вечер заходил Липранди. А у Липранди, этого удивительного книжника и загадочного человека, все находилось.

Не слишком-то расположенный к людям, замкнутый и мало общительный, Иван Петрович Липранди скудную любовь свою, кажется, всю, отдавал Пушкину. Тяжелый и смутный взгляд его, постепенно проясняясь, становился открытым, простым, самые жесты его, обычно размеренно связанные, становились естественней, мягче. За изумительную открытость и экспансивность юного своего знакомца-поэта платил он серьезною дружбою, которой ничто бы, кажется, не заставило его изменить. Книги свои вообще давал он не слишком охотно, но отыскать нужную Пушкину книгу было для него настоящею радостью, одною из тех немногих радостей, которые он способен был еще ощущать.

«Опять подкинул ему немного дровишек, — так, несколько своеобразно думал он про себя, — и как затрепачат, и какой это настоящий огонь!» И издала сам слово бы грелся у того огонька.

Так с разных концов и по-разному полнилась жизнь Александра Сергеевича. Так становился он — «с веком наравне», с тем самым веком, который «не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий».

Больших «происшествий», о которых думал и писал Орлов, еще не было, но,

конечно, предчувствие их уже веяло в воздухе. А пока вспоминалось и реченье Инзова: «Событий все-таки надобно ждать».

Теперь, кроме обычного своего дневника, Пушкин вел еще и журнал греческих и связанных с ними событий.

Конгресс Священного союза, основанный императором Александром «во имя святой нераздельной троицы», перебравшийся из Троппау в Лайбах, поближе к Неаполю, решил навести порядок в Италии. Александр распорядился двинуть вместе с австрийцами четыре корпуса русских войск под общим начальством Ермолова.

Известие об этом всех исполошило.

У Орлова было много народу, и разговор шел в самых различных направлениях. Все единодушно считали решение государя — двинуть войска, дабы усмирять революцию, в чужую страну, не только ошибкой, но и деянием, порочащим честь русского оружия.

— Мы привыкли народам нести освобождение, а не порабощение!

— Освобождение от чужеземного завоевателя, а не от своих притеснителей, — отозвался глуховатым своим голосом из угла Константин Алексеевич Охотников.

— Я и не говорю, — возразил Орлов, — чтобы русские войска шли помогать карбонариям. Хотя б не мешали, и того было б довольно.

Потом общая беседа потекла по новому руслу: будет война на Балканах или не будет?

Русские войска на всякий случай уже стягивались к границе. Известно было и воззвание Ипсиланти, где он на свой риск и страх говорил, между прочим, что Великая Держава одобряет сей подвиг. Все понимали, что этой державой могла быть только Россия. Но так ли это было и на самом деле? Ипсиланти писал Александру, однако же царь, на это в ответ, освободил его от звания офицера русской службы. Силы же самого Ипсиланти были невелики. Он переправился по льду через Прут всего с двумя сотнями всадников. В Яссах теперь составляет он гвардию «бессмертного полка», над которым как-то Вельтман трунил, что это «только алчущие хлеба, но не жаждущие славы»: Пушкин тогда сердился в ответ и жалел, что его не было в Кишиневе, когда Ипсиланти и два его брата покидали Россию. Он непременно уехал бы с ними.

— Держим пока карантин, а там будет видно. Слышно, из штаба армии кого-то пошлют ознакомиться с положением дел. Может быть, Пестеля.

На этом и разошлись.

О Пестеле Пушкин слышал не раз и в Кишиневе, и в Каменке. У него была репутация умницы, но точного представления о нем Александр не имел. А ин-

тересно... Доклад Пестеля пойдет к Киселеву, начальнику штаба, а тот переправит его государю, и на него это может иметь большое влияние.

Вечером Пушкин был в обществе греков, и всех их превозшел в страстных своих высказываниях. Он говорил о древних великих народах, Риме и Греции, которые опять берут судьбу в свои руки. Он, кажется, видел себя в Яссах на площади под знаменами Ипсиланти. Про них уже точно знали все в Кишиневе; их было три: одно трехцветное, на другом развевался крест, обвитый лаврами с надписью: «сим знаменем победиши», на третьем изображен возрождающийся феникс. Пушкин был твердо уверен, что Греция восторжествует.

Его собеседники, греки, им любовались, но сами в речах были куда осторожнее. Они, как и Вельтман, были весьма невысокого мнения о войске «безумного и прекрасного» князя. Даже самые эти названия — арнауты, пандуры, гайдуки, талгары — они произносили с оттенком недоверия.

— Народ боевой, да они думают совсем не о нас, а о себе. И никто из них и не собирается надевать боевую кумшу «бессмертных» с Адамовой головой. Молдаване и влахи пойдут к Владимиреско, а тот будет грабить бояр.

Пушкин был огорчен.

Весенняя ночь дышала над городом. Звезды мягко и низко склонялись над домами. Кое-где в окнах светились небольшие восковые свечи, принесенные из церкви: вербная суббота. Вчера были пышные похороны умершего митрополита, сколько было цветов! И какая сейчас вокруг тишина. Только пролает собака да, невидимый, кто-нибудь выругается, попав в темноте в грязную канаву. Тишина эта, полусонный этот покой томили его. Хотелось распахнуть грудь. Хотелось отдать себя миру. Как это сделать?

Война!... Подьяты, наконец,

Шумят знамена бранной чести!

Быть может, там, на юге, за этою тьмой горят уже боевые огни, и барабан сзывает на битву... Вот Денисов, поэт и воин, венчаный двойным венком славы... Как хорошо!

Он шел, не глядя под ноги, не разбирая, где сухо, где лужи. Стихи возникали и затихали, точно слушаешь музыку издалека. Нет, надо на что-то решаться... И вспоминалась вдруг эта фамилия: Пестель!



Девятое апреля. Великая суббота. Говение, пост и зима — позади. Пушкин с визитом у Пестеля.

Павел Иванович Пестель уже представлялся генералу Инзову и с ним совещался, так же, как и с губер-

натором Катакази. Пушкин до сей поры видел его только мельком, произошло простое знакомство. Но Пестель сам просил его навестить, и Пушкин теперь с интересом приглядывался к этому новому человеку, у которого был много слышан и который, будучи в чине всего подполковника, с генералами разговаривал так, как будто лишь уважение к их летам диктовало ему необходимую официальную почтительность. На самом же деле, — и это было видно по тому, как они сами с ним обходились, — он чувствовал себя не только «сам по себе», но как бы и старше, мудрее, опытней их. Уже по тому, как он ставил вопросы, было очевидно, что он очень ясно и сам представляет себе положение дел и, главное, уже имеет обо всем какое-то определенное мнение.

— Утомил он меня, сей молодец, — добродушно признался Пушкину Иван Никитич. — Ты замечал, летом бывает: и небо кажется ясным, на горизонте ни тучки, а в воздухе тяжело, пахнет грозой, электричеством. Вот так-то и тут. Ежели он сам от себя не устает, так он подлинный богатырь.

Пушкину было несколько странно, что свидание Пестеля с Орловым было коротким, и по-деловому Пестель предпочел говорить не с ним, а с пустейшим Павлом Сергеевичем Пуциным, командиром одной из бригад, генерал-майором, который вышел от него, чуть не пошатываясь.

— Только о деле, только о корпусе, только о дисциплине между офицерами. Точно приехал генерал-ревизор.

И Пуцин немедленно направился к крепким напиткам, чтобы, как он говорил, — «пополнить усышку».

Правда, что Пестель у Орлова обедал, но все попытки присутствующих поднять разговор на какую-либо острую тему гасли сами собою. Приезжий не только их не поддерживал, но замолкал как-то особенно демонстративно. И Михаил Федорович, как хозяин, несколько тем не обижался, как если бы он понимал, что так и надо. Гость иногда пристально взглядывал то на Охотникова, то на Владимира Раевского, но и с ними никак не общался.

«Попробовали бы при нем выпить за тех или за ту, как пили в Каменке!» — подумалось Пушкину. — «Что это — холодность, сдержанность или боевая осторожность?»

И вот Пушкин с визитом у Пестеля. Павел Иванович сидел перед ним — ровный, спокойный, ничуть не надменный и менее всего официальный.

Если бы не несколько крупные губы, однако же хорошо подобранные, его лицо можно было признать и красивым. Крупный нос с ясно проявленной, упрямой горбинкой, очень высокий лоб с зализан-

ми; черные волосы, прямо и крепко зачесанные назад, не скрывающие отличные очертания головы, и такие же черные, даже до блеска, коротенькие бачки, спускающиеся лишь до мочки уха и причесанные не книзу, а поперек, в одном направлении с волосами на голове, и очень правильного разреза глаза, красивые, черные и блестящие: эти глаза не пламя, а именно блеск — собранность — уволю — характер. Верно именно этот-то взгляд и производил впечатление власти, почти-что приказа.

Но у него в гостях был — поэт, и сразу же Пестель заговорил не о возможной или близкой войне, не о восстании, и даже не о духе времени, а о тех подосновах, на которых зиждется все.

Ему было тридцать лет, но он участвовал уже в Бородинском сражении, был ранен и отличился. Вскоре затем граф Витгенштейн назначил его своим адъютантом. Теперь Витгенштейн главнокомандующий второй армией и при нем в Тульчине состоит подполковник Пестель. Как-то Орлову так Витгенштейн о нем отзывался:

— Пестель на все годится: дай ему командовать армией или сделай его каким хочешь министром, он везде будет на своем месте.

И вот сейчас он не командующий и не министр, он — собеседник поэта. И он говорит с ним, как с близким товарищем, как с самим собой молодым. Только у него все уже решено, все стало на место. Он не ждет никаких открытий, но и не поучает. Он высказывается.

Солнечный свет падает в комнату большою прямою струей. В комнате нет лишних предметов. Просторно и чисто, прохладно. Пестель распорядился, чтобы не топили, он не любит, чтобы было излишне тепло. Но на ногах теплые сапоги на меху: видимо, бородинская рана чем-то дает еще себя знать.

— Нет, сердцем я материалист, — говорит он, — но разум мой этому противится.

Пушкин чувствует: восемнадцатый век соседствует с девятнадцатым. Он готов был бы сказать, по себе это зная, что чувства и разум в одном человеке не должны бы друг другу противоречить: вместе они ищут и ошибаются, вместе находят, а если и разойдутся, то разве лишь с тем, чтобы, друг друга обогащая, поработорствовав, все же найти некую новую полноту и гармонию. Но все это трудно еще охватить и сказать молодыми словами. Подобные мысли только растут еще, их больше угадываешь в живом течении дня, чем осознаешь, оглядываясь, как на некий итог. Да, кроме того, с Пестелем и не влечет вступать в спор, как не придет в голову резвиться и бегать между размеренных гряд и точно расчисленных клаумб.

Пушкин внимательно слушает и по-своему, сжато, воспринимает.

Предметы отбрасывают тени. Это закон. И ежели разум велит, чувству надо стерпеть. На дисциплине держится строй, и, ежели хотите, на дисциплине держится мир. Разум затем, чтобы повелевать. Нет таких сил и нет таких обстоятельств, которые помешали бы разуму осуществить свои веления в жизни. Надо видеть пути, оценить обстановку, и надо деяние — организовать.

И, может быть, именно это последнее слово «организовать» и было тем коренным пестелевским словом, через которое можно было увидеть, как сам глядит он на мир и как понимает свое назначение в мире.

— Вы что-то задумали, и вы устремлены к тому, чтобы победить. Жизнь предоставляет много путей. Надо найти один. И надо его твердо держаться, и все должно быть обдуманно, расчислено и сосредоточено так, чтобы именно этот путь оказался путем победы. — У вас, — и, улыбаясь, он сделал к Пушкину дружеский жест, — у вас это совсем по-иному. Вы можете на деле, в работе — искать. А у нас черновики и вариантов — нет, не бывает. Нам не дано.

Это было умно, и это было верно, и улыбка всегда хороша, ибо она приоткрывает простой внутренний мир человека. Но эта улыбка была единственная за все время беседы.

— И у вас иначе нельзя, — продолжал Пестель. — Но горе-горькое, ежели такому вверено важное дело.

— Благодарю покорно, — не удержался Пушкин.

Но Пестель даже и тут не улыбнулся.

— Я, конечно, говорю не о вас, — заметил он деловым ровным тоном и разве лишь с чуть заметною ноткою недовольства, что разговор отошел несколько в сторону. — То, что вы делаете, — это огромное дело, которое мы не можем в полную меру и оценить.

Пушкину большого удовольствия это признание не доставило. Он видел не раз в ответ на свои стихи живые, сияющие глаза слушателей, а у Пестеля это было достаточно холодным и деловым признанием. В первый раз в жизни встречал он такое. Но он преодолел в себе это невольное чувство. Быстрая и острая мысль промелькнула в его голове: «Я для него на учете в каких-то его, даже догадываюсь, в каких именно, планах, и хорошо! Но разве также и я..»

Тут мысль прервалась, в словах больше надобности не было. Пушкину ясно представилось и без слов, что ведь, в свою очередь, и он глядит на своего хозяина, облитого солнцем и ясного в мыслях своих, как этот свет, — как на любопытнейшую фигуру, королю, по-своему, и он может распорядиться. Не правда ли?

Руки у Пестеля были небольшие, изящные. На безымянном пальце левой руки блеснуло на солнце кольцо, когда он на секунду приподнял ее в знак, быть может, того, что возвращается к прерванной мысли. Чье это было кольцо — матери или возлюбленной? Пушкин знал уже, что его собеседник не был женат.

— Подобных людей надо держать в стороне, — с жестокостью продолжал Пестель. — Всякое колебание, всякая неуверенность совершенно погибельны. Это путь к поражению, а не к победе. Смелости здесь недостаточно. Смелость — это какое-то «вообще», — добавил он почти с презрительностью. — Нам же нужно не «вообще», а определенность. Характер и ум. Точный характер и математический ум.

Пушкин вспомнил и про себя подивился определению Инзова: «Ежели он сам от себя не устает, так он подлинный богатырь». Но что это значит, однако: «мы», «нам»? Он говорит, как власть имеющий, как полководец, где же его войско? Или Александр Раевский ошибался, передавая, что в Москве, куда ездил Орлов, все как-то распалось?

Он не знал, что на съезде в Москве

Пестеля не было, и постановление о закрытии Союза Благоденствия принято было без него. Еще менее было известно, даже и в Кишиневе, о том, что Пестель этому постановлению отказался подчиниться и стал во главе Южного Общества. Охотников и Владимир Раевский как-то стояли сейчас от Орлова несколько дальше, чем ранее. Пушкин это заметил, но не мог отгадать почему. Он приписывал это тому, что Михаил Федорович был сейчас — и это было естественно и понятно — очень занят другим, личным, своим...

Пестель говорил еще и о планах справедливого устройства на земле, как того требовала высшая мораль и интересы самого трудового народа, находящегося ныне в крепостной зависимости от помещиков. Но и здесь не было ни малейшей чувствительности и никаких приподнятых восклицаний. Все именно было строго обдуманно, исчислено, взвешено.

Сословия подлежат уничтожению.

— Равно сословие крепостных, как и сословие царей, — с сарказмом произнес Пестель, и, вместо улыбки, впервые огонь пробежал в его черных глазах.

Окончание следует

ОЗЕРА

ЛЮДМИЛА МЛАДКО



Среди полян и хвойной чащи
Ряды озер затаены,
Где опрокинуты просяще
Ладони лилий водяных.

Где длиннокрылые стрекозы
Верхом на выгнутой струе,
Где ночью навзничь небо в звездах,
Как в мелкой рыбьей чешуе..

Они, как повесть без движенья,
Но глаз внимательный прочтет
Красноречивое значение
Сменяющихся отражений
На глади неподвижных вод.

Они и немые, и незрячи,
Они стоят подобьем сна,
Но правда жизни нестоячей
В глазах земли отражена!

Ты помнишь молодость? В озерах
Ближайших сел отражены

Навесы крыш с резным подбором,
Колодцы, полные луны.

На полосатых огородах
Шесты и робкая ботва —
Уральской замкнутой природы
Скупые первые слова.

Бывало, вызывали жалость
Глухие ссыльные края,
Но ты мужал, и возмужала
С тобою родина твоя.

И вот уже на синем глянце
Твоих задумчивых озер
Дрожат огни электростанций
И звезды прекращают спор.

И, наклоняясь, отраженья
Ты сам свое не узнаешь:
Ты весь — порыв и напряженья,
В защиту жизни и движенья,
Как меч отточенный, встаешь.

ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ

ВЕРА ПОТАПОВА



Тиха украинская ночь.
На Киевщине мягкий каимат,
И каждый лист каштана вымыт
Луной до блеска... Спать невмочь.

Тиха украинская ночь.
Не дрогнет лист. Мелькнет звезда
И скатится мгновенно долу
К неосвященному Подолу.
Черна днепровская звезда.
Не дрогнет лист. Мелькнет звезда...

Ночная птица прокричала.
Во тьму погружена река,
Но бакенщики у причала
Не зажигают огонька.
Недвижна сонная река.

Украинская ночь тиха,
Луна — как яблоко на ветке.
Рванулся стон из контрразведки
И сразу смолк... Стена глуха.
Украинская ночь тиха.

С оглядкой бродят патрули,
Прислушиваясь осторожно
К дыханию чужой земли.

Оно мятежно и тревожно.
Во мраке бродят патрули...

Но кто-то чертит на ходу
Рукой размашистой и смелой
Пятиконечную звезду,
«Фашистам — смерть!» — выводит мелом,
И обещает: «Я приду!»

На Брест уходят тополя,
Как утомленные солдаты.
Мертвы покинутые хаты
И опаленные поля.
На Брест уходят тополя.

Недвижна сонная вода.
Не дрогнет лист. Моргнет звезда...
Слободка спит, но у заставы
Незримо рвутся провода.
Разобран путь. Летят составы.
Черна днепровская вода...

Тиха украинская ночь.
Над Кисвом не меркнут звезды.
Но кажется железным воздух.
Дышать становится невмочь...
Тиха украинская ночь.

ИЗБА

НИКОЛАЙ АТАРОВ



Над большой дорогой, с краю села, на косогоре стояла изба. С тех пор как война вошла в среднюю полосу России, каждый вечер в избу шли ночевать с дороги военные люди. В ноябре готовилось большое наступление. Войска двигались к фронту безостановочно: артиллерия, пулеметы на вьюках, двуколки с минометами, танки. Пехота шла ходким, по-русски выносливым шагом — нипочем, если вьюга лепит снег на бровях и на веках. Но к вечеру кони задыхались. Свет фар блуждал по снегу, ища колею. Ветер и тьма гнали людей под крышу.

В избу входили ослепшие с вьюги, в набухших полушубках, с промокшими варежками, в заиндевших шапках. Приходили и в хромовых сапогах, которые никак не просушишь за ночь.

Земляной пол хозяйки посыпала желтым песком, изба была так чиста, что никто не лез в нее, не обметая метелкой валенки в сенях. С темнотой окна запирались ставнями. Старуха нарубала еловых веточек, три-четыре охапки, совала их в печку, и по ним бежали веселые смоляные огоньки. За окнами шумела фронтовая дорога, слышались приглушенные сутробами голоса и нытье буксующей машины, там был свет фар, ветер и снег. А изба, — как дубовый дедовский шкаф. И каждый, пригревшись, пьянел от усталости. Доставали из мешков, — кто сеledку, кто шпиг, кто концентраты. Фронт — рукой подать, люди становились дружной и отзывчивой.

То-и-дело в сенях стучала щеколда, и слышался шорох метелки. Ксения, бабкина невестка, знала уже, что где сушить: мокрый полушубок боже сохрани на печку, — прямо на земляной пол. А валенки и варежки тесно в ряд на печи. Винтовки — в дальний угол, чтобы отпели.

Каких только гостей не принимали хозяйки!

Один полночи на дворе простоял, караулил: заметил, что ребята из его полка по глуposti солому по другим дворам растаскивают. Ксения вышла на разговор, испугалась, а он успокоил: «Ничего, я так, покуриваю тут. Не сумлевайся. А то солому ташат у тебя, глупая баба. Своё-то воюет?»

А еще один все хотел голову помыть снеговой водой, без мыла. Долго плескался, а потом у печки сушил рыжие, потемневшие от воды волосы, крутил самокрутку, жмурился.

— Откуда ты, милый? — спросила старуха.

— Из Кимр..

— Сапожник, стало быть..

— Коли Кимры, так уж сапожник! Нет, шаюзовой механик..

И старуха пожевала губами, как всегда, если чего-нибудь не понимала.

..Были бережливые и были щедрые. Только и убытку, что искрошили зеленую клеенку на столе, бог с нею.. Боец сгоряча, с дороги, сахар стал рубить на столе. Давно ушел он и уж давно, наверно, на передовых, а память оставил. И каждый, кто ужинал за столом, спрашивал, разглядывая чистую клеенку: «Верно, сахар рубил? Неосторожный такой, где ел, — там след остался..»

А один ложку забыл. Старуха, подавая ее к горшку со щами, всегда приговаривала: «А эту ложку ваш какой-то забыл.. Тоже так-то, как вы, пришел: пусти на ночь..»

Ходики на стене, может быть, от дальнего гула орудий на Дону, часто останавливались. Снова ставил их по своим часам кто-нибудь из бойцов. Под ногами обглаживался черный хозяйский кот, о нем бабка тоже могла рассказать: кто его брал на руки и в усы дул, кто рыбой кормил, а узбек затопал на него, прогнал от себя: кот не любит. И когда рассказывала старуха про узбека, как он на

кота по-своему заругался, то все смеялись.

А однажды черкес ночевал. Стал свататься к невестке, Щеголял перед Ксеньей, красовался, сам черный, осанистый такой.

— Иди за меня, Марушка. У меня в горах дом каменный.

А тут подвернулся в ту ночь курносый какой-то, все возился со своими мокрыми портянками, стал он дразнить черкеса:

— Бывал я, — говорит, — в ваших местах. Брешешь ты — «каменный». Обыкновенно, кизячная сакля. Это тебе мнится, что каменный, потому — бабу увидел.

Но черкес сватался всю ночь, хвастал каменными домами, а на душе у него, видать, смутно было, и нужна была ему в ту ночь дружба. Позарез нужна. Подозвал к себе девочку, ксеньину дочку, снял кольцо с руки и отдал девочке, подарил. Серебряное, с насечкой.

И хоть смеялись свекровь и невестка над тем, как черкес забежал погреться и от живого чуть не увел жену: — «Ишь зять образовался, чудак.. Свой уж там шестнадцатый месяц..» «Он сегодня здесь, а завтра кто его знает где..» — но когда ушел черкес на рассвете, часто они его после вспоминали, вышучивали, обeim он им втайне по сердцу пришелся.

Однажды остановился в избе генерал. Поснимали фикусы со стола, накрыли его чистой скатертью и поставили свечи в медных литых подсвечниках. А на стене повесили большую карту, рядом с Николой, чернеющим в тусклом серебре. Лицо у генерала было, как казалось старухе, хоть и строгое, но крестьянское, простое. Он сидел на высокой постели, ногами не доставая до полу, беседовал с полковниками, и старухе запомнилось, как он сказал о немцах:

— Я их на левом фланге чутьем чую, как, знаете, по тяжести ведро узнаешь в колодце.. Пора начинать.

И как сказал генерал о ведре и колодце, так бабка перестала робеть, почему-то ясно представила себе крестьянскую мать этого генерала, и его самого в детстве, вроде Андрюшки, и сделался он, несмотря на его карты и подсвечники, таким же военным постояльцем, как и другие, что занимали до него избу каждый вечер.

Уехал генерал, и снова к ночи наполнилась изба. Одни стаскивали с плеч мешки, другие разматывали портянки, щелкали затвором: кто-то сладостно тер коленку: «Рана мучает, видать, к снегу.. Видать, потеплеет..» — привычно ему родниться через старую рану с тучами, что низко идут в небе, с ветром, что гонит снеговую тучу. Невзначай рассказывали о былых делах — кто с Брянского, кто из-под Ельни, кто из-под Невской Дубровки — сыновей бабкиных не встречали, но зато было столько трезвой хозяй-

ственной ненависти к немцам в их неторопливых словах, что старая все равно радовалась, кивала головой да подливала молока. А одного казака даже в лоб поцеловала, когда он, сверкая белками, стал рассказывать, как заскочил в немецкий окоп: «Двенадцать перерезал, — патрон не портил..»

— Сердешный ты мой, дома-то жена, поди, ждет..

В эту светлую минуту старухиной радости кто-то прислушался:

— Ставня хлопает.. Это ты, гвардии Мухамеудинов, ставню завязывал?

Но старуха, улыбаясь, оправдала казака:

— Если кто из военных, она всегда стучит, у нас там особые секреты..

— Это что, — вмешался пожилой красноармеец, обиравший винтовку. — Вот в Серафимовиче городе.. Там совсем пустой город после немца. Жителей угнал.. Не привязаны ставни во всем городе. Ночью ветер поднимается, хлопает во тьме, гремит, доски бормочут..

— Железо на крышах скрипит, — вкусно, будто с удовольствием, подтвердил сержант, который в углу жадно готовился к ночлегу, ползал по расстеленному полушубку и мял его кулаками, приговаривая: — Эх, и покатаюсь нынче властью..

Наступала ночь. Бормотали, всхрапывали, стонали. На дворе, на морозе, — сквозь ставни видно, — горел костер; это рачительный ездовой из татар не хотел войти в дом погреться, отойти от лошадей.

По ночам летели на бомбежку наши самолеты. Они всегда пролетали прямо над избой, тревожили лошадей во дворе. И по ночам те из бойцов, кто не спал, слышали, как вздыхала старуха и что-то похожее на молитву шептала вслед летчикам, чтобы ребята вернулись невредимые. Под утро и впрямь они возвращались: гудели моторы.

Так шло время. Новые волны идущих затопляли избу и двор, и не было никому откату: ни веселым, ни грустным, ни скупым, ни щедрым, ни русским, ни татарам. Только уж если полным-полно и укладывать негде, а еще стучатся — старуха не отворяет дверь:

— У нас военные.. Полно, милый человек. Поищи у соседей. Нам ничто не стоит, да сам не отдохнешь и людям не дашь.

И укладывались спать обогретые, сытые люди дружно и тесно, рядом на полу, а если кого знобило, того женщины клали на скамью, ближе к печке. Сами хозяйки, с девочкой, спали на одной кровати.

Разговор затихал не сразу.

— На войне без претензии, — говорил один, подвертывая шинель под плечо.

— На войне безо времени, известно, — спросомок глубокомысленно, но непонятно замечал другой.

А третьему, молодому, не хотелось спать, и он всю-то ночь задавал бабке вопросы, «на искренность», все чего-то допытывался:

— Мать, а мать... Ты скажи мне, мать..

— Чего тебе, сынок?..

— Ты скажи мне, мать.. ну, ночи не спать — это можно... Вон шоферы автобатовские рассказывали: трое суток совсем не спали. А тоже в мирное время были люди разборчивые и зарабатывали, верно, поболее моего... Мать, я о чем говорю: ну, ногу не покалечу... Ну, за рукой не постою, отдам...

Мысль его билась, как птица, он что-то хотел высказать и все допытывался у старой женщины в спящей избе:

— Мать, а мать, ты скажи мне, мать..

— Ну, чего еще, спи, сынок.

— Мать... Ну, а жизнь отдать?.. А?..

Как в присяге: не жалея самой жизни. Как же это, мать?.. А зачем же тогда...

И старуха насторожилась, приподнялась на локте, взгляделась в молодого бойца, тосковавшего на полу. Она не очень-то вглядывалась в лица, чтобы не увидеть похожих на тех, на своих, а тут взгляделась. Но, видно, его доверчивое, вопрошающее, разумное лицо в свете слабого ночника успокоило ее. Она прилегла и, не видя парня, выговаривала ему, как своим перед дорогой:

— Неужто же страх останвит, сынок?..

Не может того быть... А ты вот чем живи: как бы вред немцу нанести, убить его, подлюгу... Это посильнее страху. Тут и головушка станет ясная, легкая. И она подкажет, милый, где лечь, а где вско-чить и куда стрелять, и кого колоть... И не пропадешь ты, сынок..

— Верно, верно. И я так думал, — просветленно шептал сынок.

И снова, через минуту, словно напиток к прозрачному ключу, тянулся с полу к широкой кровати, шептал:

— Мать.. мать...

А под утро услышал боец рыдания и сперва не понял, а потом прислушался и догадался: это плакала молодая рядом со старухой, у самой стенки. И ему стало не по себе: верно, ей давно не пишут с фронта.

— Что? От мужа не слышно? — спросил он у старухи.

— Но та хмуро приказала ему:

— Спи... Утро скоро...

И тут стало так тихо в комнате, что Ксения перестала плакать, лежала, думала о многих вещах. Один из спящих скрипел зубами во сне, и этот звук был

странно похож на то, будто высоко-высоко над избой летят и курлычут гуси.

Утром молодой паренек встал вместе со всеми, умылся, что-то искал в бумажнике — денег, что ли? — нет, достал фотографию. Долго писал на ее обороте, потом, не глядя на Ксению, сказал бабке:

— Я вам карточку подарю, вот написал надпись: «На память мамаше».

— Спасибо, сынок, — поклонилась бабка.

А он, точно снеговой водой умылся, как тот рыжий тогда: уходил такой веселый, все шутки шутил, — сынок. И его фотография тоже оказалась в рамочке на стене рядом с карточками пяти сыновей.

Но однажды, в середине декабря, под Николу, никто не пришел ночевать, Хозяйки сидели у печной дверки, у огонька. И было в избе просторно, чисто и одиноко. Ставни подрагивали, хотя и хорошо привязанные: сильно били пушки.

Женщины помалкивали, понимали, что это от Дона началось большое наступление. Там они, милые, сейчас в огне купаются, кровью умыты: и генерал, и солдаты. И тот черес, у кого каменный дом, и узбек, что kota прогнал, и тот, что солону караулил, и тот молоденький, — сынок.. да и тот, что клеенку изрезал.. И наши там.. Или еще где..

Бабка часто выходила во двор, будто дожидаясь кого-то, стояла у калитки. Вся ночь светились белые холмы, шли машины, поливая фарами дорогу. Коли так, — пусть и в избе будет светло, и старуха растворила все ставни. Невестка ей не мешала, пусть делает, что хочет, не спится в такую ночь... В избе за-мерцало, посветлело от оружейных взблесков и белого облачка ракет.

Ночью мороз стал набирать силу. На стекле окна он вывел пятнадцать серебряных витков, старуха пересчитала их, сядя у окна. Давно уже не было так тихо и одиноко в избе, и печь дышала мерным теплом.

И снова, с чувством тревоги и радостного ожидания, старуха вышла во двор. Так высоко она стояла на косогоре, над опустевшей дорогой, у порога избы, что — казалось ей — крикни — и голос полетит по всей земле, до Кимр, до жены казаха, до каменного дома черкеса в горах, и отзовутся все женщины в домах и птицы в гнездах, и, может быть, станет слышно ее в тех неведанных, закоптелых и рябых сугробах, где воюют пятеро ее сыновей.

БАЛЛАДА О ЧЕТЫРЕХ ЗАЛОЖНИКАХ

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ



Их ведут по житной сторонке
Четырех
Под конвоем
Из дома.
Четырнадцать —
Старшей девчонке,
Три года —
Хлопцу меньшому.
Вместе с ними в подвал холодный
Гонят тетку, сестру Миная.
А Минай —
Это батька их родный,
Батька родный,
Мститель народный.
Пишут немцы о них в газетах,
О летучей
Бригаде могучей.
И на всех бывлых сельсоветах
Клеют новый
Приказ суровый.
Угрожают Минаю напасти,
Должен он покориться,
Явиться
И отдаться немецкой власти.
И висит тот приказ мерзавцев
На минаевой хате и клетки.
А не явится, — будут завтра
Перебиты
Заложники-дети.
Знать меньшому хлопчику надо:
— А зачем на окнах решетки?
А зачем сторожат нас солдаты?
А ты скоро нас вызволишь, тетка?
Где-то батька?
Скоро ль придет он? —
Скорбно звезды ему лучатся.
— Спи, засни! —
Утешает тетка
В ожидании смертного часа.
Рассказала всю правду детям,
Лишь малыш задремал к рассвету.
Только сын Миная трехлетний
Ничего не узнал об этом.
Под остройной

Тревожной
Тишью
Снится хата меньшому сыну.
Тут и мокрые стены,
И мыши..
— Тетка,
Батька забыл нас.. —
Покинул?
— Спи, засни! —
Утешает тетка
В ожидании смертного часа.
— Нет, наверное, скоро придет он,
Слышишь, птицы в окно стучатся.
Малышу-то вы не говорите, —
Учит тетка
Детишек кроющих.
Снится мальчику солнце в жите,
Жаркий,
Тихий
Шопот гречихи.
Ночь проходит,
Солнце восходит,
Вот запели жаворонки в поле.
Их выводят солдаты
Куда-то.
Хлопчик рад и лучам,
И воле.
Их солдат
К стене приставляет
И в льняные головы
Целит.
Начинает
С сына Миная.
Выстрел.
Падает хлопчик трехлетний.
Вновь солдат
Автомат поднимает.
На стене — заложников тени.
Вот и всё.
Перед батькой Минаем
Станьте все отцы
На колени!

Перевел с белорусского
НИКОЛАЙ БЕРЕНДГОФ.

ЗЕЛЕНЫЙ САД

Повесть

АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ



На заветное и цены нет.

Русская поговорка.

I

У городьбы, отделяющей дворик от улицы, худенькая пианистка ждала Силу Саввича и Леонида. Улица была крайняя к обрыву, за обрывом — река, бунты леса на песке, речной вокзал, крашенный под лазурь, тяжелые лодки на приколе, а на левом берегу поёмные луга с могучей травой — лошади по самое брюхо.

Не день и не сумерки, тишина. Вековая липа, раскинув поникшие ветви, дремлет посреди дворика. Косой свет солнца лег на траву. Где-то у реки бречит цыганская гитарка.

Пианистка взбила волосы и, прижавшись грудью к тесине, беспокойно посмотрела вдоль улицы. После привального гудка прошло не меньше часу, а Силы Саввича и Леонида всё нет. Это уже ни на что не похоже! Она была чужая им, но верила, что они помогут ей уцелеть в этой жестокой, безжалостной жизни. Всё разбито, всё распалось, всё раздавлено. «Колесница ужасов!» — говорила она Кате, прижимая к щеке руки с мучительно сплетенными пальцами. «Ничего не колесница, — строго отвечала девочка, — а просто война, и нужно много работать».

Разве пианистка жила? Она коченела. Днем куталась в кавказский белый платок, ночью бредила. Это было пыткой! Томила подушка, мучила сбитая простыня. В сенничке до рассвета шумел и царпалас неизвестный жучок. У рыбацкого поселка Тиходонье убит Михаил, об этом лучше не думать. Семейное гнездо в Ленинграде, на Кировной, разорено,

окна — настезь, стекла вылетели из рам, и маленький розовый рояль, в котором жила ее музыка, пошел, вероятно, на дрова соседям. Об этом лучше не думать...

А как забыть? Пожалуй, можно сказать себе: этого не изменишь, не поправишь, это уже прошло и не воротится. Нужно жить дальше, ради Кати. Прошла смерть Михаила, ночи без забытья, когда — хоть головой об стенку; прошла эвакуация через штормующую Ладогу и потом по черной октябрьской Шексне вдоль берегов, покрытых первым снегом. А памяти не закажешь. Как враг и как мучитель, она сторожит минуты слабости: а это помнишь? помнишь? Последнее свиданье с Михаилом, запах его шинели под дождем, запах табака на его губах и совсем новое объятье: не мужа, а друга и брата. Или: ночь, ледяной ветер, костры на барже, и вокруг них табунки иззябших детей с глазами старичков. И шорох ломких льдин за бортом. Проклятые немцы!

Пианистка повернулась к улице спиной и пошла по дворнику, делая короткие шаги. Под липой шумел медный самоварчик. Сквозь щели изношенной трубы видно, как летит гудящее пламя. Голубой дым валил из трубы и путался в листе липы.

«Вот, опять весь выкипит, — подумала пианистка, — нужно подливать, а я и не заметила.»

Она безтолку постояла у самовара, безтолку поправила трубу. Как постарели ее руки! Ей захотелось уйти в комнату, которую они снимали у Силы Саввича, сесть на постель и уговорить себя не волноваться по пустякам, но Кати не было дома, и она испугалась, что раскиснет, если будет сидеть безо всякого дела.

А то можно бы пройти по всем трём маленьким комнатам Садовых: в них тишина и мужской неуют, нелюдима мебель. Здесь живет Сила Саввич, человек большой молчаливой души, знатный капитан, о котором на поселке говорят: наш Сила Саввич, или наш капитан, или просто наш. Можно бы пройти по комнатам, пока нашего нет, постоять у стены, завешанной почетными грамотами и приветствиями ко дню юбилея, и почувствовать, как тревога котеночком сворачивается в душе. Но на дверях у Силы Саввича большой замок, и неизвестно, куда Катя спрятала ключ после уборки.

Пианистка обошла дворик. Из будки вылез, гремя цепью, Штурман, без удержу заросший шерстью. Сквозь лохмы, покрывающие его морду, поблескивали горячие глаза. Остановившись подальше, она зажала юбку меж узких коленок, присела на корточки.

Штурман, свалив голову набок, поглядел на нее.

Пианистка сказала:

— Штурман, милый Штурман, это же я, Лиза, ты не узнал меня? Ты все еще ко мне не привык?

Штурман проследил за движением ее руки, упавшей вдоль бедра.

«Прошло полтора часа после гудка, — тревожно подумала Лиза, — а они все не идут. Они были далеко, у самого Сталинграда они в этот раз были, а там бомбят, все могло случиться с ними».

Лучше бы она не думала этого, сердце ее защемило.

Штурман зевнул и, сходя, полез в будку, на теплое сено. Пианистка села на траву, вытянув длинные ноги в бледно-коричневых чулках. На правой туфле прохудился носок, надо бы поставить латку. «Я подожду, когда вернется Катя, — сказала она себе, — и тогда сама пойду на пристань, спрошу, где же капитан Садовый и где Леонид?»

Эти мысли вернули ей равновесие. С войною люди перестали принадлежать самим себе и своим привычкам. Вполне возможно, что Сила Саввич и Леонид задержались на выгрузке; быть может, на «Суворове» авария. Теперь они, наверное, уже поднимаются в гору по высокой деревянной лестнице. Вот они прошли по набережной под липами, обогнули клуб водников с расписанной речными пейзажами стеной и подходят к почте, где оглушительно хлопает дверь на блоке. Идут они, как всегда, гуськом: впереди Леонид, а сзади капитан Сила Саввич. Капитан посасывает трубку, какие теперь вовсе вывелись: с круглой фарфоровой чашечкой и с мундштуком из гнутого флексибла. В поселке все знают этот неспешный шаг, это мерное покачиванье плечами и угрюмое побуркиванье в усы. Встречая знакомых, он подносит выпрям-

ленные и удивительно маленькие при его дородстве пальцы к козырьку форменной фуражки. Трубка то сипит, то рокошет. Медовый дым облаком взлетает к его лицу и, обогнув уши, тянется по ветру за спиной.

А впереди шагает Леонид, худой и длинноногий.

Летом на капитане белый китель, в свежую погоду суконная куртка, ранней весной или глухой осенью, когда в трубах волчий вой ветра и на реке шибкая волна, — на капитане кожаное пальто, такое же старое, как он сам, и такое же, как он, несношенное. Лицо большое и неподвижное. Белокурая бородка и усы содержатся строго. Губы угрюмые, неразговорчивые; улыбка редко трогает их. Когда капитану взбредает на ум пошутить, то это одно мученье. Это похоже на то, как если бы всеми уважаемый старик на общем собрании закрывал петушком или что-нибудь в этом роде. Такое это производит смуглое впечатление.

«Я малодушная, — думала Лиза, осуждая себя и глядя на то, как Штурман клубком сворачивается на своем сене, — и я погибну, если Леонид не запасет к зиме дров и если поселковый совет не даст лимита на электричество. Это не жизнь, а Голгофа мучений».

Штурман, в своем животном эгоизме, совсем не обращал внимания на нее. Он верил в прочность отношений между человеком и собакой, в свой теплый сенник, в крышу над головой, в собачий кулеш, который в надлежащий час люди поставят перед ним. Такая милая собака. Если чужой человек полезет через забор, то нужно тяпать его за ногу, вот и вся мудрость жизни.

Лиза вздохнула, провела рукою по глазам. Ей вдруг стало спокойно, и она подумала, что Сила Саввич и Леонид сейчас, конечно, уже прошли мимо почты и теперь содружными шагами выходят на Овражную улицу. Она легко падала духом, но легко и утешалась. Вдруг почувствовал тоску в кончиках пальцев: если бы положить их на костяшки клавиш и минутку подождать с выпрямленной спиной и расслабленными мускулами рук, пока что-то изнутри не толкнет, не бросит в музыку, как в пропасть.

Она зажмурилась. Так ярко предстала она себе летучий блеск клавиш и свете хмурого ленинградского дня.

II

На столбе у ворот наклеена бумажка. Ее сушит солнце и секут дожди. Рукою Лизы выведено круглыми буквами: «Пианистка из Ленинграда», а внизу помельче: дает уроки музыки, аккомпанирует желающим (слово желающим зачеркнуто), может выступать самостоятельно

(слово самостоятельно тоже зачеркнуто) в концертах». Пока по этой записке никто не явился, но все-таки было утешение, что она не сидит сложа руки.

Катя и Леонид остановились у ворот, под этой запиской. Говорили вполголоса, торопясь докончить очень горячий разговор. Повернув голову к воротам и жвав пальцами виски, голубенькие от малокровия, Лиза слушала, но слов разобрать не могла.

Один раз Леонид сказал громко:

— Это я тебе говорю под честным словом. Дядя, мне кажется, так себя замучил, что глядеть жалко.

— Это не может быть. Куда он пошел? — спросила Катя

— Он сказал, что в бассейнный комитет.

— Не может быть, чтобы наш Сила Саввич.. А ты почему не пошел с ним?

— Не нужно. Я потом пойду на парокход.

Голоса опять слились в один невнятный звук и понеслись, выронив на ходу два-три слова. Эти слова были: «прилетел Башлыков из Наркомречфлота». Потом голоса опять понеслись, и опять выпали слова: «на нашем плесе тихо, а у Сталинграда..»

«Вот, вот, — подумала Лиза с обидой, — остановились на улице и договаривают, чтобы я не слышала. Катя не понимает! Скрытность хуже.. Уж лучше бы мне все знать до конца».

Она смотрела на калитку широко раскрытыми светлыми глазами, уже вся во власти темных предчувствий. Крошечный паучок полз по ее открытой шее, и она не смахивала его, хоть боялась пауков до обморока. Сила Саввич не вернулся, дети говорят за воротами, прчась от нее, — опять подул черный ветер несчастья.

Лиза пошла к воротам, положив ладони на грудь пониже заострившихся ключиц. Ее обдало дымом из самоварной трубы, она закашлялась. Труба с грохотом покатила под ноги.

Тоненькая рука Кати просунулась в щель забора. Гибкие пальцы нащупали задвижку. Девочке не время бы еще возвращаться из ремесленного училища. Вероятно, Леонид зашел за ней по дороге с пристани, и это тоже был знак несчастья.

Леонид ладонью толкнул калитку; они вошли вместе, соприкасаясь плечами. Катя улыбнулась матери, а Леонид медленно снял форменную фуражку и поклонился одной головой, не сгибая спины. Она оглядела их испытующе. Неужели они, как взрослые, умели лгать улыбками, походкой, глазами, жестами? С ноги Кати спустился белый носок, нагнувшись, она подтянула его. Она казалась веселой.

— Дети, дети, что случилось? — крик-

нула Лиза, с силой прижимая ладони к груди.

— Во-первых, ничего не случилось, — спокойно сказала Катя, глядя на мать такими же светлыми, как у нее, «хрустальными» глазами, — а, во-вторых, мы давно не дети, мама. Мы оба работаем.

Леонид поднял с травы трубу и поставил ее на самовар.

— Дядя задержался в бассейнном комитете, Елизавета Александровна, — сказал он ровным и не по-юношески суховатым голосом. — Если вас беспокоит отсутствие дяди, то это так, как я сейчас сказал. Самовар нужно долить, а то он распаяется.

Он положил фуражку на лавочку под липой и пошел в сени за водой, широко ступая своими длинными ногами. Катя подошла к матери, вытянула губы. Лицо у нее попрежнему было веселое.

— Ты ничего от меня не скрываешь, Катя? — спросила Лиза, глядя на губы дочери.

— Насчет Силы Саввича? Он жив и здоров.

Она опять вытянула губы, и Лиза поцеловала их.

— Ну, вот я и спокойна. Правда, девочка? А то я весь день одна. Хожу, как пьяная от мыслей. Почему ты сегодня так рано? Боже мой, а я не успела приготовить тебе горячей воды. И этот самовар, он распаялся бы, если бы не Леонид. Что бы мы сказали Силе Саввичу?

Катя опять усмехнулась правым углом рта (левый остался неподвижным, это у нее от Михаила) и пошла в дом. Лиза за нею. Она сразу почувствовала облегчение, хотя на место недоверия к Кате явилось чувство вины перед ней: девочка работает весь день, можно ли подозревать ее в скрытности? Катя никогда не лгала — даже в пустяках — тоже черта Михаила.

В темных сенях они столкнулись с Силой Леонидом, — нес ковш с водой. Он вежливо посторонился. Лиза улыбнулась ему. Он взглянул на нее своими медленными разумными глазами. Уж какой-то слишком правильный и образцовый, недостает только трубки, бороды и глухого бурканья в усы, и вот, пожалуйста, — второй Сила Саввич.

— Поспееет самовар, вы пейте, прошу вас, — вежливо сказал Леонид, — а я не буду, у меня дело.

— Какой занятой человек, — засмеялась Лиза, — разве помощники капитана пьют исключительно ром? Ром пьют только в морских романах, Леонид, а в жизни — чай.

Катя легонько повела плечом.

— Не приставай к нему, мама. У него

был очень тяжелый рейс. Под Сталинградом их бомбили немцы.

«Ну, как хотите», — подумала Лиза, слыша только «не приставай» и ничего не слыша о немцах. Теперь вселось не покидала ее. Вслед за Катей она узким коридором прошла в их веселую комнату, тесненькую, с полосатыми обоями на стенах, с кружевной занавеской на окне. Сила Саввич перенес к ним свой славянский шкаф с темно-зеленым рубчатый стеклом в дверце, и в нем они вешали те немногие платья, что сумели захватить с собой в лихорадке эвакуации. Эти платья висели строго и чисто, источая вянувший запах духов, как напоминание о том, что еще придут дни мира и счастья. Фибровый сундук в углу, на нем кожаный чемоданчик — и это всё. А в комнате повернуться трудно.

Лиза ахнула, всплеснула руками, схватила синий тазик и побежала за кипятком.

Когда она вернулась, Катя уже сняла рабоче платье, была в трусиках и рубашке, держала мыло в руках. Ее хрупкие плечи были худы, но уже женственны. Лиза засмеялась и поцеловала Катю в плечо.

Потом, сбросив туфли, она с ногами забралась на кровать и, поджав ноги, стала смотреть на то, как Катя, спустив рубашку, полощется в тазике и, растирая ладонями тело, надувает губы.

— Катя, серьезно, я никогда не приывкну к мысли, что ты на производстве, — сказала Лиза легким голосом, который бывал у нее в минуты душевной тишины. — Скажи мне честно, ты очень устаешь?

— Немножко. С каждым днем все меньше.

— И тебя это интересует? Ну да, ты еще девочка, в твоём возрасте меня интересовало всё, что ново.

Катя мохнатым полотенцем вытирала себе плечи и грудь. Пряжка волос прилипла к ее мокрому, немножко большому лбу. Она внимательно помотрела на мать.

— Как ты говоришь, мама! Дело не только в том, что меня интересует, а в том, что сейчас нужно. Ты читала газету? Я принесла. В Севастополе одна женщина, Опалова, убила одиннадцать немцев. Она снайпер. Ей двадцать лет. Лежала среди камней, среди скал, и убила одиннадцать немцев. Она родня нашей девочке, Клаше Машинной.

Сидела за столом, раскинув локти, строгая и замкнутая в себе.

— Немцы убивают детей. Маленьких детей и дряхлых стариков. Я почитаю тебе, хочешь?

— Ты мне лучше своими словами расскажи, девочка. Я не могу. Это бездонный колодец страданий.

— Зачем ты говоришь: бездонный колодец? Лучше просто сказать: большое горе.

— Хорошо, я буду говорить: большое горе.

— Потом ты еще говоришь: черный ветер несчастья. Ведь так в жизни не говорят. Ты все это выдумываешь.

— Хорошо, девочка.

— О чем ты думаешь?

Лиза закрыла глаза. О чем она думала? Да вот: войдя в комнату, Катя украдкой бросила взгляд на стол: нет ли письма? Да, она ждет. Втайне ей кажется, что смерть Михаила — ошибка, которую можно поправить. Она стала скрытной. Но ничего не поправишь, ничего! Так о чем же думала Лиза? За чем спрашивать! Да, Лиза думала о Михаиле, всегда об одном и том же, всегда о нем, до самого гроба. Но пусть Катя не тревожится. Теперь это уже не так горячо, как раньше, и можно терпеть.

— О папе можно? — спросила Лиза, поежилась, погладила ладонями локти.

— Лучше не нужно.

— Нужно, Катя. Давай поговорим. Я не всё в себе понимаю. Как бы мне убить в себе это беспокойство, ведь дальше нельзя так! Тебя нет дома — я вся в страхе, ничего не могу делать, а если делаю — выходит еще хуже. Вздумала протереть стекло от лампы, а оно хрустнуло. Сила Саввич не пришел в свой час, а мне уже кажется, что он умер. Почему это так? Ведь Сила Саввич чужой мне человек, только очень добрый. И вот я поняла. В каждом, кого я поближе знаю, в каждом есть что-то от нашего папы. Ты понимаешь меня? Ну, какая-то золотинка его сердца, может быть, какая-нибудь тень его мысли. Ты понимаешь меня, девочка?

— Наверное, да, — задумчиво сказала Катя, — но все-таки лучше не думать о том, чего нельзя поправить.

«Все они такие теперь, дети», — подумала Лиза, и, закрыв глаза, прислонясь затылком к коврику, висящему на стене, стала думать. Она вспомнила, какое охватило ее отчаяние, когда однажды, в апреле, Катя ворвалась в дом с какими-то девчонками и объявила ей, что поступила в ремесленное училище. Девчонки были все в теплых платках, в валенках, все курносые, с мальчишескими голосами и страх какие хозяйственные. Они долго веником обмахивали с валенок снег, потом горячими глазами, так и сыплющими искры, оглядели комнату: чисто ли здесь живут и моют ли полы. Одна девчонка, постарше, с капризной губой, увидела на столе недомытую чашку, схватила и стала мыть ее — так ловко, что локти у нее ходили ходуном. А все другие рядышком расселись на

сундуке, как галки на жерди, и сидели, сверкая глазами, пока Катя горячо говорила Лизе о войне, о немецких зверствах и о том, что она должна идти в ремесленное училище.

От этих слов, неожиданно горячих для Кати, у Лизы закружилась голова, ей показалось, что у нее отнимают последнее.

Она не дослушала Кати, сказала: «Я сейчас, девочки», вышла на прихожую и, уткнувшись лицом в тулуп Леонида, всякающийся на гвозде. Потом, сама не зная зачем, надела этот тулуп и, простоволодая, вышла на улицу — пошла все прямо, прямо, вышла в поле, по весенней черно-талой дороге добрела до леса.

День был ясный, капельный, ветерок тугой и свежий. Солнце просверлило в сугробах косые пещерки. В овражке, уже на половину лысом, ярко-малиновые лозы вербы покачивали серыми барашками. Лиза вошла в лес и села на пенёк, весь вздутый от влаги. Сильно пахло смолой. И по всему лесу стучали себе, постукивали трудолюбивые дятлы и кто-то трубил без перерыва — немножко резко, немножко сладко.

Сидя здесь, на пенёчке, Лиза отдалась горю. Она думала, что Катя уже попала под страшные жернова войны. А в лесу все стучали дятлы, и еще цокали развзные белки, слушая, как огонь жизни бежит по их жилкам, и кто-то все трубил без перерыва.

«Желна трубит», — вспомнилось Лизе. Холод сковал ее голые руки и ознобом побегал по спине. Она почувствовала себя девочкой, дочкой лесничего, как тогда, в детстве, председательницей всех лесных птиц, насекомых и зверушек. Но тогда всё у ней было впереди, и все лесные тропы вели вперед: к людям, к музыке, к тому единственному человеку, который оказался Михаилом. А что теперь? Над чем теперь трубит желна?

Она вернулась домой покорная, смятая, решившись во всем подчиниться Кате. В этот день она убила в себе последнее заблуждение; всё это были жалкие иллюзии; в их осиротевшей семье остались двое: она и Катя, и Катя была головой семьи — головой, руками, волей, была добытчицей, судьей и опорой.

— Мама, ты спишь? — спросила Катя.

Лиза не шелохнулась. Спала, прислонясь затылком к стене — неслышно, почти без дыхания. Верхняя губа ее была чуть вздернута.

Катя сняла туфли, чтобы не стучать по полу, надела фартук и пошла на кухню зажечь керосинку — стряпать.

III

«Да, так прошибся, что дальше некуда», — признался, наконец, самому себе

Сила Саввич и сел на песок у самой волны, лениво треплющей косматую водоросль. Широкое тело его, как только он признался себе в этом, сразу обмякло, словно потеряло всякий упор. И глянул ему прямо в глаза великий стыд, такой жаркий и терпкий, что он почувствовал, как горят его руки, лицо, крутая шея.

После того, как в пристаньской тесной конторке он расписался в ведомости и, следуя раз заведенному порядку, попросился с командой; после того, как он сказал Леониду: «Ступай домой один, мне еще нужно в бассейнный комитет», — прошли многие часы: вон уже солнце падает за реку и вода идет тихо, почуя безветренную ночь.

На что ушли эти часы? Ни в какой бассейнный комитет он не пошел, а шатался, посасывая трубку, нивесть где, сам не знал, куда несет ноги. Увидя камешек, присаживался на корточки и выколачивал о него трубку — сыпался непрогоревший табак вперемежку с искрами. Опять набивал трубку, уминая табак большим пальцем, закуривал — брёл нивесть куда, как чумной. Низко прошел над головой самолет, а он не заметил на его крыльях вражьей свастики. Запомнил какой-то обрыв, пласты красной глины, оголенные корни березы, прилепившейся на самом краю. Потом стоял у самой реки и глядел, как в песчаных заливах ходят мальки. И все вспоминал слова Леонида на «Суворове»: «Команда решила это дело забыть, дядя. Ребята знают тебе настоящую цену. Точно. Значит, будет всё, как было». Вспоминал и жмурился, глотал дым.

И то, что он принял унизительную жалость команды, было второй его ошибкой за этот рейс.

«Так прошибся, — еще раз сказал себе Сила Саввич, — что уж не знаю, как достойно жить дальше буду».

Посидел ещё минут десять, пересыпая из руки в руку горячий песок, потер ладонью о ладонь, грузно поднялся на ноги и здесь увидел, что зашел далеко, к Якову ручью, километров за шесть от поселка. Вот что значит помрачение разума! Здесь горы, покрытые лесом, отходили от реки, между рекой и горами лежали густо-зеленые болота с голубыми островками незабудок, а неглубоким ложком бежал с гор ручей, издавна прозванный Яковым ручьём — по имени бакенщика Якова, который сторожил реку на этом перекате. Приземистая землянка его торчала на берегу. До него, лет десять назад, бакенщиком был старик Назарет, и ручей тогда звался Назаретовым.

Сила Саввич не то, чтобы не любил Якова, а не понимал его: это был шумный, всполошливый, голосистый, хоть и

немногословный мужчина неизвестного возраста, но скорее молодой, нежели старый — изобличитель всякой кривды и неустройства в себе самом, а работник — золото. Жил он всегда одиноко, неразборчиво ел, незаботливо одевался, деньги дедал тоже неизвестно куда — паялы меж его золотых на работу пальцев. Такие характеры в России не редки. О людях этих говорят: «без царя в голове».

Сначала он был грузчиком, работал лучше всех, стали выдвигать, выдвинули в бригадыры. Яков Охахов сказал: «Не могу в бригадыры, я мало подкованный». И ушел в матросы на буксир. Здесь тоже был первый, стали выдвигать. Охахов опять усомнился в себе, потомился дня два и ушел бакенщиком, и бакенщиком стал лучшим на плесе.

На перекате Якова пароходы никогда не садились на мель, проходили, как по морской глыби. Но встречаться с ним Сила Саввич не любил: он любил порядок устойчивый, проросший всю жизнь человека насквозь. А что Яков Охахов? Яков Охахов был какой-то недоделанный.

Возвращаясь из своей беспамятной прогулки, Сила Саввич, по этому своему чувству, хотел было пройти стороной, но в стороне лежало болото, а обходных тропок он не знал.

Пришлось итти прямо на землянку. «И когда я мимо нее прошел, убей бог, не помню!» — в досаде подумал Сила Саввич. Подходя, он увидел на лавочке, сколоченной из узкой тесинки, Евфросинью, мать Якова, древнюю, иссохшую старушку — зачем-то приплелась из посёлка — и возле нее девочку, одетую очень чисто и независимую до того, что она всё время надувала щеки и говорила: «фу-фу!» Девочка эта была соседка Евфросиньи, ученица из ремесленного, Клаша Машина. Он её знал, она часто бывала у Кати.

Сила Саввич хотел было поклониться издали и пройти мимо, но Евфросинья поманила его иссохшей рукой, сложенной в горстку.

Теперь пройти было неудобно.

Сила Саввич остановился против лавочки, почесал лоб мундштуком трубки. Евфросинью он тоже знал хорошо — она жила на Овражной, в домике об одно окошко, с неогороженным, заросшим конотопкой двором, смиренная, пугливая, — сверчка боится.

Взглянув на Силу Саввича полуслепыми глазами и, видно, не узнавая его, она сказала горьким голосом:

— Что теперь делать? Что, положим, делать?

Голова её тряслась от испуга.

— А что требуется делать? — спросил Сила Саввич, стараясь уйти от своих размышлений и вернуться к общей жизни.

— Гибнет.

— Да что ты!

— Пропадает. Сам с собой разговаривает, и на разные голоса.

— Яков?

— Яков, — нараспев проговорила Евфросинья, — Яков Николаич, сынок, худо мое.

Независимая девочка надула губы. Потом покосилась на Евфросинью и проговорила сорочьим голосом:

— Я вам говорю, Сила Саввич: трудовой дезертир. Перекат бросил на два часа. И собаку отвязал, неизвестно, где собака носится, а кто фонари на перекате зажигать будет?

— Какой он дезертир? — удивилась Евфросинья, — несчастный он, без бабы, без дружка, ошельник, а еще в полном соку. Ему смеяться, веселиться надо, а всего и общества у него — щука в реке да собака на чеши.

Старуха сильнее затрясла головой:

— Сам с собой говорит, а раньше этого не делал. Ты, что ли, зашла бы к нему вот с Силой Саввичем с нашим, облегчила бы меня.

Сила Саввич перевел глаза на землянку. Она была вырыта еще Назаретом, стариком неряшливым и диким, а Яков, при всей растрепанности своей, любил чистоту: при нем глиняный настил не пылил на ветру, появилась кирпичная труба, окошко было мытое и в нем, как в омуте, плыли пенные облака. Возле перевернутой вверх дном, недавно крашенной лодки — кучка золы и углей, над ней тренога из колеев, на проволоке поворачивает нос по ветру начищенный кирпичом чайник.

Ничто не вызывало здесь беспокойства. Но Клаша Машина поежилась, робко поглядела на Силу Саввича, Сила Саввич спросил, зачем они сидят тут. Старуха заплакала с легкостью и без всякого звука, как плачут старые люди.

Рассказ девочки был стремительный и не во всем понятный: ей было интересно рассказывать о Якове, а вместо этого нужно было, как думала она, показывать осуждение ему.

Закурив трубку, Сила Саввич из этого рассказа понял следующее.

Вчера утром, по повестке, имея ложку за голенищем и подмышкой две сменки белья, Яков Охахов ходил в военный комиссариат; к этому дню он готовился давно и так уравновесил свои чувства, что уже заранее видел себя русским солдатом в пороховом дыму и огне, и ни в каком другом звании не мог себя больше представить. Но в военном комиссариате была медицинская комиссия; врачи, трубка, в которую слушают грудь, и разные расспросы. У Якова обнаружили порок сердца, сняли с учета.

Яков вышел на крыльцо, на солнышко, и вдруг побледнел, ему показалось, что русская земля отказалась носить его. Слово «порок» потрясло его до сокровенных глубин души.

Теперь у него было такое чувство, будто в своей груди, тайно от всех людей, он носил след чего-то нехорошо и постыдно совершенного. А врач послушал в трубку — и обнаружил след. Якову захотелось воротиться в светлую комнату, где сидели белые и серьезные врачи, и сказать им, что у них трубка засорилась, слушает неверно, что он чистый и честный советский солдат и душу свою положит за реку, вспоившую и вскормившую его. Но он побоялся стыда, которым уже был полон до края, — и не воротился.

У крыльца молчаливой кучкой стояли женщины и девушки, пришедшие проводить призванных. Глаза их были полны гордой печали. Он почувствовал, что женщины чисты в своем сердце и хороши сейчас — как хороши и чисты сердцем бывают люди в самые высокие минуты своей жизни. Тогда он рывком надвинул на глаза расшлепанную свою кепку и прошел мимо них торопливо, чтобы они не успели заметить в нем порока и омрачить себя в своей сердечной гордости.

И впервые в жизни он усомнился, сумеет ли жить в таком неслыханном отвержении.

Тут он вспомнил, что в тяжелые минуты его отец, шкипер на барже, и дед, бурлак-лямошник, покупали козущку водки. Но один запах водки вызывал в нем тоску и отвращение: пить он не любил, не умел и не любил пьяниц.

Назавтра нужно было ворочаться на пост — в землянку на перекате, к баке-нам и обстановочному полосатому столбу. Ночевать Яков пошел на свою зимнюю квартиру, в чистенький домик матери. Всю ночь он ворочался и вздыхал так шумно, что Евфросинья не сомкнула глаз: сидела, затаяся, на постели, слушала вздохи сына и томилась его томлени-ем, непонятным ей.

Утром Яков сказал, что жизнь его не задалась. Взял кепку, страдающими глазами посмотрел на мать и ушел, не простившись, — словно без памяти. Вид у него был страшный, больной.

У Евфросиньи затряслись все жилки в теле, она кликнула Клашу Машину через забор — было воскресенье, Клаша Машина читала учебник. Обе они поговорили с часок и решили идти на перекат, к Якову.

IV

Так было на деле, но из бойкого рассказа Клаши Машинной Сила Саввич понял только то, что Яков захворал или тронулся в уме.

Он строго оглядел оживленное лицо Клаши Машинной, потом горестное лицо Евфросиньи с провалившимся ртом.

— Да ты не плачь, — снисходительно сказала Клаша Машина Евфросинье, — мы с товарищем Садовым сейчас в окошко на него поглядим.

Сила Саввич сделал руку козырьком, прислонил ее к стеклу и глянул во внутрь землянки.

Красное солнце заката, пробиваясь в дверные щели, наполняло середину землянки печальным полосатым светом, оставляя углы в темноте. Яков в разорванной по вороту белой рубашке и в штанах, вымазанных в глине, сидел за столом. Кулаки свои, тесно сжатые, держал на коленях. Лицо бледное, зубы стиснуты.

Не отводя пристальных глаз от угла, Яков сказал:

— Меня волчьей слезой не купишь! Насквозь волка вижу!

Сила Саввич отвернулся от окна, сказал с тревогой:

— Похоже, и вправду захворал человек.

Девчонка в страхе подняла глаза на Силу Саввича.

— Захворал, как же! — сказала она уже не совсем уверенно. — Разве так хворают? Когда хворают, то в постели лежат. Или в больницу идут, или в аптеку. Просто чудит.

А у самой женская тревога так и билась в глазах.

— Ой, захворал, захвораа, — протянула Евфросинья.

— А ты ловкая с больными? — спросила Клаша, чуть не плача. — С ними осторожно надо, ласково надо.

— Так и сделаю, — с готовностью отзывалась Евфросинья, раскрыв рот, мокрый от слез.

Девчонка сказала:

— У меня отец много болел. Я с ними умею.

Из землянки опять послышался голос Якова. Сила Саввич глянул в окно: Яков стоял спиной к двери, широко расставив ноги.

— Чтой-то у него в руке, товарищ Садовый, чтой-то у него в руке? — дурным голосом забормотала Клаша Машина, смаху села на землю и воткнула себе в уши остренькие пальцы.

Сила Саввич решительно шагнул к двери, дернул за скобу и закричал с порога:

— Не балуй, Яков, брось револьвер!

V

Но тут они увидели: в углу, на дальнем конце топчана сидит против Якова грузный молодой мужчина — в одном белье, в отливающей стеклянным блеском

вязаной фуфайке и таких же снежных подштанниках.

Завидя в дверях Силу Саввича, молодой человек порывисто, под пистолетом Якова, встал у топчана и вытянул руки. Розовая щека его дернулась. Сила Саввич заметил синяк, разлившийся у него под ухом.

Яков опустил пистолет, левой рукой поднял опрокинутую табуретку и поставил перед Силой Саввичем.

— Садись, — сказал он с облегчением. — У меня, видишь, немец поймался.

Сила Саввич, помолчав и поглядев на немца, сел, положил погасшую трубку на стол.

— Откуда? — спросил он и потёр руки.

— С неба, вот откуда, — сказал Яков.

Немец пошевелил губами, потом сказал что-то немецкими словами и кончиками пальцев потрогал свой синяк.

— Жалуетя на меня, — сказал Яков строго. — Мы, конечно, здесь немного схлестнулись, да я его переспорил. Вот пистолет у него взял.

У порожка, заслонив свет, встали Евфросинья и Клаша Машина. Девчонка села на пол, надменными глазами стала глядеть на немца, тот покосился на нее, сделал обиженное лицо, потом поглядев на Силу Саввича и угодливо улынулся.

Сила Саввич махнул ему рукой, чтобы садился на топчан. Немец, вскинув жирными плечами, сел на самый краешек доски. Но Яков сделал ему знак, чтобы встал. Немец, также вскинув плечами, встал.

— Пусть стоит по формс, собачий сын, — сказал Яков, — если б я мог по-немецки, я б его допросил, да пулю в лоб, да в реку, да камень к ногам, чтоб не всплыл на фарватере.

— Ты хорошо говоришь, сынок, — прошамкала Евфросинья от порога, — сколько горя от них. Что вздумали? С неба бомбы на мирных жителей бросать! Небо вещь чистая, с неба то солнышко, то дождик — всё для жизни человека. И то сказать: в небе птицы поют. Вот мы отойдем подале, а ты его застрели.

— Погоди, погоди, Евфросинья, — Сила Саввич досадливо поднял руку, и повернулся к Якову, — рассказывай, Яков. Откуда он появился?

— Этого я не знаю. Из леса, что ли. Когда я из города шел, здесь самолет пролетел. Потом слышу — стреляют. За лесом там у нас часть стоит. Ну, вот сижу. А потом слышу — идет. Я на волю, а он уж тут, тот толстый, в одном исподнем. Я ему: «Кто ты?» А он ничего. Взял меня за рубашку, показывает, чтобы я дал ему рубашку и штаны. Свое форменное, значит, в лесу скинул и хочет перерядиться в советское. Я для виду задрожал и повел его в землянку. Тут я ему дал в морду, он мне, свалились на пол. Он

здоровый, на шее у него ладонка, в ладонке пистолет. Я отнял у него пистолет. И думаю: если в город его вести, то непременно стеганет в сторону, придется убить без допроса. Всё, словно бы..

Немец, касаясь большими пальцами ляжек, покачивал головой сверху вниз. Сила Саввич оглядел его широкую грудь, его мясистое лицо. Все тело немца было налито легким жирком. Но в здоровье его было что-то непристойное.

Сила Саввич в первый раз видел врага, и то, как он представлял его до сих пор, совсем не вязалось с этим немцем. Неужто такой вот мальчишка довел его до позора? Этого невозможно было примирить с тем, как Сила Саввич привык о себе думать.

В это время немец поднял на него глаза и спросил:

— Вас золь их ецт махен?

— Ду есть швайн! — пропищала от порога Клаша Машина.

Яков шагнул к порогу, схватил девчонку за руку!

— Умеешь по-немецки?

Он потянул ее к немцу, она вся затопилась румянцем и повторяла дрожа:

— Ду есть швайн! Ду есть швайн!

Немец смотрел на нее, как слабонервная женщина на мышь. Но Клаша Машина вдруг перестала кричать, сделала губами «фу-фу» и сказала, что больше ничего не помнит по-немецки. На побледневшем лбу ее выступили капельки пота.

Немец успокоился, вздохнул. Сила Саввич сказал Якову, чтобы он дал немцу какую-нибудь одежду прикрыться, — а то неловко вести его в поселок. Но Яков замычал, замотал головой, отказался. Евфросинья сказала, что сын говорит хорошо, что через немца одежда опоганится. Силе Саввичу подумалось, что и вправду — оскорбительно давать немцу русскую одежду. Он не стал спорить. Розовая кожа немца вызывала в нем отвращение.

Яков велел женщинам выйти на волю, скинул измаранные в драке штаны и разорванную рубашку, развернул свёрток, который носил с собою в военкомат, и достал сменку белья.

— Стеклашка там у меня есть, — сказал он и стал водить ладонью по земляной стене.

Паук пробежал по его руке. Яков нагнулся, засунул руку за топчан и достал с полу кругленькое зеркальце, подбитое с внутренней стороны фольгой. Растопырив пальцы, он справа налево расчесал свои редкие волосы. Теперь он был хорош: в чистой украинской рубашке с цветными рубчиками по вороту.

Потом он пальцем показал немцу на дверь, сказав:

— Топай, Адольф!

Немец опустил глаза и шагнул из

землянки на солнце. Испуг его прошел. Острый момент позади, чорт возьми! Есть шансы выжить.

Он пощурился на реку, черную под дальним берегом, красно-золотистую на ближнем и серебряную там, где русло загибалось к поселку. Крупная птица промахалась вдоль реки, зорким взглядом до самого дна пробивая её лоно.

Немец почувствовал толчок в спину ручкой пистолета. Не оглядываясь, он сделал широкий шаг, потом второй, потом перешел на более мелкий и двинулся вперед, не раскачиваясь телом, точный, послушный, Сила Саввич шел рядом с ним, Охатов сзади, Клаша Машина — по другую руку немца.

Евфросинья попевала сзади, но скоро притомилась, стала отставать, махнула рукой, чтобы из-за нее не убавляли шага и в знак того, что сын поступает хорошо.

Спустился час они вошли в крайнюю улицу поселка и стали обрывать людьми. Навстречу им открывались окна, скрипели калитки. От колонки побежали женщины и ребятишки, стуча пустыми ведрами. Два возчика с бородами лопатой, везшие дрова, заспорили, кому оставаться при лошадях, а кому идти за немцем.

Война была далеко. Она ещё не коснулась ни этой земли, родящей хлеб, траву и деревья, ни этой многоводной реки, ни этого поселка штурманов, капитанов, грузчиков и матросов. Здесь люди ещё не слышали свиста бомб, падающих из облаков, и новорожденные безопасно сосали грудь матерей. Пленник Охатова был первым немцем, которого видел поселок.

— Немец, немец! — кричали люди, догоняя толпу. — Охатов поймал немца!

— Ты как, Охатов? Ты что? Вон какого коршуна с неба сшиб!

Мальчонка с лицом, как блин, плоским и ноздреватым, нос репкой, глаза лазурные, пощупал ляжку немца.

— Как у свиньи! — сказал восторженно. Его отдернули, unbedingt дали под зад. Он сделал вид, что перепугался до смерти, и пропихнул где-то внутри толпы: «Убей меня гром, как у свиньи!»

Немец шел теперь тише, ему мешала женщина, которая, пятясь перед ним, искала его взгляда. Когда набегали люди, немец, подняв свои бесцветные глаза, внимательно оглядел их. В зрачках его, расширенных от вечернего сумрака, мелькнуло вялое любопытство, давно насыщенное войной. Он глядел на русских людей, как на дикарей, которых видел раньше только на картинках и о которых читал в газетах.

Сейчас женщина, пившаяся перед ним, мешала ему идти.

Он поднял руку и похлопал ее по плече,

сказав свежим и гостеприимным голосом:

— Но, но, matka, ничего, ничего, я тебя не обижу.

И взглянул на нее. Увидел изможденное, темное, почти черное лицо, провалившиеся щеки, жесткую прядь волос, вывалившуюся на лоб из-под платка, и глаза, смотревшие на него в упор. Ледяной холод этих глаз словно выжег глаза немца. Ему показалось, что он ослеп на минуту от неподвижной, заледеневшей ненависти ее взгляда.

— Но, но, matka, — повторил немец не так уже уверенно, — ничего, ничего...

Он ощутил озноб, будто в желудок ему набили снегу.

Из всех слов женщина поняла только одно: «matka». Она остановилась, немец налетел на нее грудью и сейчас же сделал два шага назад. Внутри, в кишках его пискнул страх. Темное лицо женщины — померещилось ему — заслонило от него свет неба. Немец зажмурился.

Женщина спросила почти шопотом:

— Ты зачем в мою землю залетел? Ты зачем моих сыновей убил? Я не matka, я казнь твоя, сволочь!

Она выпростала из-под платка руку, и все увидели зажатый в ней камень. Охатов перехватил женщину за локоть. Камень выпал, глухо ударяясь о землю.

— Нельзя! — строго сказал Охатов.

В толпе прошел ропот. Женщина села в пыль, платок упал ей на плечи, открыв седину волос, седину раньше времени пришедшей и уже ограбленной старости.

Она стала рыдать. Сухие рыдания ее походили на звук пилы. Это была мать Клаши Машиной, оба сына ее погибли зимою на фронте.

Клаша молча подняла мать с земли, повела ее в дом.

Сухой огонек засветил ее широко раскрытые, потемневшие глаза.

Немца среди молчания повели дальше. Страх попрежнему сжимал его кишки. Глаза были пусты, как пуста бывает нора, откуда ушел во-своихи напуганный крот, как пуста бутылка, из которой пьяница вылакал водку — всю, до последней росинки. Проклятая старуха! Ее шопот забил ему уши.

Как тени по стеклу, скользнули по душе его воспоминанья этого нереального дня. На рассвете, упакованный в кожу и гагачий пух, он шел к самолету. Полубутылка коньяку, высосанная перед полетом, немножко воспламенила его кровь. Последняя девчонка из офицерского дома надела ему на шею дохлого паука на шелковом шнурке — от зенитного снаряда, от трассирующей пули и тарана. Вспоминая девчонку, он вваливает свое тело на сиденье, швыряет на

колени авиационную сумку. Ощупывает прокладочные инструменты. Все на месте: счетные и навигационные линейки, ветрометр, таблица скоростей. Сначала он летит на высоте, не достижимой для глаза. Потом он видит реку, караваны судов над ней, веселую землю, которая будет им завоевана.

И вдруг русская пуля в баке. Чорт возьми, винтовочная пуля. Анекдот! Смертная судорога самолета над лесом. Но дождый паук на шнурке помог. Жизнь пока выиграна: опять выпал чет. Лесная тропинка в лесу. Одинокая землянка бакенщика. Анекдот! И эта старуха... Золотая мутти, помолись за своего сына в своем далеком Брауншвейге!

Когда подошли к дверям военкомата, Яков оглянулся, отыскивая глазами Силу Саввича. Но капитана нигде не было. Никто не заметил, как, пробившись через толпу, он завернул за угол, душа в себе гнев и полный решимости не щадить себя больше.

VI

Деревянный раскрашенный матросик выплыла на лодке из дверцы стенных часов. Сейчас же за его спиной раздался бой: два густых и томных удара. Леонид сам собрал их по винтику и сделал матросика у лодки. Теперь он, открыв глаза, увидел сидящего у стола дядю, в сетке (дома, в летнее время, он всегда спал в сетке). Охватив руками колени, Сила Саввич ворчливыми глазами смотрел на матросика.

Бой часов кончился, и матросик уплы в дверцу, которая щелкнула, закрывшись за ним. Не отводя от часов взора, Сила Саввич стал теперь смотреть на эту дверцу...

Побежденный сном, Леонид смежил глаза. Спал, выгнув руки поверх одеяла, сомкнув губы, неслышно дыша через нос. Но вскоре снова проснулся от боя часов. Теперь они пробили три раза, и матросик задержался снаружи немного подольше. Дядя сидел в прежнем положении и все так же смотрел на часы. Но в руке у него теперь было перо. Кулак его левой руки, брошенный на стол, лежал на листе бумаги.

Дядя был крепкого телосложения, белый и гладкий, на круглом бицепсе его был наколот иглою и затёрт порохом якорь, а под ним курчавая русалка. По настороженной спине дяди Леонид догадался, что Сила Саввич прислушивается к его дыханию и знает, что он проснулся.

Действительно, Сила Саввич сначала боком прошёл к своей постели, не торопясь натянул брюки, потом взял со стола бумагу, выключил свет и, подойдя,

сел на кровать в ноги Леонида. В комнате стало темно, только в прозоре плотной занавески светился рассвет.

— А я не слышал, когда ты вернулся, — сказал Леонид.

— Неправду говоришь, — ответил Сила Саввич, — слышал.

— Что ты писал?

— А вот изволь, — сказал Сила Саввич и поднес бумагу к самым своим глазам.

Было удивительно, как он может читать в таком сумраке. Слова дядя произносил затрудненно, как всегда, когда ему доводилось читать вслух: он не владел даром плавного чтения. Перед словами длинного или иностранного звучания он долго мялся, собираясь с духом, чтобы произнести их вслух. Произнося же, иногда ломал им кости.

Но мог ли Сила Саввич пройти дальше, не завершив дела хотя бы в мелочах? Нет, это было не в его привычках. Несмотря на всю важность документа, он всякий раз возвращался в исходное положение и произносил недавшее слово протяженно, подобно словам команды, когда, бывало, стоя на мостике, он выпевал их в рупор.

Читая документ, Сила Саввич то подносил его к самым бровям, то относил подальше от глаз. Русалка на его бицепсе от сокращения мышц то делалась толстой, как жаба, то вытягивалась гадючкой.

Дядя всегда был для Леонида ближе, чем отец, и по складу своего характера, и потому, что они вместе работали на реке, и потому, что он не разлучался с ним с детства. У отца натура была шумная, беззастенчиво-открытая, жил он сочно, с удаляю: оттого и качало его иной раз из стороны в сторону.

Он был доверчив и добр, и как все добрые люди, упрям. Жена ушла от него, когда Леониду исполнилось шесть лет. Об этом в доме Садовых никогда не говорили: здесь не любили ни бесполезных осуждений, ни пересудов. Но Леонид помнил, как мать, в ярком платье, с папиросой в углу красного рта, одуряюще ароматная, вся какая-то гремучая от шелковых одежд, бегала по комнатам и кричала: «Не на твоё куплено, а на мое! Ты думаешь, я кухарка тебе? Врешь! Я увидела, наконец, зарю жизни!» А отец сидел на стуле, утопив лицо в своих широких ладонях. После этого мать уехала на Дальний восток, и перед кем там шумела своими юбками, про то никому не было известно.

Отец, первое время тоскуя по ней, тоже уезжал из этих мест, работал на заводах то на юге, то под Москвой, но скоро заскучал по сыну и вернулся в поселок, стал работать мастером в ма-

ленькой затонской мастерской. Его рано прошибла седина, но он был попрежнему здоров, шумен и открыт душой. В то время Леонид кончал астраханский речной техникум. Жизнь их сложилась строго. Двое поживших мужчин и один начинающий жили в своём опрятном домике на Овражной, преданные труду и чуждые соблазнам сердца. Женщины, если и переступали порог этого дома, то всегда по делу, и никогда не за чем иным. Коренником был Сила Саввич. Воля его — закон, решенья его совести — венец делу. С ним Леонид плавал, спасал суда в ледостав, перевыполнял планы перевозок, держал из года в год переходящее знамя. Они понимали друг друга с полуслова. Оба были молчаливники.

Отец на втором месяце войны ушел в армию.

Документ, написанный дядей среди ночи, не удивил Леонида. Дядя не мог поступить иначе, несмотря на то, что как бы дал молчаливое согласие скрыть некоторые подробности последнего рейса. Тогда, на «Суворове», после короткого совещания с командой, Леонид сказал: «На этом поставим точку». Но это совсем не было ни в характере Леонида, ни в правилах его поведения. Сила Саввич выслушал и молча согласился. Но это тоже не было в его характере. Сойдя на берег, оба знали, что дела так оставить нельзя. Если бы изменил себе Сила Саввич, не изменил бы себе Леонид, и дяде не позволил бы изменить себе. А измени себе Леонид — дядя поставил бы его на место.

Леонид слушал, натянув одеяло на рот, шевеля пальцами ног. Сердце его стучало. Сила Саввич читал, спотыкаясь на словах и тоже борясь с сердцебиением.

Но до виду оба были спокойны.

— «...а так как все подробности моего доступа, позорящего честь водников, подробно изложены мною в рапорте, поданном сего 3-го июля, в шестнадцать часов по московскому времени, то настоящим прошу сделать...»

Здесь Сила Саввич не сумел взять слова сходу, остановился и повторил с растяжкой:

— «...организа-ци-онные выводы. Невзирая на мое достойное прошлое и на орден мой, а главным образом благодаря этому, прошу снять меня с поста капитана, как не оправдавшего доверия, и в порядке испытательного поставить на менее ответственный пост. Чтобы я мог в глазах водников и партии, а также в своих собственных глазах, заглядить свой проступок».

— Так ли? — спросил Сила Саввич и зорко посмотрел на Леонида.

— Мысль выражена ясно, — помедлив, ответил Леонид, — хотя лучше бы написать попроще.

— Не мастер я писать, — сказал Сила Саввич и провел рукой по мощной груди. — А куда меня поставят, так тому и быть.

— Конечно, это временная мера, дядя, — проговорил Леонид.

— Это уж от меня самого будет зависеть. Товарищ Башлыков здесь. Слышал? А я вот что думаю: я думаю, что капитаном на «Суворове» поставят тебя.

— Этого нельзя, — проговорил Леонид, — я молод.

— Эва, молод! Когда воюют отцы, то птенцы до времени из гнезда летят.

— Все-таки этого нельзя, рано. Знания у меня, положим, есть, а вот опыта...

— Не мы будем решать, — сказал Сила Саввич и снова поднес к глазам бумагу.

Он разглядывал свою подпись. Этот приговор, вынесенный самому себе, не дался ему дешево. В то же время ему приятно было испытывать вернувшееся уважение к себе и чувствовать, что он снова обрёл уважение Леонида.

Он вздохнул.

Здесь, в холостом доме, властвовали мужские законы. Суровой формы их некому было смягчить. Здесь негодяев называли негодьями, не прибегая к таким обходным выражениям, как «дурной» или «слабый человек».

Вздыхнув, Сила Саввич подошел к окну и снял колечко шторы с гвоздика, прибитого к верхней раме. Небо ещё не разгорелось и сон природы ещё не нарушился; но все полно было ожиданием света, тепла и голосов пробужденных птиц. Роса пала на траву, на ворох осоки, приготовленной Леонидом с вечера, чтобы продолжить спай в бочке. Темнота, еще густая в укрытых местах, начинала рассеиваться. Ночь собиралась во свояси.

— Не скажу, — буркнул Сила Саввич от окна и застучал трубкой о подоконник, — не скажу, что все это дается мне легко. Годы не те и закваска не та. Главное, это найти верное поведение. Самое трудное в том, что я известный человек. Ты понимаешь, надо найти верное поведение.

— Поведение ты найдешь, — отозвался Леонид. — У тебя настоящий характер, дядя.

— Думал ли я, что хоть на минуту буду трус? — спросил Сила Саввич с искренним удивлением.

Леонид промолчал.

— И думал ли ты, что я буду трус? — все с тем же удивлением сказал Сила Саввич.

Так как в этом доме вещи всегда называли своими именами, то Леонид ответил:

— Ты слишком резко говоришь. Не сов-

сем так это было. Но и минутной слабости я никак не ожидал от тебя, дядя.

Сила Саввич продолжал стоять у окна, перекатывая в зубах мундштук незажженной трубки. Леонид встал, нашел на столе его зажигалку. Бросил ее дяде. Сила Саввич поймал на-лету в свою широкую ладонь. Щелкнула крышечка, скрежетнуло колесико, засиял огонек. Теплые клубы дыма взлетели над дядиной головой.

Сила Саввич подошел к постели.

Дядя и племянник стали одеваться, беря со стульев одежду, бережно сложенную с вечера. Дядя продумал всю ночь над тем, что стряслось с ним, и теперь не мог остановиться. Как это было? Какой попутал бес, замутил разум, ослепил глаза? Леонид думал о том же. Мысли их, пока они одевались, текли согласно.

Из дверцы выплыл матросик, часы пробили четыре раза.

VII

Застегнув последнюю пуговицу на рубашке, Сила Саввич вызвал в памяти тот момент, когда он потерял всякую власть над собой. Вот это-то и было загадочно, и ключа к этой загадке он теперь никак не мог найти.

Самолет врага появился среди утра, солнца и чистого неба. По всему пароходу, по его стройным стенкам и свежее вымытой палубе прыгали упругие солнечные зайчики. Река играла огнем, пароход шел наверх, смуглые пески берега плыли ему навстречу, а за ними разворачивались розовые гречишные поля, изумрудные овсы, утонувшие в зелени деревеньки. Ветерок был только от хода.

Самолет нырнул на пароход, обрушив на него весь мерзостный гром своих моторов. Густая тень, как обморок, прошла через капитанскую рубку. Пули пробили корму, но стука их не было слышно за бычьим ревом моторов. Рев был такой: ураганное гу-у, потом у-а-а с затихающим и плавным а-а; и снова гу-у, как светопреставление божье.

Во время затихающего а-а на корме был услышан крик человека, которого чокнула пуля.

«Вот здесь-то я и сморился», — думал Сила Саввич, застегивая нижнюю пуговицу на рубашке. Но что было дальше, вплоть до того, как он осознал себя уже не в рубке, а на палубе, припомнить не мог.

Леонид, завязывая шнурки на ботинках, думал в свой черед:

«Разладился он не от испуга, а от того, что крикнул в машинное «стоп!» Когда он услышал свой собственный крик «стоп!», тут он уже и разладился. Он понял, что бессмысленно останавливать па-

роход, а уже крикнул «стоп!», перестал сам себе верить и от этого разладился»

Перепопаясь лодыжку длинным концом шнура, Леонид с неприятностью вспомнил все, что произошло вслед за тем. Дядя выскочил из рубки, обернулся вокруг своей оси, стуча сапогами, и вдруг замер. Видна была его широкая спина и локти, прижатые к ребрам. Здесь раздался смертный крик матроса с кормы. Рулевой Жучок, рябой, здоровый парень, искоса поглядел на Леонида и уступил ему место у штурвала.

Самолет, развернувшись, снова пошел на пароход. Снова, обдав холодком, его могучая тень пронеслась по палубе. Немцы швырнули бомбу, упавшую далеко на береговую косу и взметнувшую тяжелый столб мокрого песка. Эхо заремело, заухало по берегам.

Леонид позвонил в машинное и, отдав команду, взялся за ручки штурвала, горячие после ладоней Жучка. Машина снова заработала, сотрясая корпус парохода.

Но, едва он подал команду: «назад полный!», чтобы сбить прицел фашистского летчика, как увидел, что дядя снова стоит перед ним. Был железный покой в глазах его, и резко обозначились скулы, будто натянувшие кожу. Он курил свою трубку, и дым летел над палубой, гонимый ветром.

Леонид подвинулся, чтобы уступить дяде место у штурвала.

— Правильно командуешь, мальчик, — сказал Сила Саввич, — продолжай.

И пошел по верхней палубе, заложив за спину короткопалые руки — неторопливый и собранный, как всегда. Подойдя к борту, он закричал вниз, на нос:

— Кто ранен, ребята? Вызвать санитаров!

..Сила Саввич, покончив с рубашкой, подошел к шкапчику и, выдвинув нижний ящик, достал синюю банку с гуталином и сапожную щетку. Надев ботинок на левую руку, он взял гуталин на кончик щетки.

Он продолжал размышлять. Так что же было дальше? Он вспомнил, как позже, когда все кончилось, он спустился в свою каюту. Запершись на ключ, он сидел у письменного стола. Стекланные палочки абажура позванивали от хода машины. Жалюзи были спущены. Пахло нагретым деревом и земляникой, киснувшей перед ним на тарелке. Помнил ли он что-нибудь из своих движений и ощущений в ту короткую минуту беспомощности, на палубе? Пожалуй, только свою команду: «Стоп!» За одну эту команду любого другого он отдал бы под суд.

Но даже там, на палубе, когда тело замиранием сердца и спазмами в желудке ствечало вою немощных моторов, мысль Силы Саввича работала трезво. Деферент Сила Саввич держал на нос. Леонид ме-

вля ход для того, чтобы сбить прицел неприятельского летчика. В ту минуту, несмотря на испуг, Сила Саввич подумал, что деферент теперь неправильный: пароход, рыская, теряет ход, и как бы не стало выгибать днищу. Непрерывно звонил сигнал в машинное отделение. Внизу, на палубе, покатались бочки и глухо ударились о борт. Прогрели по верхней палубе шаги бегущих матросов.

Машина остановилась. Сила Саввич явно предоставил себе, как вода стекает с широких неподвижных плит колеса. Он увидел даже лунки, бегущие по воде от стекающих с плит капель.

Да, все это случилось за одну короткую, слепую минуту испуга. Вспоминая об этом в каюте, Сила Саввич положил голову на стол, возле тарелки с земляничкой. Нагретая солнцем клеенка обожгла его лоб. Он закрыл глаза.

Теперь, когда Сила Саввич размышлял над этим, Леонид стоял посреди комнаты и, зажмурясь, на ощупь повязывал галстук. Он не хотел скрывать того, что тоже испугался тогда, во время первой бомбежки. Но он никогда не позволил бы себе подчиниться страху. Осуждать человека за чувство страха нельзя. Его можно осудить только за подчинение страху.

Леонид повязал галстук, и, раскрыв глаза, поглядел на дядю. Сила Саввич в белом кителе, в начищенных ботинках, с расчесанными усами, с трубкой во рту, побурживал в усы.

Они оглядели себя и спереди, и сзади, как это делают девушки, когда идут по улице и им кажется, что у них над пятой морщит чулок или привязался к юбке репей.

Потом они, не сговариваясь, сели к столу.

Матросик еще раз выплывал из часов, и вслед ему несся бой часов. Было уже совсем светло. Во дворе в листьях липы гудели шмели.

Катя, неловкая спросонок, поставила самовар и подошла к двери, чтобы звать их чай пить. Ее озадачили их оживленные голоса, несущиеся из-за двери: обыкновенно, по утрам дядя и племянник молчали.

Но она не решилась войти.

— Возьми Охахова, — гудел голос Силы Саввича, — знаю, что говорю. Он человек честный и тебе всегда в помощь будет. Только мечтать не давай. А Чистова спиши.

— Как же я возьму? — отвечал Леонид. — Я людьми на реке не командую. Да ты Якова знаешь: не пойдет.

— Уломай.

— Как уломаеть? Такого работника никто не отдаст. Да и что говорить, я не капитан еще.

— Мы говорим в предположении.

— Рано, дядя, и в предположении.

— Рано ли, поздно, а знай пиши. Пиши: Охахов.

Катя выждала, когда карандаш Леонида засгучал по бумаге, и пропищала тоненьким голоском из-за двери:

— Леонид, выйди на минутку.

Леонид, ероша волосы, положил карандаш, виновато опустил глаза и пошел к двери. Выйдя, он притворил дверь за собой. В коридоре было темно, а на крыльце все полно света, на волосы Кати, на ее плечи словно насыпалось солнечной пыльцы. От нее пахло зубной пастой, самоварным дымом и всеми запахами расцветшего лета.

— Что я тебе скажу, — сказала она шопотом, — большой секрет.

Он нагнулся, вытянув шею.

Она прошептала ему на ухо:

— Самовар поспел!

И, всплеснув руками, повернулась, уплыла в дверь, как часовой матросик. Леонид похлопал глазами, подождал, пока у него перестанет колотиться сердце. Ему почему-то представилось, что он ест сочный холодный арбуз — и у него сладко немеют зубы.

Он вошел к дяде. Второе окно еще было зашторено. Он постоял у двери. Зубы у него всё ещё немели приятно и сильно. Он подошел к окну и стал поднимать штору.

— Ты что? — спросил Сила Саввич от стола, где переписывал свое заявление на-бело.

Леонид сказал:

— Да темно у нас. Сидим, как кроты в норе. Это, дядя, даже неприятно.

VIII

В училище, во время работы, о постороннем говорить возбранялось. Но теперь говорили много: о том, как Охахов словил немецкого летчика, о стойкости Леонида под фашистскими бомбами.

Мастер Ловягин, Евсей Корнеич, побаивался, что эти разговоры отвлекут ребят от работы. В этот день в училище было нововведение: за пять минут до начала занятий всем ребятам розданы бланки с заданиями. Ловягин, маленький Люттов, Кита и Клаша Машина не спали ночь, писали крупными буквами: «Помни, что деталь, даже самая маленькая, — это удар по врагу». Потом шло задание, а внизу: «Что ты сделал сегодня, чтобы твоя группа была лучшей в училище?»

Всё это надо было сделать, потому что в училище вдруг ослабла дисциплина.

А ослабла она потому, что среди ребят опять проявилось состояние «мне чорт не брат». Так лучше всего, пожалуй, можно

назвать это состояние. С ним Ловягин боролся во все время пути, когда прошлой осенью вез ребят до поселка, и победил его. А здесь оно опять вышло из-под спуда — значит, было загнано под спуд, а не побеждено.

Состояние «мне чорт не брат» по виду проявлялось так. В общежитии, скажем, перегорят пробки. Ребята кинутся по койкам: кто в чем есть — сапоги пыльные, штаны сальные, руки неумыты. Темно так, что соседа не видно. Один губами изобразит струну, другой гармошку. Частушки, побаски, песенки. Комендант дернет дверь, закричит, чтобы сменили пробки. И голос Выручалкина несется из темноты: «Монтёра зови, а мы тебе не те и не эти». А то в углу собьются кучкой, слушают Выручалкина. А он несёт: не такой ребятам нужно жизни, а чтоб города у немцев отбирать. «Да ведь что сделать?» — спросит Зинка, блестя глазами. «Знакомого генерала нужно найти, а лучше — маршала». «А у тебя есть такой?» «Есть один боевой, да слишком далеко: на мурманском фронте». «И ты что?» «А то, — скажет Выручалкин, — очень нос у тебя длинный. Мне не нравится».

Это возбужденное состояние, как знал Ловягин по опыту, могло исчезнуть само собой в условиях размеренного и умного труда, который в училище поменьше налаживался. С этой стороны оно было не опасно, но оно было опасно потому, что могло заразить других учеников, живущих по домам, и уронить работу училища.

Ловягин был педагог только по милости войны и действовал не образованием, а инстинктом. Человек он, несмотря на пожилые годы, был свежий, поэтический. До войны состоял на пенсии, а грянула война — пошел в ремесленное училище мастером. Везде отечеству требовались руки, и — хочешь, не хочешь, — а надо было молодеть.

Он подумал над тем, почему ребята опять сорвались с прикола, и удивился тому, что пришло ему на мысль. А на мысль ему пришло, что причиной возбужденного состояния явилась, с одной стороны, минута беспамятства Садового на пароходе (факт, непомерно раздутый слухами именно потому, что команда «Суворова» молчала о нем) и, с другой стороны, доблестное поведение Охахова, голыми руками победившего вооруженного немца. Ребятам захотелось быть такими, как Охатов, но только еще удалее его.

Поселок был вдали от боев, но он был уже в войне: в чистеньких домиках речных людей появились беженцы с разных концов русской земли, оскорбленной немцами; у Сталинграда рыскали самолеты врага, зажигая пароходы и караваны судов, и враг со всеми своими машинами ист-

ребления рвался к низовьям Волги. Война не подошла близко к поселку, но она вошла в душу ребят, это видел Ловягин, и души загорелись. Труд за станками стал представляться больно сереньким, не геройским. Выходило, как это ни странно, что послабление дисциплины в школе было искаженной формой здорового в своей основе движения души; стремления души к воинскому подвигу.

Стало быть, это были все-таки уже другие ребята, не те, которых свалили ему на руки в последние часы московской эвакуации. Среди них были дети, потерявшие родителей во время беженства от немцев, и безнадзорные дети, отбившиеся от школ и семьи. Их привезли на вокзал и погрузили в теплушку. Ловягина вызвали ночью. Незнакомый начальник, у которого при вое сирен в душе задувал ветер, сунул ему бумагу, закричал: «Эшелон номер двадцать шесть! Номер двадцать шесть!» Все это было смутно, мандат неавторитетный, но рассуждать было некогда.

Ловягин спрятал мандат, взял подмышку свой чемодан и пошел по ночной тревожной Москве на Казанский вокзал. Фон-Бок рвался к столице, но русские стояли насмерть, и кровь лилась, и немцам не дано было преступить черты, означенной русской кровью на подступах к сердцу России. В суете и зловещем мраке Ловягин нашел на путях длинный состав и в нем теплушку, отданную под его команду и заботы. Из теплушки неслись крики, смех, дроботок ног о пол; занялась было, да скоро погасла песня.

Ловягин с трудом отодвинул примерзшую дверь и полез в вагон.

— Внимание, — сказал он в полумрак багровый от огня печурки, — я ваш начальник. Здорово, ребята!

Его встретили молчанием. Но едва он алез в вагон, из темного угла раздался такой свист, что унеси ты ноги! Он оглядел ребят, сидевших на полу, по нарам, у железной печурки, в которой весело трещали сосновые чурки. Свиста никто не поддержал. Только озорной мальчишка, резвый как вьюн, в оленьей шапке, в пальто до пят, лег на пол и подкатился ему под ноги.

Ловягин переступил через него, поставил чемодан у печки и стал ждать, когда ребятам надоеет базарить. Базарили только эти двое: мальчонка, кинувшийся ему в ноги, и другой мальчонка, постарше — великий мастер свистеть, лицо нахальное, а кончик носа белый, волосы огненные, глаза с льдинкой, будто мороз хватил, да так и осталось. Он ошип, устал, потом подумал, схватился за полу ватного пиджака, сделала заяцье ухо и приложил его к скуле.

— Приятно знать, — ответил мастер. — А моя фамилия Ловягин.

— А моя Выручалкин.

— Не Выручалкин твоя фамилия, а заячье ухо.

В вагоне настала тишина. Ребята обиделись за парашку.

— Немец летит, — сказал Ловягин, сделав вид, что прислушивается. — Бобмить хочет. «Мессершмитт», что ли, по звуку суда.

Ребята помолчали, прислушиваясь.

Девочка с полати сказала насмешливо:

— Тоже сказал, «Мессершмитт!» Небось, «Мессершмитт» истребитель, это «Ю» летит.

Другой голос из темного угла проговорил авторитетно:

— Экипаж в нем из пяти человек: пилот, штурман, радист и два пулеметчика. А у англичан «Стирлинги», там семь человек экипажа. Ты как думаешь, кто на бомбовозе бомбардир? А штурман! Он тебе и штурман, он тебе и бомбардир.

Мальчонка в длинном пальто, до сих пор лежавший на полу, сказал:

— Дяденька, отодвинуть дверь можно? Посмотреть бы, как наши по ём бьют.

— Можно, — сказал Ловягин и вместе с ребятами отодвинул дверь.

И так началось их знакомство, так он принял начальство над ними. Всё это были дети, выброшенные неслыханным нашествием врага из своих семейных гнезд, безнадзорные. Одних пришибло горе, и глаза их как бы отвернулись от мира, перестали радоваться ему; другие сделались удальцами, побродяжками, озорниками. Государство, думал Ловягин, учредило органы для немедленной помощи им. Но, видно, думал Ловягин, не всегда под рукой люди, у которых сердце горело бы к чужой детской беде — вот и мыкают безнадзорщину свою потерявшие опору подростки, вроде этих, что сейчас достались под его начало.

Всё это был народ трудный, ершистый, наболевшийся. Случалось и худое. К исходу первых суток стащили у Ловягина часы. Наградные — жалко. Теплашку убирать не хотели. У Ловягина был слабый кишечник, он глотал угольные лепешки, возил их с собой в жестяной коробочке. Ребята тоже раздобыли себе жестяные коробочки, набили их угольками, храбро глотали их — дразнились. Стались вокруг черные поля, уже засыпанные порошей. Станции были забыты народом, вся Россия, казалось, коченела в холоде, в голых деревьях брэнчал-стучал ветками ветер ледовой.

Жили в смене то разудалых, то заувявших настроений. То здесь, то там, на промерзших полатах, вскрикнет паренек, заплачет девочка: вспомнят мать, скрип половицы в родном доме, которого нет — разбит, разметан немецкими бомбами. И снова сопят носами под мерный стук колес.

Дети были гордые, и дверь в свою ду-

шу держали на запоре. Но они были дети, плохие сторожа самим себе. Мастер Ловягин глядел, глядел, да и стал понемногу залезать им в душу. Для начала объявил чемпионат французской борьбы, в пути учил приемам, а на остановках, на снежку, ребята боролись, не щадя ни живота, ни одежки, потные от честолюбия. Потом был рассказ о фашистах, подробный и картинный. Потом клятвы: ничего не брать чужого.

Дальше произошло исчезновение Ловягина из теплушки. Командант поезда заявил, что Ловягин переводится в эшелон, а в начальники ребятам дадут дядю покрепче на авторитет. Всё это было шито белыми нитками, но ребята поверили. Василий Васильевич Выручалкин взял с собой двух бойких ребят и пошел к коменданту. Он сказал ему, что Ловягин тоже крепок на авторитет, а если его возьмут, то ребята дальше не поедут.

Командант стал торговаться, спорил, спорил, всю душу вымотал. Помирились на том, что вернут Ловягина, но за это ребята будут помогать эшелону грузить на остановках хлеб и дрова.

Поехали дальше. Поезд подолгу стоял на больших и малых станциях, на скучных запасных путях. Иногда немецкие одиночные самолеты, снизаясь, поливали вагоны из пулеметов, в промерзлую землю втыкались свинцовые пальцы пуль, хлопала со станции ответные выстрелы — но жертв в эшелоне не было. К исходу десятых суток долгого стояния и медленной езды уже все было известно, кто на кого будет учиться: кто на слесаря, кто на столяра, кто на фрезеровщика. Было известно также, что если все ребята — двадцать четыре человека — станут к станкам, то Гитлеру не поздоровится.

На исходе десятых суток, на пустынной станции, Евсей Корнеич Ловягин велел ребятам вытряхиваться. Он сказал, что ему известно, будто в двадцати километрах отсюда, на берегу Волги, расположен водницкий поселок; там есть затон, при затоне мастерские; раньше в них делали мелкий судовый ремонт, а теперь берутся за большой, и там есть ремесленное училище. И надо идти туда, помогать речным людям.

Пошли, стуча подошвами по мерзлым кочкам. Угрюмо встретила их здешняя земля. Снег, недоубранный хлеб в стогах, багрово-синяя ботва картофеля, вороха почерневшей волотины, тяжелые стаи ворон, раздобревших на людском несчастье. Канун первой военной зимы во многом был горек. Ветер дул в лицо. Все устали, истомились, натерли пузыри на ногах.

Шли вечер и ночь, а к утру со злобка открылась река, сердито-черная в снежных берегах. Белобокий пароход заворачивал к пристани, холодно поблескивая стеклом своих широких окон.

Выручалкин, смахнув с глаз морозную слезу, прочитал его название: «Александр Суворов».

Первую ночь спали в дебаркадере, под шум осенних волн и шелковый шорох шуги. Когда Ловягин проснулся поутру, то услышал, как под самым его ухом тикают часы. Хватил рукой — его часы, наградные. Сунул их в карман, засопел носом. Рядом лежал Выручалкин, не спал. Глаз его косил на мастера.

Ловягин спросил, как о неважном:

— Почему же раньше не отдал, Василий Васильич?

Рыжий паренек прикрыл глаза, ответил:

— В вагоне, сам знаешь, тряско. Боялся, что соскользнут, разобьются.

IX

Поселковые ребята приняли ловягинских радушно. Ваня Шершнев, комсомолец, сын шкипера с баржи, неспешный, русоголовый паренек, вместе с руководством училища ездил в затон готовить помещение для общежития. Подходила студеная — с треском морозца, с голубым инеем на липах, с бешеными мятелями — знаменитая зима 1941 года, зима, когда немцы, разбитые и помороженные, вслед за подмосковной катастрофой, испытали силу русского удара в Ростове и в Тихвине.

Уже в октябре по реке шло сало, и вдруг ночами река оледенела у берегов, а днем неокрепший лед отрывался и, поколыхиваясь на черной воде, неторопливо шел дальше.

Ловягину отвели теплую комнату в клубе речников: печка в стройных, парадных изразцах, стол под плюшевой скатертью, полка над кроватью, украшенная бумажными кружевами. Ловягин не стал жить в этой комнате, а переселился в общежитие. Там и встретила его Катя в первый раз, когда, в одной группе с Клашей Машинной, она пришла мыть полы. Они с Клашей сняли туфли и чулки, положили их на подоконник. Ваня Шершнев принес ведро с водой. В промытые окна глядел осенний оловянный день. Ветер был такой, что в стекло швырнуло воробышка — он комочком упал на оконный наличник, потом вспорхнул, пропал из глаз. Пол был холодный, вода — пальцы немеют. Катя поплясала, стуча пятками, потом тряпкой стала тереть пол — согрелась, развеселилась от работы, стало смешно бороться с волосами: налезает на глаза, лиднут к потному лбу.

Когда воробышек ударился о стекло, Катя подняла глаза.

— Вот бедный-то какой! — сказала она, окунула тряпку в ведро, нагнулась, и вдруг рядом с собой, с правой стороны, увидела мужские голые ноги, худые,

жилистые, странно белые и с чистыми низко подрезанными ногами. Почему-то она страшно испугалась их. Выпрямилась, локотком сдвинула волосы со лба. Возле нее худенький, но проворный ричок в шерстяной рубашке с расстегнутым воротом, в закатанных выше колени штанах, нагнувшись, возил тряпкой по половине. Тряпка в его руках плевалась темной водой, чавкала, ее мокрые тяжелые концы, как живые, ползли по полу. Не поднимая головы, старик сказал:

— А ну-ка, невеста, тягаться давай Или не хочешь тягаться?

— А вы кто? — спросила Катя, немало дичась чужого человека.

— Ну вот, кто! Товарищ твой. Ты поломойка, я — поломоец. Выходит, товарищи.

— Я, кроме того, в ремесленном учусь, — наивно сказала Катя.

— И я учусь. Всю жизнь чему-нибудь учусь, уж такой ненасытный.

«Раз! Раз!» — стал он покрикивать в лад своим проворным движениям, пятясь к двери, ловко переставляя ноги. Тряпка его оставалась на полу широкую извилистую дорожку влаги. Он дотянулся до двери, ударом ноги раскрыв ее створки и, не разгибаясь, возя тряпкой по полу, исчез в коридоре, откуда послышалось его бодрое: «Раз! раз!»

Катя и Клаша поглядели друг на друга, засмеялись.

— Да ты будто не знаешь? — сказала Клаша Машинная, зажав рот ладонью и шумно дыша в нее. — Это новый мастер наш, Ловягин.

— Ка-кой! — сказала Катя и вдруг перестала смеяться. — Авторитет у него будет? Простой очень.

Эта встреча была веселая, подумала Катя, но день испортил новый в училище ученик Выручалкин, приехавший вместе с Ловягиным и (это было непонятно Кате) как будто друживший с ним. Покочив с мытьем полов, Катя и Маша подошли к подоконнику за чулками и туфлями, смотрят — нет их. Глаза у Клаши Машинной сразу стали злыми. Она умела сердиться, как кошка.

— Это тот рыжий украл, Выручалкин, я знаю! — прошипела Клаша Машинная зловещим голосом.

— Да подожди ты, почему Выручалкин? Надо к тете Разве пойти.

Тетя Разве была заведующей, когда в общежитии летом жили сезонницы, женщины-грузчицы. Звали ее так за то, что она с утра до ночи бегала по коридорам и комнатам, по двору и службам, всегда потная, красная, и говорила всякую минуту: «да разве я справлюсь?», «да разве я могу?», «да разве это слышанно?», «да разве это вяжется?» Она была полная, коротконогая, беспокойная и добрая. Сейчас она сидела у себя в ком-

нате, стул казался под ней маленьким и друшким, горошина-родинка прыгала на ее толстой губе. На коленях, в своих толстых пальцах, она держала пропавшие чулки и туфли.

Выручалкин стоял возле двери; из деланной вежливости курил в рукав и глядел, как дым, ластясь, опоясывает кисть его руки.

— Разве это слыханно, — бурно дыша, говорила тетя Разве, — чулки он повесил в уборной, а туфли поставил в коридоре — в один ряд, как солдатский какой-нибудь полк. Да разве я могу с ним? Ты зачем это сделала? С какой целью?

Клаша метнула на него гневные глаза, но сдержалась.

— А я хотел поглядеть, понимают здешние девчонки шутку или на стенку полезут?

— Да разве это вяжется? — сказала тетя Разве и всплеснула руками, в которых были зажаты чулки.

— Чего не вяжется? — спросил Выручалкин, бросил папиросу на чистый пол, придавил ее носком и, повернувшись, гордо и независимо вышел в дверь.

В эту многоснежную, морозную зиму Катя чувствовала себя в училище одиноко: то ей казалось, что она не поспевает за другими, то ребята не по-настоящему принимают ее к себе, заезжую из Ленинграда, слабенькую, легко падающую духом, как Лиза. Ловягин хорошо относился к ней, она это знала, но доброта его по отношению к ней казалась Кате почему-то непрочной: стоит ей отстать в работе, и Евсей Корнейч, думала Катя, отвернется от нее. Когда в первый раз он появился в цеху, она работала, как на грех, плохо, руки были непроворные, будто тени набегали на ее мозг, гасили мысли. Станок шел сам по себе, а она при нем — сама по себе.

Евсей Корнейч остановился позади нее, ничего не говорил, глядел. Ее охватило отчаяние.

Евсей Корнейч сказал:

— Как оно идет, невеста: ты едешь на нем, либо он на тебе?

Она проглотила слюну. Локти ее дрогнули. Она сказала убито:

— Сегодня он на мне.

— А вот мы его объездим, — сказал Евсей Корнейч, и она вдруг увидела, что у него волшебные пальцы.

Но работала она все-таки неровно, слишком порывисто. То начинала верить себе, то уходила в коридор, чтобы горько глядеть через окно на реку, застеленную чистым саваном снега и, сунув в зубы платок, плакать.

Осенью в красном уголке Ваня Шершнев рассказал о панфиловцах. Ваня нравился ей, хоть и был увальнем, ходил носками вовнутрь, заложив руки в карманы брюк, поглядывал вокруг тихими

светлыми глазами. Когда воспитатель Апкин говорил о нем: «ну, этот боевой», — то в это не верилось. Чем боевой? Этими кроткими глазами да походкой вразвалочку? Кате хотелось подружиться с ним, но не выходило. Она боялась, что Ваня подумает о ней, будто она хочет быть на виду.

А она совсем не хотела быть на виду. Она себя в ту зиму не уважала. Лучше бы Ваня не рассказывал о панфиловцах! Она представила себе этот снежный день 16-го ноября под Москвой, и сосны в снегу — такие же, как в лесу за поселком, — и черные танки фашистов, застилающие бледный горизонт, и бутылки, которые двадцать восемь человек швыряли в них из окопа, — она представила себе всё это по-своему, как думала и могла (среди страдания природы, когда пылающие сосны летят в небо, а от распоротой земли поднимается угарный дым), и спросила себя, могла бы она умереть так, как они? И она не хотела быть дрянью сама перед собой, не хотела уклониться от этого вопроса, и она ответила себе, что не могла бы умереть так. Она не подняла бы руки, как тот единственный трус, которого застрелили сами же товарищи. Но она села бы в сугроб, спрятала бы голову в коленях..

Зима была трудной и долгой. Лиза много хворала. Леонид и Сила Саввич зимовали не дома, а выше по реке, вместе с караваном судов, затертых льдом. Комнаты Садовых стояли нетопленые, запертые на замок. От Леонида изредка приходили письма с описанием того, как судовые команды готовятся к будущей военной навигации. Еще в письмах были размышления о войне и такие приписки: «Люблю отчизну я, но странною любовью, не победит ее рассудок мой — кто это сказал?» Катя, отвечая Леониду, приписывала: «Лермонтов». «Но узнаю тебя, начало высоких и мятежных дней! Над вражьем станом, как бывало, и плеск, и трубы лебедей. Не может сердце жить покоем, не даром тучи собрались...» Кто это сказал?» Леонид отвечал в следующем письме: «Наверное, Пушкин». «Неправда, — писала Катя, — зачем говорить, когда не знаешь? Это Блок сказал, любимый поэт папы».

А от папы, ни от его фронтовых товарищей, писем не было. И уже все трудней было надеяться, что сообщение о его смерти неверно. Зима была трудная. И Катя была трудная, трудная для себя самой. Однажды она пришла к Ване, в его маленькую комнату под косым потолком, с портретом Сталина на стене, с простым деревянным столом, на котором опрятно лежали папки. Она хотела прямо сказать Ване, что у нее много вопросов, с которыми она сама не может справиться.

Но комната Вани была полным-полна. Сидели: Клаша Машина, Лютов, Зинка из группы Выручалкина, большеглазая, назойливая девчонка, — и Катя ничего не сказала. Ваня поднял на нее свои ласковые глаза, спросил:

— А, вот и ты! Ты тоже считаешь, что у нас непорядки?

Ей стало приятно, что он так прямо спросил ее, и она ответила быстро:

— Не всё хорошо. Особенно в наше время, когда над вражьем станом, как бывало, и плеск, и трубы лебедей.

Она сама не знала, как у нее это вырвалось. Наверно, она думала о письме к Леониду, когда шла сюда.

Все замолчали, глядя на нее во все глаза.

— Что, что? — спросила Клаша Машина, — какие лебеди?

И прыснула в ладонь. Катя так покраснела, что слезы навернулись на глазах.

— Это стихи, — пробормотала она, боясь, что у нее сейчас от стыда подогнутся коленки, — это стихи Александра Блока про Куликово поле.

— Ну, стихи, это тоже годится, — сказал Ваня, пошевелив плечами, — только какие же лебеди над вражьем станом? Там у них, я думаю, боевая авиация.

— Над Куликовым полем авиации тогда не было, — сказала Клаша Машина.

— Что ж, боевые какие-нибудь лебеди были?

— Это стихи, — повторила Катя.

— Стихи стихами, а ты, Катюша, садись. Помнишь, ты говорила мне, что ученики в свободное время могут помочь семьям военнослужащих?

Катя села, наморщила лоб.

— Когда я тебе говорила?

— А после моего доклада. Шли вместе с тобой, помнишь?

И он своим нерасторопным голосом стал говорить о том, что сейчас на берегу под снегом много дров, а некоторые семьи призванных сидят в холоде, у хозяек нет времени управиться. Пока он говорил, Катя вспомнила, как они с Ваней шли после доклада. Но вспоминалась только белая тишина улиц, звон снега под ногами, вкус морозца на губах и оранжевое свеченье вокруг редких лампочек над подъездами. Разве она говорила это? Быть может, когда оттирала ему занемевшую щеку варежкой? А он запомнил.

Ей стало приятно, что он помнит даже то, что она забыла. — Стало весело, как тогда в общажитии, когда они с Ловягиным мыли полы. Она забыла про все главные и неглавные вопросы.

Неделю спустя, ближе к вечеру, она, Лютов и Ваня свалили во дворе матери Клаши Машиней четверть куба поленьев,

покрытых ледком и мохнатых от снега. Они сладко намерзлись, сладко устали. Клаши дома не было, Лютов торопился домой помочь матери, и в зазыв хозяйки в дом зашли только Ваня и Катя. В этом доме жило горе: оба сына Дарьи Машиной погибли в ноябрьские дни под Москвою. Дарья Дмитриевна, высокая, прямая, еще далеко в старуха, прошла к комоду под кружевной дорожкой и, ни слова не говоря, стала рыться в глубоком ящике. У нее были неподвижные и очень дремучие глаза, полные неотвязной думы. Что бы она ни говорила, глаза не участвовали не жили ее словами. Только когда в разговоре она касалась сыновей, на ее мном дне ее взгляда будто открывалась створка и пропускала свет души.

Она сказала сумрачным голосом:

— Спасибо за заботу. Да я бы с Клашей сама. Вон вы какая теперь молодежь, не хуже сыновей моих.

Отойдя от комода, она положила на стол три карточки.

— Петр, — сказала она, — семнадцатого года рождения. Василий, девятидцатого года. А это невестка Нина Ополова, тоже в армии, в Крыму.

И темными своими глазами, сейчас согретыми светом души, стала глядеть Кате в лицо, искать сочувствия своей любви к детям, которая оттого, что сыновей уже не было на свете, стала тужить и горше, и нерушимей: сыновья ее папгероями, они уже ни в чем не могли измениться, и это давало матери власть требовать от других то же, что сделал ее сыновья.

К весне Катя стала перевыполнять норму. Как это случилось, она поняла только позже. В училище, как говорила воспитатель Апкин, «резво катились колесики». Но летом колесики опять стали выскакивать из колеи. Проявилось, по слову Ловягина, состояние «чорт-ни-братства». Охатов поймал немца. И прилетел на самолете из Москвы Башлыков.

X

Когда Евсей Корнейч Ловягин вошел в кабинет помполита, там, кроме товарища Апкина, сидел член коллегии наркомата Алексей Иванович Башлыков.

В свое время Евсей Корнейч видел Башлыкова на канале Москва—Волга, и видел в минуту ярости. А в ярости Башлыков замыкался и делался вежлив до той нестерпимости, когда виноватому лучше не жить, чем слушать эти отточенно утивые слова.

Башлыков был человеком атлетического сложения, высокий, бесшумный, синеглазый. Его русые волосы не лежали на голове, а как бы струились: так были мерки и волнисты. Всё тяжелое, что дове-

лось ему пережить, отпечателось у него в подглазниках: здесь кожа была темна и порезана мелкими частыми морщинками, лоб, щеки, выразительный подбородок — чисты и моложавы

— Мастер Ловягин? — спросил Башлыков, остановив на Евсее Корнейче свои глаза, такие синие, что с непривычки хотелось им удивляться.

Ловягин ответил, поглаживая полу спецовки:

— Точно.

— Говорят, детали к автоматам делаете, наших речников помогаете вооружать?

— Точно. Помогаем.

— Почему в токарном эту неделю точный график ото дня ко дню все хуже?

«Не во-время залетел, — подумал Ловягин, — что бы ему неделкой попозже! У меня не объективные причины, у меня тут психология развелась».

Апкин, сутулый, с огромными кистями рук, заметно робеющий, вмешался:

— У них там, в одной группе, станки начали дробить. А начали дробить потому, что старые. Где мы брали станки? Мы их собирали, как милостыню. Что да-йт, то и клади в торбу.

Башлыков медленно посмотрел на него, потом перевел глаза на Ловягина.

Спросил:

— Это верно?

— Что станки старые, это верно.

— А что ребята разболтались, это тоже верно?

— Точно.

— Причина?

— Психологическая причина.

— Охахон из ума не выходит? Всем хочется немцев ловить?

— И это.

— А основное?

— Основное здесь то, — бережным голосом сказал Ловягин, — что ребята у нас сборные. От одной матки, да не одни ребятки. Здешние ребята, дети водников, из калиброванного металла, можно сказать. А вот те ребята, которых я привез, те ребята зыбкие. Говоря попросту, как что случится, так они реагируют болезненно.

Апкин потер свои красные руки, буркнул:

— На общежитие еще кредитов нет, плохое общежитие. И питание.

— Это верно? — спросил Башлыков, переведя глаза на Ловягина.

— Что питание неважное, это верно.

— А еще?

— Да вот этот случай с капитаном Садовым...

Договорить ему не дали: в дверь раздался стук. Негромкий, но уверенный.

— Нельзя, нечего, нечего! — крикнул Апкин.

Глаза Башлыкова остановились на

дверной ручке, которая стала качаться вправо и влево. В комнате на минуту наступила тишина. Тотчас же в нее ворвалось хоровое пенье токарных станков. Где-то, гогоча и постукивая ногами, пробежали дети. Кончилась смена. Апкин, из-под бровей поглядел на Башлыкова, ринулся к двери, открыл ее на самую малость и высунул в щель голову. На штанах его, сзади, стали видны латки, поставленные в порядке мужской самодеятельности. Поглядишь на эти латки, и сразу видно: либо вдов человек, либо холост, либо в давней разлуке с женою.

— Это что за новости? — спросил Апкин в дверной щели.

За дверь отвечали что-то невнятно.

— Это один ученик мой, самый лучший, — сказал Ловягин с горделивой усмешкой. — Мастер у новичков.

— Позовите-ка мастера! — сказал Башлыков в сторону Апкина, несильно повысив голос.

Апкин испуганно повернулся, сказал:

— Вот какие вычурь! Целая депутация к вам от учеников, Алексей Иванович!

— Я об этих настроениях ребят слышан, — сказал Ловягин все так же горделиво. — Дети. У них всё на высокий голос. Их психологией пренебрегать нельзя.

Башлыков улыбнулся одними глазами, поднялся и встал над столом, всю тяжесть большого тела навалившись на упертые в стол руки.

— Не будем пренебрегать их психологией, — сказал он весело. — Впустите мастера.

Апкин стесненно посторонился. Вошла Клаша Машина, надменно сложила руки на животе — ладонь в ладонь, сжала пальцы.

— Это мастер? — спросил Башлыков.

— Мастер, — ответил Ловягин, усмехнувшись.

— Я мастер Машина, — проговорила девчонка.

— Д-да, — сказал Башлыков.

И оглядел ее всю с головного платочка до голых ног, обутых в башмаки с блестящими пуговицами. Здесь Клаша Машина поджала под юбку правую ногу, на которой рубином налился комар, — нет мочи терпеть! Башлыков перевел свои молчаливые глаза на лицо дезочки, на ее чопорно сложенные губы, на остренький нос, красный от веснушек. Клаша Машина побледнела в смущении и сурово повела бровями.

А Башлыков, как это случается с людьми, чувствующими сильно и широко, вдруг помолодел, загорелся. Даже из-под глаз ушла тень. Он почувствовал во всем теле веселую легкость.

Он спросил Клашу Машину, сколько ей лет.

Но она всё еще продолжала пыхтеть и

смущаться, а потом, не отвечая Башлыкову, обернулась к двери и крикнула властно:

— Чего же вы, ребята? Входите, можно, ничего.

Вошли Выручалкин и Катя. Паренек — длинный, рыжий, плечи костлявые, пальцы на руках цепкие. Девочка — светленькая и чистенькая, как водичка. Видно было, что каждый из них сам по себе, что они не дружат. Евсей Корнеич сказал, что это двухсотники, способные ребята. «Главное, Выручалкин социально поврежденный», — заметил Апкин убийственно невпопад. Выручалкин так глянул на него, будто вонзил ножик в самую глотку. «Эх ты, Апкин-Арапкин!» — сказал Евсей Корнеич по виду добродушно и поморщился.

Башлыков велел ребятам сесть, но они не сели, потому что были уверены, что делегаты должны стоять до тех пор, пока не выскажут волю пославших их ребят.

— Ну, вот, товарищи передовики, — сказал Башлыков, стоя посреди них, — вы против всякого попущения во время войны. Это хорошо. А сами? Капитана Садового осуждаете, это верное чувство. Зачем у себя дисциплину ослабили? Ты, мастер Машина, — почему твоя группа начинает сдавать?

Глядя Башлыкову прямо в глаза, Клаша Машина стала говорить быстрым говорком:

— Ребята недовольны капитаном Садовым. Мы говорили товарищу Апкину, а он, скажите пожалуйста, говорит: «Это не ваше дело, чего вы всовываетесь, в это пусть всовывается наркомат речного флота». Но ребята волнуются. Мы капитана Садового всегда уважали. Пусть он объяснит нам и даст обязательство, иначе мы его вооружать не хотим.

Она вздохнула, потом сказала самой себе: «Всё!» и вдруг почувствовала раскрепощенье всего тела, переступила с ноги на ногу и, помахывая руками, как при ходьбе, стала глядеть на Башлыкова и ждать, что он скажет.

Выручалкин стоял, насупись. На Катя лица не было: то бледнела, то вспыхивала полымем. Апкин томился, не зная, к худу всё это или к добру.

Ловягин тихо пошагивал вдоль стены, глядел то на потолок, то на пол, из-за стены шло ровное жужжанье станков, и почему-то казалось, что и Ловягин жужжит, как станок в работе.

Башлыков вышел из-за стола, покрыл плечо Клаши Машиной своей большой ладонью, рывком прижал ее к себе, так что платочек свалился с головы Клаши на шею.

— Тебе сколько лет, мастер?

— Четырнадцатый.

— А капитану Садовому?

— Не знаю. Ему гораздо больше.

— Ему шестьдесят три.

— Что ж такого! — сказала Клаша Машина.

— Сколько времени ты работаешь у станка?

— Восемь месяцев.

— А капитан Садовый сколько лет плавает?

— Не знаю. Побольше плавает, чем я у станка. Что ж такого!

— Сорок шесть лет он плавает. И хорошо плавает. Как ты думаешь, за сорок шесть лет мог человек один единственный раз не совладеть с собой? Ты так рассуди, мастер. Парохода он не покинул. Почему? Помешала команда. А кто воспитал эту команду? Воспитал ее капитан Садовый своим примером, своими выслугами; она плоть от плоти его, дух от духа. Он был близок к тому, чтобы сделать ошибку, но ему не дали. Собственные его дела не дали ему сделать ошибки в той мере, когда ее уже нельзя поправить. Так можно ли за одну ошибку, которую он, конечно, испулит, зачеркнуть сорок шесть лет храброй и честной работы? К тому же он не покинул своего поста, он оставался на своем посту до самого конца бомбежки. Вам известно это? Вот о чем подумай, мастер.

Выручалкин качнулся всем телом в сторону Башлыкова, но шага не сделал. И глаз не поднял. Показав белые зубы, он сказал глуховатым голосом:

— Когда у человека слава хороша, так он и в нехорошем хорош. А когда у него слава плоха, то, уж пиши пропало, хоть сердце напополам, всё нехорош будешь.

Башлыков внимательно посмотрел на него, потом на Апкина.

Апкин воскликнул с воодушевлением:

— Не по-советски думаешь, Выручалкин! Ты слушай, что товарищ Башлыков говорит.

— Товарищу Башлыкову нетрудно говорить, — сказал Выручалкин с усмешкой, — товарищ Башлыков большой начальник. Не мне с ним в шашки играть.

— Выйди из кабинета, Выручалкин! — не сдержавшись, закричал Апкин. Кожа на его лице налилась не розовым, а каким-то желтым румянцем, впадающим в коричневый тон.

Башлыков протянул руку и вежливо тронул Апкина за локоть. Ловягин глянул на Башлыкова и обмер: тот был в гневе. Взгляд его посветлел, зальдился. Так и пахло от Башлыкова морозцем. Он вынул железную коробочку с табаком и ровно нарезанными бумажками для закурки, вежливо протянул ее Апкину.

— Самый недисциплинированный у нас подросток, всех подначивает, — сказал Апкин тоном пониже, двумя пальцами взял бумажку, насыпал табаку, скрутил, послонил папироску бледным

языком. — Но работать может, когда хочет, — сказал он, остывая, всунул папироску в зубы.

Башлыков высек из зажигалки огонь, вежливо поднес ее к лицу Апкина.

Папироса в зубах Апкина ходила, как маятник. Наконец, он поймал ею огонь, сладострастно затянулся. Башлыков протянул коробочку Выручалкину.

Спросил:

— Куришь? Кури.

— Курю, но свои, — сказал Выручалкин непримиримо.

Башлыков улыбнулся.

— Тогда угости, — сказал он, — твои, может, лучше.

Выручалкин сунул кулак в карман, поболтал там, проговорил с усмешкой:

— Все вышли.

Башлыков вытянул палец, мягко приложил его ко лбу Кати.

— А ты, девочка, что молчишь?

Катя подняла на него тревожные глаза, сказала:

— Капитан Садовый сам рассказал об этом, я знаю. Команда его не выдала бы. Я говорила ребятам, но они не все верят.

— Известно, эта эвакуированная у него на квартире живет, он с ней пайком делится, — проговорил Выручалкин неохотно, только затем, чтобы не уронить своей независимости.

— Он со мной не делится пайком, — тихо сказала Катя.

Башлыков внимательно посмотрел на нее.

— Решим так, ребята. Я с капитаном Садовым выдался, говорил. Он к себе строг, строже, чем вы к нему. Только, глядите, как бы не предъявил вам встречного счета. Ты что еще скажешь, девочка?

Катя вызвала в нем образ погибшей дочери, только сейчас он понял это. И сердце его стало расти и стонать, и задыхаться в тесноте грудной клетки. Дремлющее страдание словно только ждало этой встречи, чтобы очнуться и сверх края наполнить сердце. Башлыков уже не сдерживал себя. Открыто, не таясь, он смотрел на глаза девочки, так дивно похожие на глаза его дочери, на губы Кати, на мягкую ямку под нижней губой, полную розовой тени. Он взял голову Кати в ладони и медленно запрокинул ее.

— Что же ты скажешь, девочка? — повторил он, чтобы еще раз услышать ее голос.

Катя опустила глаза, угадав, что в душе его происходит таинство большого чувства.

Она сказала:

— Вы, наверное, очень хороший человек, товарищ Башлыков.

Он вдруг повернул ее спиной к себе, мягко толкнул ладонью в лопатки. Ей показалось, что он смутился.

Так же, как и ее, он подтолкнул к двери Выручалкина и Клашу Машину, говоря:

— Идите, ребята, идите. Я буду у вас в цехе.

А уже за дверью она услышала его сильные шаги. Это он шел к столу. И она испытала удовольствие при мысли, что еще увидит его.

XI

Семнадцатилетняя дочь Башлыкова гостила у бабушки под Белой Церковью, и там война настигла ее. Около года он не имел о ней вести. Но каждую минуту, где бы он ни был и что бы ни делал, он чувствовал ее присутствие возле себя: слышал ветер ее движений, шопот ее платья, легкий стукоток ее ногтей по книге, когда она читает, заложив ногу за ногу и держа книгу на колене.

Потом друзья осторожно показали ему фотографию, отобранную у пленного эсэсовца. Отличный иенский анастigmat, острый, как нож, вырезал на снимке изображение повешенной девушки, и эта девушка была его дочь. Грудь ее была раскрыта, и тело ее было изожжено плетью, и рот ее был разъят судорогой смерти, и душа отлетела от ее тела.

Он не слышал слов ее, последних в этой жизни. Он сочинил эти слова за нее, эти слова были: «Вы подавитесь землей нашей, и она задушит вас!» — он знал свою дочь, и ему нетрудно было сочинить эти слова и поверить в то, что они были ею сказаны.

Ощущение близости с дочерью не только не умерло в нем, но усилилось. Только теперь он не слышал шопота платья, о которое при ходьбе бьют ее легкие колени. Он видел ее тело таким, каким оно было на карточке, поруганным изуверской насильственной смертью, он ощущал теплоту этого тела, боль его ран, его нехотеные смерти, его навеки сломанную красоту.

И предсмертные слова дочери всегда были у него на слуху.

Еще до войны его прозвали аварийным Башлыковым. В этом прозвании — двусмыслица. Можно понять и так, что появлению Башлыкова сопутствуют аварии. Но как и во всякой двусмыслице, когда она вращается в жизнь, остается только тот смысл, который ей хотят придавать люди, так и в этой двусмыслице осталась только одна ее сторона: где ни случись беда, Башлыков — там. Прорвет ли шлюзы, оя — там; осыпь ли подавит людей на расчистке дна внутреннего моря, он — там; трещит ли в весенней подвижке льда караван судов, зазимовавший посередь реки, он — там.

На Ладоге он спасал людей с барж, разбитых фашистскими бомбами. Под сумеречным небом севера он хоронил

трупы партизан. Он видел на Днепре спаленные села и жирных стервятников в ленивом полете над полями смерти. Он видел тысячи людей в тылу, бежавших от немцев, ограбленных, в сносках, в отребье, накинутом на обмерзшие тела, видел нетопленные бараки, просвистанные ветром, очереди у столовых, осиротевшие семьи — лицо великой страны, вчера строившей счастье мира, а сегодня бессовестно и нагло ввергнутой в страданье войны.

Но нет, не страданье было лицом страны, а иступленный отпор и упорное, под огнем врага, собиранье сил. Какая другая страна не содрогнулась бы от этого нашествия варваров, не дрогнула бы, не пала ниц — подстилкой под ноги покорителя? Советский народ был един — и потому он выстоял.

Миллионы девушек и юношей, миллионы подростков, уже не детей, но еще не юношей и не девушек, заступили место отцов и братьев внутри страны, чтобы построить победу. По колена в ноябрьской воде они прорубали дворы во льду, чтобы вывести в затон затертую баржу; они ходили шкитерами, помощниками капитанов, под фашистским огнем сидели на телефонных станциях и в радиобудках; они потоком живой силы влиялись в судоремонтные и судостроительные мастерские, на верфи и в затоны, они были связистами в партизанских отрядах речников.

Ощущение близости своей дочери, которой нет, которая убита, ни на час не покидало его. Она говорила ему: «Это мое поколение помогает вам. Возьмите его. Возьмите его труд, его детское мужество, его сердце, которое живет вперед, потому что взрослая ненависть до времени и срока растравила его. В наше время старики молодеют, молодежь мужает до срока, все мы вместе с вами, людьми воинского возраста, живем войной. Это мы говорим фашистам вместе с вами: «вы подавитесь землей нашей и она задушит вас».

XII

Днем Башлыков был у начальника пристани, говорил по селектору с Москвой, повидался с капитаном Садовым, который прозвел на него впечатление честного «речного волка», и опять вернулся в училище. Время сложилось так, как он втайне для себя хотел: он поспел к самому концу смены.

Катя весь день не шла у него из головы.

В подъезде училища стояли два дежурных ученика с винтовками. Башлыков медленно поднялся по каменным ступенькам — ребята на него и не взглянули. Оба курносые, одного роста, трюшко у первого глаза колючие, а у второго задушевные.

Колючий парнишка держал винтовку за ствол, ложе ее упиралось в дверь, мешая проходу. Задушевный опирался на свою винтовку, как солдат на картинку.

— Он ему подножку дал, — оживленно говорил колючий, — немец и запахал мордой. Тут он ему на грудь. Стал пистолет из руки вырывать.

— Не подножку, — перебил задушевный, — а коленком под-душу.

— Да я сам Охахова спрашивал.

— Ничего ты не спрашивал.

— Да я спрашивал, — рассердился колючий, — спрашивал! Пистолет-то у немца на шнурке в ладонке был. Пока он стал его вынать, тут Охахов ему в зубы.

— Как же в зубы, — сказал задушевный, — как же в зубы? Сам говоришь — подножку.

— Сначала в зубы, а потом подножку. В зубы до той поры, как немец пистолет стал вынать, а подножку уж после этой поры.

Башлыков, поднявшись по лестнице, остановился и сказал:

— А ну-ка, стража, прими винтовку — пройти мешает.

Колючий обернулся к нему, задрал голову.

— Я так нарочно держу, чтоб мешала. К кому, гражданин?

— К главному мастеру Ловягину в цех.

— Документ есть?

Башлыков сунул руку в карман, достал документ. Колючий глянул на него безо всякого интереса. Было видно, что ему не до документа и он через силу старается припомнить, что еще полагается спросить. И еще было видно, что этот длинный дядя в зеленой гимнастерке мешает ему говорить об Охахове.

Башлыков спросил:

— Пропускаете?

Задушевный ответил солидно:

— Пропускаем, можете!

Колючий убрал свою винтовку от двери, и Башлыков вошел в коридор, полный солнечного света, лившегося в широкие окна, и пеня станков, работавших за стеной.

Здесь стенная газета, висевшая прямо против окон, еще раз напомнила ему об Охахове. Поистине, бакенщик был героем у ребят. Он изображен был в смертельной схватке с немцем, штаны у него синие, лицо розовое, а та рука, что бьет немца, — больше лица. Немец вышел голубой, хоть и был голый. Вероятно, вдохновенье живописца было нетерпеливо и помешало переменить краску, взятую для штанов Охахова, — кисть окунали в воду, да и ладно: чорт с ним, стараться для немца!

Не задерживаясь у стенгазеты, Башлыков пошел в цех. Все мысли его были заняты Катей. Он заметил, что она име-

на привычку улыбаться правым уголком рта, как и его дочь.

Не от этой ли привычки начиналось их сходство и не ею ли кончалось? Есть мысли мужчин, которых никому нельзя поведать. Башлыкову всегда казалось, что платья тех женщин, которых он любил, светятся легким, ясным, не горячим, мерцающим светом. Будто свечение их бытия переходило на легкие ткани, облегающие тело, и одушевляя, сообщало им этот нежный свет, видный только глазу любви. За всю жизнь он любил двух женщин: жену, рано умершую, и дочь. Природа этих обоих любовей была разная, но степень их силы одна. Он любил их втихомолку — даже от них самих.

Знали ли они, что были для него источником света, от которого он был так счастлив, что не мог взвесить этого счастья, потому что у него в руках, если бы он решился сделать это, нехватало бы сил удержать его?

Войдя в мастерскую, он увидел ряд станков, блеск металла в движении, густые тени и солнечный лоск на приводных ремнях, много полудетских рук, занятых работой, много голов, то склоненных, то откинутых назад, много глаз с выражением душевной глухоты ко всему, что не работа. Но все это оставалось на втором плане. На первом плане была Катя, которую он увидел сразу; будто не его глаза нашли ее, а ее маленькая фигурка нашла его глаза.

Он прошел вдоль станков и стал за ее спиной.

Она обернулась, коротко посмотрела на него и снова нагнулась над станком. Он увидел, что плечи ее в синей спецовке чувствуют его присутствие и рады ему. Спецовка на ней была легка, почти воздушна и светилась легким, почти воздушным, почти растворенным в воздухе светом.

И тенью мысли он понял, что страдание его близко к счастью или стоит где-то рядом с ним, но это было так неразрешимо, что он не стал для себя этого решать.

Потом он заметил два красных флажка, прикрепленных к станку Кати. Он стал внимательно рассматривать эти флажки, сделанные из гладко выточенных палочек и легких кусков материи, мягко повисшей вниз. Он долго думал, зачем эти флажки? Может быть, Катя приделаала их подобно тому, как девушки ставят цветок в стаканчике на свой рабочий стол (дочь его всегда делала так)? Но потом он понял, что давно знает значение этих флажков на станке, что значение их в том, что Катя уже выполнила за смену два дневных задания и что она двухсотница.

Подождал Ловягин в белом пиджаке, в

воротничке и галстухе, несмотря на жару, и стал говорить Башлыкову:

— Сегодня совсем хорошо, Алексей Иваныч. Правда, вон у Выручалкина сорвалась резьба у натяжного винта. Чуть не плачет парень.

Ловягин на работе был какой-то домашний, сухонький, и пахло от него осенним чистым сухим листом.

Башлыков пошел вместе с ним вдоль станков. То здесь, то там он видел красный флажок. Он постоял у станка, за которым Клаша Машина поправляла новичка. Она метнула на Башлыкова быстрые глаза, боясь, что он станет вмешиваться.

Но он не стал вмешиваться, а постоял возле нее молча и пошел дальше, слушая размышления Ловягина: тот размышляла вслух. Здесь работало поколение моложе его дочери, но это было все равно, все поколения страны стояли на военной работе, и ощущение народа, как огромной дружной семьи, опять родилось в нем, как оно рождалось десятки раз на дню.

Башлыков хотел расспросить Ловягина о Кате, но не сделал этого. Ему хотелось услышать о ней от нее самой. Когда кончилась смена, он быстро пошел к станку Кати и сказал, что они выйдут вместе.

Она ничего не ответила, сухим платочком вытирая повлажневшие ладошки. Кое-кто из ребят закричал Ловягину, что хочет остаться на следующую смену. Старик поспешил к ним, на ходу шевеля сухонькими кистями рук.

Клаша Машина сдержанно пробежала вслед за Ловягиным.

Башлыков услышал ее требовательный голос:

— Пока у Выручалкина не наладим, я из цеха не пойду!

— Поди ты подальше! — крикнул ей Выручалкин, — обойдусь без тебя. Поставили меня на барахольный станок, сорокам на потеху!

Катя стояла перед Башлыковым, просто и скромно опустив руки. Она сказала ему, что если он хочет идти с ней, то пусть подождет, пока она умоется. Он уже знал, что никогда не перестанет думать об этой девочке, ему вдруг представилось, что она сирота и может быть, захочет быть его дочерью. Но он не позволил себе об этом думать.

Но когда Катя ушла в умывальную, он все-таки думал об этом. Он сидел в коридоре под стенгазетой, разговаривал с ребятами, бойко окружившими его, и думал о том, что, может быть, Катя согласится назвать его отцом и уехать с ним. Паренек, несомненный украинец, краснощекий, с лучистыми глазами, очень чистенький и говоривший литературно, рассказывал ему о том, как бежал из-под Мелитополя, был на Донбассе.

был на Кузбассе, работал на оборонном заводе слесарем и освобожденным комсомольским секретарем. Ребята замолчали, любуясь пареньком и его плавной, будто из книжки вычитанной речью.

Башлыков тоже слушал его, а в сознании его, то угасая, то наполняясь светом, плыли картины воображения: глубокая ночь, синяя лампочка в черном мраке лестницы; он отпирает замок английским ключом, срыву дергает дверь; нельзя этого делать! — в комнате дочери постель не пуста; там кресло с гнутой спинкой радуется тому, что на его сиденье брошено сонное платье; там стены уже потеряли глухоту нежилой комнаты и слышно дыхание спящей; там коврик у постели сбит босой ногою, и складка его кажется одушевленной.

Башлыков мечтал! Ну, что же? Он встал, простился с ребятами и вышел на улицу мимо дежурных, которые, устав говорить об Охахове, стояли теперь в дверях неподвижно, любуясь своей выправкой.

Катя ждала Башлыкова на немощной панели. На ней было белое платье в коричневых веточках. Чулочки у нее были натянуты туго, как у экранных красавиц. А сношенные туфельки — в желтой песочной пыли.

Всё это Башлыков отметил. Он вдруг сообразил, что туфли дочери придется Кате впору — у дочери была совсем маленькая нога. Катя, слушая приближающиеся шаги Башлыкова, внимательно и серьезно смотрела на косую деревянную тумбу у края панели. Ветерок трепал крылатые воланчики на ее плечах.

Когда Башлыков подошел, Катя, не поднимая головы, пошла с ним рядом, помахивая левой рукой. И Башлыков вдруг понял, что не знает, как начать разговор.

— Я видел капитана Садового, — сказал он, — капитан придет к вам.

— Это хорошо.

— Нужно, чтобы вы поняли, что нельзя человека судить по одной минуте слабости. Если человек не хочет рисковать жизнью ради родины, тогда это — измена. А есть минутное замешательство, с непривычки. Тогда человеку нужно помочь победить в себе эту слабость.

— Я знаю это, — сказала Катя, — наши ребята очень чуткие, но только они страшно ненавидят немцев. Смотрите, здесь камень из земли торчит, не наступите: я однажды наступила и больно было.

— Хорошо, я не наступлю, — сказал Башлыков.

Они обошли камень каждый со своей стороны и снова сошлись вместе.

— Сегодня я вылетаю дальше, — проговорил Башлыков, — а мне хотелось

бы знать, как у вас здесь пойдут дела. Ты мне напишешь, Катя? Я здесь на бумайке пометил свой адрес.

Она молча кивнула головой. Он закусил два пальца в боковой кармашек и вынул листок бумаги. Катя взяла его, остановилась, чтобы прочитать. У нее нежно покраснели уши. Она два раза кивнула головой и зажала записку в кулачке.

Теперь они шли по набережной, под липами, и в глаза у них рябило от частой смены солнца и тени. Посреди реки, разнося лязг, работал земснаряд, весь сотрясаясь и дрожа от напряжения, как беговая лошадь, которую сняли с фальшстарта. Слышался горный грохот чепраков и визгливый скрип барабанов, и даже отсюда было видно, как напружинились цепи и как стеношащее длинное тело земснаряда от напряжения чуть погружается в воду.

Катя и Башлыков остановились у деревянной огородки.

— Здесь мы простимся, Катя, — медленно проговорил Башлыков.

Она ответила, по-привычке кивнув головой:

— Хорошо.

Сощура глаза, он смотрел на слаженный ход ковшей, сбрасывающих донную глину и камни в лоток. Ему показалось, что сейчас должно произойти что-то главное. Должна упасть боль, должно сверкнуть счастье. Сверкнуть и перейти в ровный свет, в живое тепло жизни. Он стал следить глазами за черным ковшом, вынырнувшим из воды, стараясь не потерять его из зиду и не спутать с другими ковшами. Ковш шел, подрагивая, но тяжело и в то же время бережно, словно нес не донный грунт, а скрытое страдание Башлыкова.

Когда он запрокинулся, освобождаясь от груза, Башлыкову стало легче, и он сказал, переводя дух:

— Я узнал, что твой отец убит в боях с фашистами, Катя. У меня тоже большая, большая потеря. Фашисты повесили мою дочь.

Она подняла на него глаза. Не глядя на нее, он чувствовал недетскую силу ее взгляда.

— Из родных у меня никого больше нет. А у тебя?

Она держала руки на деревянной перекладине огородки. Левая, с запиской, сжата в кулачок. На правой средний палец зашел за безымянный и, дрожа, сплелся с ним.

— У тебя есть родные?

— Я живу с мамой, — тихо сказала Катя.

И боль опять наполнила его. Ну, что ж! Ковш землечерпаки, обжевав назначенный круг, снова поднимался из воды, до края полный камней и мокрой глины.

Башлыков порывисто нагнулся, поцеловал Катю в волосы и быстро пошел по набережной, глядя перед собой холодными, спокойными глазами. Но еще долго на губах его, как нить бабьего лета, жило ощущение ее волос, и он долго не курил, чтобы не согнать этого ощущения прежде, чем оно не умерло само по себе.

XIII

Как с наступлением теплых дней в берегах начинается движение сока — сначала медленное, полусонное, потом все убаютающееся по мере возмужания солнца, — так на восходе юности во всем существе Кати начиналось движение жизненных сил. Почему я вижу зорче, чем вчера? Почему я слышу тоньше, чем вчера? Почему, если жалею, то жалею шире? Если ненавижу, то сильнее и глубже?

С первым дыханием весны в лесу разгорается жизнь. Заря румяна и свежа. Как ярко последний снег под елками, как жадно лиловеют на проталинках цветы волчьего лыка! Вставайте, подымайтесь, выходите на природу; капелла птиц и зверей дает свое первое представление! Без дирижера, без сыгровки, одним чистым вдохновением, великой жаждой бытия дает капелла свое представление! В глуши еловой сидит синица, тянет-потянет длинным голосом своим; и звенит, как струна под дробными ударами медиатора, смешной такой маленький, кругленький зяблик. А там передрались тетерева-черныши, брови махровые, голоса спесивые, фу-ты, ну-ты, что за повадка, что за спесь, что за вид! Чибис вьется над мочажиною, он влюблен в подружку свою, он ранен в самое сердце стрелой любви, стрелой звенящей. Заливаются птичьи голоса, začínается бег жизни. Зайцы-настовики, застигнутые зарей, нетерпеливой трусцой идут на лёжку, в те места, где никто не увидит, никто не услышит, никто не найдет.

Как в апрельском лесу начинается жизнь, так на восходе юности во всем существе Кати начиналось движение жизненных сил: птицами запевали первые чувства и толпились в душе, и были они слепы, но так своеобразны, что она спрашивала себя в смятении: кто я? откуда я? что во мне? зачем я?

Она искала бы ответы на эти вопросы всего своего существа, если бы ей не было так некогда. Но если бы у нее и было время, она не нашла бы ответа. Не в себе самой находит юность ответы на то сокровенное, что совершается в ней.

Перед тем, как писать письмо Башлыкову, Катя поставила на стол, в стакане воды, маленький пучок дрёмы. Ей ка-

залось, что если вокруг будет красиво, когда она станет писать письмо, то и Башлыкову будет приятно, хоть он и не будет этого знать. А если Башлыкову будет приятно, хоть он и не знает этого, то и Кате будет приятно оттого, что приятно ему.

Для писания Катя ушла в красный уголок, пустой в этот час. Чтобы никто не мешал писать письмо, она заперлась на ключ. В раскрытое окно видны поля, неясные, как далекая вода, как светлый дымок, как золотистый туман: там цветы и ошпылялись злаки. От большого света зрачки Кати сузились; вокруг них вспыхнули солнечные дужки.

Она была полна тихого одушевления. Она написала: «Уважаемый Алексей Иванович».

Ее сердце застучало, она написала еще лучше: «Уважаемый и дорогой Алексей Иванович».

Вздохнув, она поправила перекосившийся ворот платья и решила оставить слово «дорогой» при себе. В третий раз она написала так: «Уважаемый товарищ Алексей Иванович Башлыков!» Ей стало смешно. Она вспомнила, как Лиза писала свое объявление с предложением работы и всё перечеркивала, переправляла каждое слово.

Придвинув к себе стаканчик с дрёмой, она потерлась лбом о ее красные лепестки.

— Дрёмушка-дрёма, помоги мне быть умной.

«Письмо будет про дело, сказала дрёмушка-дрёма, — про все, как было. Что ты здесь все выдумываешь? Ты не выдумывай, а пиши».

Катя написала в один дух.

«Уважаемый товарищ Алексей Иванович Башлыков! На другой день, как вы улетели, капитан Сила Саввич Садовый пришел к нам к самому концу занятий, так что мы окружили его и повели во двор. Он был совсем спокойный, как всегда, и даже нарядный. При этом был еще наш мастер Ловягин, а товарища Апкина не было, потому что он ушел за билетами в кино-передвижку для нас, как будто нельзя было послать кого-нибудь из ребят. Ну, хорошо. После того, как вы с нами говорили, мы тактично спросили Силу Саввича, почему так с ним случилось. Сила Саввич посмотрел на нас молча, потом вынул свою трубку и закурил.

Мы очень любим Силу Саввича, и мы страшно волновались, а пришлые ребята молчали. Они же плохо знали Силу Саввича. Ну хорошо.

Сила Саввич велел всем сесть близко вокруг него и он будет говорить с нами, нам будет полезно слушать его, чтобы никогда не совершить такой ошибки, как он.

«Он сказал нам, что все мы родились накануне первой пятiletки и видели только свободный труд на самих себя. А его отец работал на заводе зверей-хозяина, толлок мусор и глину, бил балдой песок, пила дрова и работал огненную работу на сортовой машине. Он работал по семнадцати часов за сорок копеек в день и все его били, он был бесправный. Он тогда убежал на реку, а отец Силы Саввича был бурлаком, и сам он начинал с бурлака и всю жизнь до революции работал на хозяина.

«Он очень хорошо рассказывал. Наконец, он сказал, что ему-то лучше знать, чем нам, что такое советская родина для трудового человека. Он видел зверей-хозяев, а мы нет. Он прочитал стих Некрасова, как там хозяин мог сказать про себя: «Закон — мое желание, кулак — моя полиция, удар искросыпительный». Даже Выручалкин присмирел, когда Сила Саввич говорил про это. И потом он сказал, что мы сами выбираем себе работу по душе, чтобы помогать бить фашистов. Но он сказал, что это не значит, что мы не можем осудить его, если не знаем хозяев-злодеев. Мы новое поколение и должны осудить плохое как в себе, так и в старых людях. Он сказал, что по-вашему приказу, уважаемый товарищ Алексей Иванович Башлыков, он смещен в старшие помощники капитана, а капитаном назначен Леонид Садовый, очень храбрый человек, он совсем молодой, он мой друг, правда.

«Здесь все мы кричали «ура!» Я испугалась, что Силе Саввичу будет обидно слушать это «ура», но он ни сколько не обиделся, а все говорил: «Громче, громче кричите!» Ведь, оказывается, мы кричали ура не потому, что смещен Сила Саввич. Мы кричали «ура» потому, что назначен Леонид Садовый. После этого Клаша Машина вышла вперед и говорит, что от лица всей молодежи и от лица комсомольской организации надеется, что Сила Саввич скоро будет восстановлен как самый хороший капитан на реке. Мы опять кричали «ура». А после этого Сила Саввич стал ругать нас за дефекты работы и плохую дисциплину. Потом очень хорошо говорил мастер Ловягин, но про это писать очень длинно.

«Ну, хорошо. Вот и всё, что вы хотели, чтоб я вам написала. Когда т. Алкин узнал, что я вам буду писать, он сказал, чтобы я написала про улучшения в нашем училище. Но вы ведь просили написать только про Силу Саввича, и я вам написала. Уважающая вас Катя».

Она устала и положила голову щекой на стол. Смотрела сбоку на хвостики дрёмы, плавающие в воде, на солнечный луч, пробивший стекло стакана. Одушевление ее не прошло, а только как-то смирилось. Письмо не получилось таким,

как она думала. Оно было несвободное.

Потом она резко подняла голову, выпрямилась. Глаза ее посуровели. Она написала в конце письма:

«Ответьте мне, Алексей Иванович, почему вы огорчились тогда, на набережной, когда я сказала вам, что живу с мамой. Вам, вероятно, рассказали, что мама нигде не работает во время войны. Это правда, но она очень мучится из-за папы. У нас скоро будут концерты, и маму возьмут пианисткой».

XIV

В воскресные дни вставали рано. Еще вся невнятная после сна, Катя открывала толстые ставенки. В стеклянный абажур лампы впечатывались сияющие квадратики окон. Красные и синие ворсинки на скатерти светились, как паутинки вольфрама. Все вещи шурились на чистый и ясный свет утра.

Если Садовые были в рейсе, то весь дом и весь двор оставались на Лизе и Кате. Обе они, в одних рубашках, бежали в дровяной сарайчик и окатывали друг друга ледяной водой из шайки. С обожженными холодом плечами Катя прыгала по земляному полу, скользкому от воды. Она ребячилась, как в довоенные дни, а детство ее теперь казалось Лизе далекой старинкой.

Потом Катя разом стихала, садилась на поленья и с уважением и легким страхом начинала рассматривать свое тело. С некоторых пор оно стало занимать ее. Оно жило по своим законам, которых Катя не знала, и ей казалось, что оно живет отдельно от нее и в чем-то сокровенном, в чем-то самом главном не подчиняется ей. И хотя Катя по своему желанию могла двигать руками и ногами, могла говорить или молчать, сидеть или лежать, все же тело жило своей отдельной от нее жизнью, оно росло помимо ее хотения, сердце билось помимо ее хотения и могло остановиться и умереть тоже помимо ее хотения.

Ее тело не было так стройно, как у Лизы, оно было еще угловато и неуклюже и еще не умело с легкой свободой двигаться в пространстве, но в нем, несмотря на то, что сердце уже имело опыт горя, жила томительная радость. И Катя не знала, хорошо это или постыдно, и нужно ли радоваться этой радости, или скрывать ее. Она смотрела на тонкие руки Лизы, поднявшие высоко над головой круглую шайку: из шайки на склоненную шею бежит струя веселой воды, разбивается о плечи, стекает по спине. И можно ли, чтобы руки немецких солдат схватили это тело, и стали бить его, истязать, мучить и потом убили бы его совсем, как дочь Алексея Ивановича, как Зою Космодемьян-

скую, — это тело, которое не подчиняется самой Лизе в чем-то самом главном? Можно ли, чтобы немецкие солдаты имели полную власть над ним?

Она знала, что, оказывается, можно, потому что видела трупы, неистово разорванные на кровавые куски немецкими бомбами. Но этого не должно, не должно быть! Чувство любви к Лизе переполняло ее. Она подкрадывалась сзади и, вдруг обняв, начинала целовать мать. Лиза притворно вскрикивала, роняла шайку.

Потом они одевались, и воскресный день начинался. Они кормили Штурмана, разговаривая с ним о том и о сем. Еж вылезал из-под дома, смотрел на них капельками своих глаз. Они кормили ежа. Катя работала споро, со вкусом к хозяйству. Босые ноги носили ее по всему двору, мяли траву, давили дудочки трубоцвета, затянувшего ступеньки крыльца. Лиза старалась спеть за ней, и никогда в эти воскресные утренние часы не думала о своем горе, как не думаешь о своей тени, хотя знаешь, что она неотступно с тобой.

Потом после завтрака, Катя оставляла Лизу сторожить дом и уходила в лес.

Здесь, вблизи поселка, лес был родной, каждое дерево знакомо и каждая тропинка хожена. На опушке бродили совхозные кони с путом на передних ногах. Говорили, что с войною в лесу появились волки, но на песке, у родничков, Катя никогда не видела их следов.

А дальше в лес не ходи! Сосны и ели стояли вперемежку — и еще какие-то деревья, похожие на ивы, но ' не ивы — они сплетались ветвями, будто поддерживали друг друга, будто сговаривались заманить человека и отдать его волкам. Боясь глубоко забрести в чащу, Катя надламывала на деревьях ветки, чтобы по ним найти дорогу назад. Дойдя до родника, она садилась на бережку и спускала ноги в воду. С легким звоном вода билась ее по икрам, удивляя своей силой.

Шла июльская лесная ярмарка: стрекот кузнечиков, и разнообразный птичий язык, и плавный шум сосен, и возня ветра в листве, и легкое или могучее поскрипывание мохнатых стволов составляли музыку, играющую без устали и вечно. Как и Лиза, Катя умела слушать музыку, разлитую в мире. Эта музыка звучала в ушах, а другая музыка возникала в глазах — музыка цвета и

света: осколки солнца в легкой струе родника, пестрый лист, парящий в воздухе, глухая зелень хвои, и розовая грудка сойки, и цветной пляшущий столбик мошкеры над травой.

Катя слушала и смотрела эту музыку, болтая ногами в ключевой воде. Всю неделю эта музыка от нее была скрыта. Действовал мир больших и грозных вещей, сводок Информбюро, тревог за работу, за то, что училище не сдаст заказа в срок — мир маленьких, средних и больших событий. Там все было большое, в этом мире, и порой ей казалось, что она надорвется, не выдержит этого большого мира. Тише, тише.. Кто это знает? Кто это должен знать? Надо было так держать себя с людьми, взрослыми и сверстниками, чтобы они не видели ее слабости. Она боялась человеческой жалости. За жалостью следом всегда идет равнодушие.

Так было с комендантом на барже, когда они плыли из Ленинграда. Он сначала жалел Лизу, потому что она ничего не умела, кроме как терпеть. Однажды он ей даже принес щи в манерке. А потом ему надоело — перестал замечать Лизу. И Катя слышала ночью, как он говорил у борта какому-то старику-беженцу, кутавшему голову в стеганое одеяло:

— Признаться, не люблю человеческой трухлявости. Сейчас война. Нужны стойкие люди. А человеческая трухлявость — это балласт.

В эту ночь, сидя возле матери, которая спала, подложив кулачок под щеку, на папином старом пледе, Катя навеки забыла все свои детские домашние слова.

Мать пошевелилась во сне, открыла глаза, попросила:

— У тебя нет воды?

— Потерпи, Лиза, — ответила Катя, дуя в кулачки, — чтобы принести воды, нужно пройти через много спящих людей, они устали.

Глаза у матери открылись еще шире:

— Как, как ты сказала, Катя?

— Я сказала: потерпи.

— Нет, как ты назвала меня?

— Я сказала: потерпи, Лиза.

Мать не улыбнулась, уронила голову, головой прижалась к катиным коленям. Трюм был полной дыхания спящих людей, их храпом, их бредом, и слышно было, как вдалеке на буксире усердно трудится машина.

Продолжение следует

ЗАТЕМНЕНИЕ В ГРЭТЛИ

*Повесть о военном времени и для военного времени**

Перевод с английского М. Е. Абкиной

ДЖОН Б. ПРИСТАИ



Было ясно, что она не обратила внимания на эту условную фразу и, значит, не связана ни с Отделом контршпионажа, ни с Особым отделом, ни с военной разведкой. Теперь надо было выяснить, как попала к ней зажигалка Олни.

— Мой приятель, — продолжал я (а она безмятежно смотрела мне в лицо), — мой приятель сам делает эти зажигалки, и они редко попадают в продажу. Держу пари, что вы не купили свою.

— Нет. — Она беголо улыбнулась. — Мне ее подарили — прелестный сюрприз! — вчера вечером.

Я старался не выдать своего волнения.

— А кто подарил?

Она не нашла мой вопрос неуместным. Наоборот — была довольна.

— Дерек Мюр — вы, ведь, его знаете? Вон тот высокий командир эскадрильи, что танцует с толстушкой в зеленом.

Я посмотрел на командира — это был один из всегда сопровождавших ее поклонников. Я не сомневался в том, что она сказала правду. И, сказав ее, задала мне нелегкую задачу. Я был убежден, что это зажигалка Олни. Откуда взял ее летчик? Придется его допросить — и сделать это тактично, так, чтобы он не догадался, что кроется за всем этим. Но когда и как подойти к нему, не вызвав подозрений у миссис Джесмонд? В то время, как я думал об этом, подошла официантка, спросила, я ли Нейланд, и сунула мне в руки записку. Миссис Джесмонд это видела, конечно, и, когда я, извинившись, стал читать записку, губы ее сложились в ту презрительную усмешку, которой большинство женщин встречает всякое доказательство интриги, в которой замешана другая женщина. Но, быть может, я и ошибался. Может быть, она просто подумала, что я — болван, и больше ничего.

В записке было сказано: «Комната 37. Как можно скорее. Ш. К.» И это могло означать только одно, — что Шейла Кэстлсайд желает видеть меня немедленно наверху, в комнате № 37. Я бросил взгляд вокруг — Шейлы нигде не было. Следовательно, она уже пошла наверх. Мисс Экстон все еще величественно вальсировала в объятиях летчика. Я повернулся к миссис Джесмонд и объяснил, довольно неубедительно, что мне необходимо уйти, чтобы заказать междугородный разговор.

— Разумеется, пожалуйста. Но смотрите, не попадите в беду, — добавила она с улыбкой.

— В беду? — удивился я, вставая. — С какой стати?

— Не знаю. Иной раз эти междугородные телефонные разговоры причиняют людям большие неприятности. Так что будьте осторожны.

Наверху было очень тихо, я не встретил ни единого человека. Коридоры были плохо освещены, и я бродил здесь несколько минут, разыскивая номер 37. Он был в конце коридора. Казалось, десятки миль отделяют этот тускло-освещенный и уединенный уголок от всего остального мира. Я постучал и вошел. Это оказалась не гостиная, а спальня, и Шейлы здесь не было. В этой комнате, очевидно, никто не жил, но она была ярко освещена, и электрическую печь, видимо, включили с четверть часа тому назад, так как она уже сильно накалилась и в комнате было очень тепло. Двухспальная кровать была покрыта стеганым пуховым одеялом густо-розового цвета, и вокруг все было розовое, так что комната производила впечатление «дамской» и притом очень дурного тона. По одну сторону электрической печи стоял диванчик, по другую — кресло-качалка. Здесь можно было, конечно, посидеть и поговорить, но эта комната в интимно-розовеющих шел-

* Окончание. Начало см «Новый мир» № 5—6.

как недвусмысленно говорила о том, что она ждет от вас совершенно иного.

Сразу почувствовав это, я стоял на пороге, спрашивая себя, не ошибся ли кто-нибудь из нас, — я или Шейла, — не перепутал ли номер.

Через минуту влетела Шейла — так стремительно, что дверь за нею с треском захлопнулась, — и, разглядев комнату, в которой мы находились, свирепо набросилась на меня.

— Господи! Да вы в своем уме? — Привести меня в такое место!

В это мгновение я услышал, как что-то тихо щелкнуло: нас заперли снаружи. Шейла тоже услышала этот звук и немедленно кинулась открывать дверь.

— Одну минуту, — остановил я ее спокойно, когда она уже было открыла рот, чтобы снова заорать на меня. — Погодите устраивать сцену. Взгляните-ка на это! — Я показал ей полученную от нее записку.

— А мне передали записку от вас, — ахнула она. — Где же она?... Ах, да, я ее разорвала. Но вам бы следовало знать, что это совсем не мой почерк!

Я не стал спрашивать, почему собственно она полагает, что я должен знать ее почерк. Нужно было прежде всего ее успокоить. Может быть, тот, кто все это подстроил, именно и рассчитывает, что Шейла начнет скандалить, шуметь, колотить в дверь и таким образом все узнают, что мы были вдвоем в этой спальне.

— Послушайте, Шейла, — начал я. — Кто-то с умыслом послал нам фальшивые записки и теперь запер нас здесь. Не знаю, какая у него цель. Это или просто идиотская шутка, или что-нибудь похуже. Но самое лучшее отнестись к этому хладнокровно. Мы пришли сюда поговорить — так давайте поговорим. И не беспокойтесь — дело ограничится одним разговором, дальше этого я не пойду. Тем более, — добавил я, смеясь, — что ничто так не способно удержать человека от глупостей, как подобная спальня. Ее следовало бы показывать молодым людям, которые собираются постричься в монахи. Ну, присаживайтесь и перестаньте волноваться!

Мои слова произвели желательное действие. Шейла села на диван и, наблюдая, как я устраивался в качалке, вдруг засмеялась.

— Нехватает только новеньких чемоданов и конфетти на полу, — тогда все было бы точь-в-точь, как начало свадебного путешествия.

— Ну, а на самом деле — ничего похожего на медовый месяц, — сказал я, не зная, с чего начать, потому что мне не хотелось слишком выдавать себя. Несколько минут мы оба молчали.

Совершенно неожиданно Шейла сказала:

— Поцелуйте меня.

Я выпучил глаза.

— Господи, помилуй! Минуту назад вы готовы были закатить истерику, а сейчас...

— А сейчас совсем другое дело, — перебила она нетерпеливо. — Я знаю, что через минуту вы будете говорить серьезно и, наверное, будете жестоки ко мне, а, несмотря на это, вы мне все-таки нравитесь и я буду спокойнее и увереннее, если вы меня поцелуете. Просто по-дружески, ласково — и все.

Я поцеловал ее «ласково и просто по-дружески», ибо мне безусловно хотелось, чтобы она была «спокойнее и увереннее». Но из предосторожности немедленно после этого ретировался в кресло. И даже закурил трубку.

— Ну-с, Шейла, — начал я. — Прежде всего имейте в виду, что все сказанное здесь должно остаться между нами. Согласны? Второе, что вы должны понять хорошенько, — это то, что меня ни капли не интересует ваша личная жизнь, и я не стал бы в нее вмешиваться просто ради собственного удовольствия.

— Я вам нравлюсь? — спросила она со свойственной ей ребяческой непоследовательностью.

— Да, Шейла, нравитесь.

— Я так и думала. Я вам нравлюсь, но вы меня не одобряете, так что ли?

— Да, что-то в этом роде, — сказал я, невольно улыбаясь. — Когда я вас увидел в первый раз в баре «Ягненка и Шеста», я сразу решил, что где-то уже встречал вас. Потом вспомнил, где, но на всякий случай проверил, навел справки (очень осторожно, под строгим секретом, так что вы не беспокойтесь) и теперь я знаю почти все.

— Вы, наверное, видели меня на пароходе Тихо-Океанской дороги, на «Герцогине Корнуэльской»? — спросила Шейла. Она внезапно стала похожа на тень самой себя.

— Да. Помню, один парень, с которым я подружился на этом пароходе, с ума сходил по вас. Вы работали там в дамской парикмахерской, кроме того, делали маникюр. И звали вас тогда Шейла Уиггит. Потом вы спутались с каким-то пассажиром, вышел скандал и вас прогнали со службы.

— И не в первый раз, поверьте, — сказала Шейла жалобно и в то же время с некоторым вызовом. — Другим девушкам все сходило с рук, а Шейле стоило споткнуться — и готово, сейчас начинались сплетни и ее выгоняли. Такая уж подлая судьба! И, можете мне верить или не верить, но очень много раз я лишалась места именно из-за того, что не хотела ответить «да». Мне как-то всегда попадались такие места. Началось это, когда мне исполнилось шестнадцать лет и я поступила в

кондитерскую. Хозяин, кажется, считал, что мы, девушки, — такая же его ответственность, как все в кондитерской... Как вас зовут? Гемфри? Так вот, Гемфри, не думайте, что я оправдываюсь, — но, говорю вам, мне не везло с самого начала. Отец скрылся, когда я была еще совсем маленькой. Ни сестер, ни братьев у меня не было, а мать была добрая, милая женщина, но отчаянная дура.

— Полно, Шейла, ведь, вы же не на суде. Ну, а что это за история с вдовством в Индии?

— Мне надоело быть тем, что я есть, и я решила превратиться в другую женщину — милую, чистую и печальную и, разумеется, из высшего круга. Вот я и шила себе красивые траурные платья и на последние десять фунтов сняла номер в Солчестерской гостинице, где много номеров было отведено офицерам. Я рассказала нескольким женщинам свою грустную историю — как я сразу после свадьбы уехала с мужем в Индию, и там он внезапно умер. К тому времени я уже и сама почти верила, что это правда, и не могла удержаться от слез всякий раз, когда рассказывала о своем несчастье. Недели через две я стала невестой Лайонеля, который верил каждому моему слову. У меня тогда уже не было ни гроша, — и я сочинила басню об умирающей старой тетке и уехала в Шотландию. Там я месяца два служила официанткой. Я написала Лайонелю, что тетюшка умерла, ничего не завещав мне, так как она потеряла все состояние. Но Лайонель все же женился на мне и потом мне оставалось только остерегаться, чтобы кто-нибудь, знающий мое прошлое, не уличил меня в обмане. Вы не можете себе представить, сколько приходится лгать и выдумывать, когда выдаешь себя за совершенно иного человека. Впрочем, меня это занимало. Часто, говоря о себе, я искренно считала себя другим человеком. Но бывали времена — особенно вот за последние несколько месяцев, — когда я чувствовала, что мне до чертиков надоело это глупое вранье. Часто меня так и подмывало бросить им всем в лицо, что никогда я не училась в Париже, не представлялась ко Двору, не ездила в Индию, что я ничтожная незаконнорожденная девчонка из предместья, что я была судомойкой, скребла прилавки, подавала работникам с ферм пиво...

— А что же худого в том, что вы подавали работникам пиво?

— Ничего, но пускай уж лучше это делают другие, — возразила, Шейла. — Вы себе не представляете, Гемфри, среди каких идиотских снобов я живу. Женщины, с которыми мне приходится встречаться (не здесь, а когда я хожу в гости

с Лайонелем), — это что-то невообразимо. Но приходится поддерживать все это. А сколько раз я бывала на волосок от гибели!

— Скажите откровенно, Шейла, — зачем вам нужно поддерживать эту ложь?

Мы, наконец, дошли до главного. Она минуту была в нерешимости, потом сказала медленно:

— Вы, конечно, можете объяснить это тем, что я не хочу, чтобы меня изобличили и чтобы мне пришлось опять маяться. Не буду вас разубеждать. Но есть и другая причина. Когда я выходила за Лайонеля, я не была влюблена в него. А теперь люблю. Хотя он не мешает мне носиться повсюду и кутить с другими, но я в его глазах все та же, какой казалась при первой встрече, — бедная милая малютка в трауре, у которой так трагично сложилась жизнь и которая так много плакала. Он никогда этого не забывает. Это для него — самое главное. И если он узнает, что я обманывала столько времени его и его родных, узнает все обо мне, — он мне никогда этого не простит. Наверное, и видеть меня больше никогда не захочет.

Она умокла, и в глазах ее я увидела слезы. Затем она начала тихонько всхлипывать. Подождав немного, я встал и положил ей руку на плечо, а она прижалась к этой руке мокрой щекой.

— Не огорчайтесь так, Шейла. И спасибо, что рассказали мне все.

— Все! О, Господи, да я могла бы рассказывать часами! И не благодарите меня. Честное слово, вы не знаете, какое это облегчение, — поговорить откровенно с другим человеком и перестать притворяться. Она уже успокоилась и взяла предложенную мною папиросу.

— Но зачем вы навели обо мне справки? Кто вы такой вообще?

— Обыкновенный человек, который в настоящее время болтается без дела, — ответил я. — Но вы можете мне верить. Теперь скажите мне вот что, Шейла. — Это очень важно: есть еще кто-нибудь, кто знает или догадывается, что ваш рассказы о своей жизни — сплошная выдумка?

Она попробовала схитрить.

— Кто же может об этом знать? — сказала она вызывающе.

Я сурово посмотрел на нее.

— Я сказал, что это очень важно. И будем попусту терять время. Шутники, которые заперли нас здесь, могут скоро притти. Говорите же — кто знает или догадывается?

Ее губы немного дрожали.

— Не понимаю, какое право вы имеете... что вам за дело?... Не ваша это забота...

— Ну, ладно, я открываю карты, —

сказал я веско, потому что нельзя было больше медлить. — Я здесь для того, чтобы помешать некоторым людям продавать родину. Эти гады-фашисты принуждают людей работать для них, пользуясь всякими средствами, между прочим — шантажем. Это значит, что они грозят разоблачением и, запугав человека, ловко используют свою власть над ним. Понятно?

Она кивнула головой.

— Вот оно что! Я чувствовала, что вы что-то скрываете.

— Дело не во мне. Суть в том, что я сразу заметил две вещи: во-первых, что вы притворяетесь, во-вторых, что вы чего-то боитесь, а значит, те, кого я ловлю, легко могут вас использовать. Ну, говорите же, Шейла. Время идет.

— Один человек определенно знает. И я думаю, что еще двое что-то подозревают. Эти двое — миссис Джесмонд и мистер Периго. Оба они так смотрят на меня и отпускают такие ехидные замечания... должно быть, догадываются.

— Так. Это меня не удивляет. Теперь — кто знает наверное?

— Джо. Здешний буфетчик. Оттого-то я всегда льщу ему и громко им восторгаюсь. Как в тот вечер, — помните? Я это делаю из страха. А на самом деле — его терпеть не могу.

— Требовал он от вас чего-нибудь за свое молчание?

— Пока не требовал, но ясно дал понять, что очень скоро потребует. Это было несколько дней тому назад. Он не сказал, что ему нужно, — и я так и не поняла, денег ли он намерен требовать, или... ну, сами знаете, чего. Он только предупредил меня, что не будет молчать больше, если его за это как-нибудь не вознаградят. И намекнул, что ему известно обо мне очень многое.

— Гм... — я колебался. Попросить ее, чтобы она заставила Джо показать карты? Раньше, чем я на что-нибудь решился, Шейла снова заговорила:

— Есть еще человек, знающий или подозревающий что-то. Я забыла о ней, потому что вижу ее реже, чем остальных. Но я думаю, лучше уж вам все сказать. Это — ваша долговязая блондинка, возлюбленная ваша мисс Экстон. Всякий раз, как эта женщина на меня взглянет, она точно говорит мне, что я у нее в руках. Откуда она могла узнать — не понимаю, хоть убейте. Но я готова поклясться, что она знает. Вот отчего я сказала вам, что ненавижу ее.

— А что, она часто здесь бывает? — спросил я. — Говорит она о «Трефовой даме», как о мало знакомом месте, а между тем сегодня я из какого-то замечания Джо заключил, что она — постоянная посетительница здешнего бара.

— Нет, я ее редко встречаю здесь, —

сказала Шейла и, соображая, прибавила: — Если она с Джо на короткой ноге, значит, они встречаются где-то в другом месте. Но только не похоже на то... Во всяком случае — я уже вам сказала — она жесносная гордычка... Вы, наверное, думаете, что ей Джо обо мне сказал? Который час?

— Начало одиннадцатого.

— Боже! Нам надо выбраться отсюда поскорее, — ахнула Шейла, вскочив с места. — Иначе кто-нибудь наслепничают Лайонелю, когда он вернется. Что делать? Хотела бы я знать, кто сыграл эту штуку с записками?

— Говорили вы что-нибудь на счет гостинной мисс Джесмонд, когда вы от меня подошли к ней?

— Говорила. Она, ведь, живет здесь и я подумала, что она мне укажет какое-нибудь подходящее место.

— Она не только живет здесь, — ей здесь все принадлежит. И я думаю, что эту штуку сыграла с нами она. Сделала она это отчасти по злобе...

— Говорила я вам, что она опасная женщина!

— А, может быть, и для того, чтобы скомпрометировать нас обоих и таким образом приобрести некоторую власть над нами, которая ей может пригодиться. Видите, — все тот же метод.

— Ладно, мистер Шерлок Холмс, скажите лучше, что теперь делать. Неужели придется кричать так, чтобы внизу услышали? Я не хочу...

Я подошел к двери.

— Все будет зависеть от того, оставлен ли ключ в замке, или нет, — сказал я, нагибаясь. — Кажется, торчит. А так как под дверью широкая щель, то это дело пустяковое... Ящики комода, наверное, выставлены бумагой. Взгляните, Шейла! Есть? Так оторвите клочок и дайте мне. Спасибо. Теперь я продаю старинный фокус: выйду из запертой комнаты.

— Вот это человек! — воскликнула Шейла, уже опять повеселев. И, если фокус был стар, то зато зрительница — неискушенная и восторженная. Затаив дыхание, наблюдала она, как я наполовину просунул под дверь листок плотной бумаги, потом железным стерженьком, которым прочищаю трубку, вытолкнул ключ из замочной скважины так, что он упал на бумагу, и сквозь ту же щель под дверью втащил бумагу вместе с ключом обратно в комнату. Ключ я вручил Шейле, а бумагу сунул обратно в ящик. Когда я снова подошел к двери, Шейла уже вставила ключ, но еще не повернула его.

— Я все еще не знаю, кто вы и что замышляете... и вы меня столько дней держали в страхе, — промолвила она, приблизив губы почти к самому моему уху. — И вы, собственно, не были даже со мной ласковы по-настоящему... и

мой Лайонель в десять раз красивее вас... Но я нахожу, что вы — прелесть!

И она обняла меня руками за шею и вцепилась мне в щеку сочным поцелуем, затем быстро отперла дверь и умчалась. Я не пошел за ней, потому что лучше было нам сойти вниз порознь. Минут пять простоял я за дверью, спрашивая себя, сколько еще женщин в Грэтли придется мне целовать в интересах дела. Ибо это было совсем не в моих привычках, в особенности теперь, когда я был в таком унынии, и уже совсем не молод, и ни на что не надеялся. Много позднее мне объяснила одна женщина (а ей лучше знать), почему мне, никогда не бывшему дон-жуаном, выпало вдруг на долю такое обилие поцелуев. Но это объяснение, несколько замысловатое, не относится к данной части моей биографии, так что не буду приводить его.

Я еще стоял у стены в розовой спальне, закуривая трубку, когда дверь бесшумно отворилась и передо мной предстала мисс Экстон, удивленная, повидимому, гораздо меньше, чем я.

— Что вы делаете здесь наверху?

— Курю и размышляю.

— Но почему именно здесь? Какая безобразная комната!

— Она не моя. Я просто занял ее на часок, чтобы покурить и подумать на свободе. Она любезно предоставлена мне здешними хозяевами.

— Мне миссис Джесмонд сказала, что я найду вас здесь.

— Миссис Джесмонд и есть хозяйка. Вам это известно? Большинство посетителей об этом не подозревает. А вы, мне кажется, знали.

— Знала, — ответила она сухо и снова оглядела комнату. Затем, без улыбки, посмотрела на меня.

— Вы казались такой счастливой, когда вальсировали внизу, что я не хотел вам мешать, — сказал я в виде оправдания. — Мне казалось, что танцы вы предпочитаете беседе, и я постарался, чтобы вы провели вечер так, как вам хочется. Пойдем вниз?

Она взяла меня под руку, когда мы шли полуосвещенным коридором.

— Я вас искала, чтобы сказать, что несколько летчиков и девушек едут сейчас в гости к командиру Сюлливену. Там, сегодня что-то вроде званого вечера — танцы под граммофон, выпивка и все такое. Меня приглашают ехать с ними, и вас тоже. Едем?

— Только не я, спасибо. Я люблю авиацию, но не в такой поздний час, и ни за какие деньги не согласился бы танцевать под граммофон. А вы поезжайте, конечно. Правда, я рассчитывал поболтать с вами....

— Я тоже. Если вам не хочется спать, мы сделаем это несколько позже. Я пое-

ду к Сюлливену на час, не больше. — Меня забавляют эти мальчишки, и я обожаю танцы. А вы тем временем отправляйтесь ко мне на квартиру, выпейте чего-нибудь и ждите меня. Я вернусь к половине двенадцатого. Один из летчиков отвезет меня в своей машине, но я, пожалуй, воздержусь от того, чтобы пригласить его наверх. Вот, возьмите ключ от черного хода. Как войти, вы знаете. Но входите как можно тише и незаметнее.

Она подарила меня долгим, значительным взглядом и я приложил все усилия к тому, чтобы достойно ответить на него и при этом иметь не слишком глупый вид.

— Чудесно, — сказал я. — Теперь еще одно... — Я сделал паузу. — Ужасно нелепо, что я до сих пор не знаю вашего имени. Не могу же я сейчас называть вас «мисс Экстон»!

Она согласилась, что это невозможно, и сказала, что ее зовут Диана.

— Как-раз такое имя, какое я бы выбрал для вас! — воскликнул я, и она вознаградила меня тем, что еще крепче оперлась на мою руку. — Теперь скажите, Диана, знакомы вы с летчиком по имени Дерек Мюр? Он еще здесь?

— Да. Он тоже едет на вечеринку. А в чем дело?

— Мне нужно сказать ему два слова, вот и все. Вы не откажете познакомить меня с ним?

Компания (в которой, как я заметил, не было Шейлы) уже собиралась уезжать, но Диана Экстон подозвала молодого Мюра и познакомила нас. Я отвел его в угол.

— Я хотел спросить два слова насчет зажигалки, которую вы подарили миссис Джесмонд.

Я видел, что ему это неприятно. По моему, он стыдился близости с миссис Джесмонд, которая годилась ему в матери.

— А какое вам до этого дело?

— Значит, есть дело, иначе я бы не спрашивал. Но меня интересует не то, что вы подарили ее миссис Джесмонд. Я хотел бы узнать, откуда вы ее взяли?

— Что ж, я не делаю из этого тайны, — сказал он с видимым облегчением. — Она принадлежала Джо, а я ее купил у него за пятнадцать шиллингов. Да вот кстати и он, можете у него спросить. Эй, Джо!

Джо в темном пальто проходил через вестибюль и, видимо, спешил. Но он обернулся на зов и подождал, пока мы подошли к нему.

— Это относительно зажигалки, которую вы мне продали, Джо, — сказал Мюр. — Вы уж тут без меня переговорите, друзья, потому что меня ждут.

Действительно, его звали товарищи,

обсуждавшие у выхода, кто с кем поедет. Я обменялся быстрым выразительным взглядом с улыбающейся Дианой. Она была, вероятно, лет на десять старше остальных женщин в их компании, но, рядом с ней, все они не стоили и десяти центов.

Джо был не очень-то доволен тем, что его задерживают, но сохранил обычную мину веселой предупредительности.

— Давайте покороче, если можно, — сказал он мне. — Потому что я сегодня здорово устал и мне еще надо кое-кого повидать. Если вы хотите такую же зажигалку, так я, к сожалению, не могу вам услужить.

— Миссис Джесмонд показала ее мне, — сказал я конфиденциальным тоном. — Дело-то в том, что я потерял такую точно зажигалку.

— Понимаю. — Джо тоже понизил голос. — Ну, а я нашел ее. Не здесь в ресторане, конечно, иначе я бы отдал ее управляющему. Я ее нашел раз утром на улице. У меня глаза зоркие, и я часто нахожу вещи, которых не заметили другие.

— Значит, это, наверное, моя и есть, — сказал я.

Но он с улыбкой покачал головой.

— Нет, не ваша.

Я вообразил, что поймал его.

— Да откуда вы знаете, Джо?

— Очень просто, мистер Нейлэнд. Вы когда приехали в Грэтли? Во вторник? Или в среду?

— В понедельник, — ответил я, не слышавшим собой довольный.

— А я нашел эту зажигалку в среду или в четверг на прошлой неделе. И держал ее целую неделю, на случай, если кто заявит о потере, — потому что это славная вещица, вы сами видели. Но до сих пор никто не заявлял ничего, и я вчера сужал ее курящим в баре, а мистер Мюр увидел и предложил мне за нее пятнадцать монет, я и продал просто, чтобы доставить ему удовольствие. Я отлично знал, что он с нею сделает. — Джо подмигнул мне. — Так что извините, мистер Нейлэнд. Теперь вы видите, как дело было. Вам еще что-нибудь угодно?

— Ровно ничего, Джо, — сказал я, стараясь казаться веселее, чем был в действительности. Он кивнул, ослабилась и поспешно вышел. Гости командира Сюлливена уже тоже ушли. Ни Шейлы, ни миссис Джесмонд не было видно, и незачем было торчать здесь дольше. К тому же последний автобус уходил через несколько минут. Я пришел к остановке на углу незадолго до его прибытия, так что все было в порядке. Дождь перестал, оставив после себя холодный, черный, губчатый туман, и казалось, что

автобус с трудом продирается сквозь него. Все мы сидели на своих местах, сгорбившись, с таким видом, словно жизнь уже покончила с нами. Но это только так казалось.

7.

«При прочих равных условиях», — как у нас принято выражаться, — я люблю делать то, что мне говорят. Поэтому, когда я, наконец, добрался до черного хода в квартире Дианы Экстон, я сделал так, как она мне наказала, то есть, вошел тихо, стараясь произвести как можно меньше шума. А, когда я заметил вдруг полоску света из-под двери гостиной, я стал подниматься по лестнице с еще большими предосторожностями и потратил добрых три минуты на то, чтобы одолеть ее. Впрочем, мужчина и женщина, голоса которых я слышал из-за двери, были, видимо, очень заняты разговором (он велся не на английском, а на каком-то неизвестном мне языке). И когда я, добравшись до верхней площадки, стремительно вошел в гостиную, я застал их врасплох: раньше, чем они успели отдать себе отчет в том, что они не одни, я уже стоял подле них и пристально разглядывал обоих. Они тут уютно расположились, и у них не было недостатка в напитках и папиросах.

Женщина была Фифин. Мужчину я видел впервые. Он был высок, статен, гладко выбрит. Его жесткие седые волосы щеткой поднимались над лбом, и на вид ему было лет около пятидесяти. Одну минуту он стоял и молча смотрел на меня. Но, как только я заговорил, он на моих глазах превратился в совершенно другого человека. Как будто кто-то стер губкой грим с лица и наложил другой — для роли человека более смиренного, незначительного и гораздо менее опасного. Это было сделано артистически, но только недостаточно быстро.

— Простите, если помешал, — сказал я гладко, без запинки. — Но мисс Экстон специально просила меня войти как можно тише. Мы обедали с нею в «Трэфовой даме», и, так как нам нужно поговорить кое-о-чем, она предложила мне ждать ее здесь, пока она потанцует еще часок в гостях.

Я начал снимать пальто, и мужчина кинулся помогать мне, как будто он годами ничем другим не занимался. Я предвидел, что объяснение последует от него, так как Фифин явно была ошеломлена. Лицо ее выражало сильнейшее смущение, и она не знала, как ей держать себя и что говорить. Я решил притти ей на помощь.

— Скажите, не вас я видел на этой

неделе в «Ипподроме»? — начал я, любезно ослабившись.

— Да, меня, — ответила она медленно, ломаным английским языком с резким гортанным выговором. — Я там выступаю. Что, понравилось?

— Очень, — сказал я. — Все только о вас и говорили. Ну с, так как мисс Экстон просила меня угощаться здесь без нее, я, пожалуй, составляю вам компанию.

Я протянул руку к бутылке брэнди, стоявшей на маленьком столике. Гости успели опустошить ее наполовину, и стаканы были еще недопиты.

— Разрешите мне, сэр, — сказал мужчина почтительно. Такое поведение, очевидно, было частью той роли, которую этот человек разыгрывал с первой минуты.

Он налил мне щедрую порцию брэнди и предупредительно подал стакан. Я сел, но он продолжал стоять. Когда я вторгся в гостиную, Фифин полулежала в кресле-качалке. Теперь она сидела очень прямо, на самом краешке. Я отхлебнул из стакана, весело и вопросительно посмотрел на нее, на него. Как я и ожидал, первым заговорил мужчина.

— Должен вам сказать, сэр... — начал он, с какой-то особой старательностью выговаривая английские слова, — что я служу тут по-соседству. Когда я был помоложе и еще не прихрамывал, как сейчас (это у меня после одного несчастного случая), я выступал в цирке и в водевилях. И в те времена я был не только хорошо знаком с этой лэди и ее родными — они все были артисты, как и я, — но и женат на ее старшей сестре.

— Выходит, что он ваш зять, — встала я, обращаясь к Фифин, и после моего дурацкого замечания она немного ободрилась. До этой минуты она казалась сильно обеспокоенной, сейчас она даже улыбнулась.

— И вы понимаете, — продолжал мужчина, — что у нас есть о чем поговорить. Но днем я занят своими обязанностями, а вечером она до позднего часа в театре. Я не могу позвать ее в дом моего хозяина, а ей неудобно принимать меня так поздно у себя.

— Нет, нет, это никак невозможно, — воскликнула Фифин и хотела еще что-то прибавить, но мужчина остановил её суровым взглядом.

— Я иногда бываю здесь, в лавке, с поручениями от хозяина, — продолжал он, — и как-то на днях рассказал мисс Экстон о нашем затруднительном положении...

— А она предложила вам обоим встретиться здесь в те вечера, когда она возвращается поздно, — подхватил я и затем, словно восхитенный собственной догад-

ливостью, прибавил: — А сегодня она, верно, забыла...

— Несомненно. Надеюсь, вы не сочтёте нас слишком бесцеремонными. — Он указал на бутылки и папиросы. — Мисс Экстон очень добра и сама предложила нам...

— Ну, понятно. Почему же нет? — Я поднёс стакан к губам. Мой собеседник снова бросил на Фифин быстрый взгляд и оба допили своё брэнди.

— Не убраться ли всё со стола? — спросил он.

— Нет, не трудитесь, — сказал я благодушно и дал им ясно понять, что, чем скорее они уйдут, тем лучше. Фифин застёгивала свою шубку, а её приятель надевал пальто. За эти несколько минут я успел хорошо рассмотреть его. Выражение его лица не соответствовало тону и манерам. Это было лицо человека жестокого, решительного и бессовестного. А, когда он, одёргивая пальто, наклонился немного вперёд, на левой щеке, ярко освещённой сверху, неожиданно выступил след рубца, незаметный раньше.

Перед самым уходом Фифин совершенно неожиданно сказала:

— А я видела вас вчера вечером в театре.

Голосом она владела хорошо, но во взгляде читалось плохо скрытое подозрение.

— Знаю, что видели. Я заходил к молодому Лерри, артисту вашей труппы. Мы с ним давнишние знакомые.

— Он плохой комический актёр.

— Ужасный. Ему не следовало итти на сцену.

— А я до сих пор жалею, что пришлось оставить сцену, — сказал человек со шрамом. Сейчас, в своём широком тёмном пальто и белом шелковом кашне, с мягкой чёрной шляпой в руке, он, несомненно, походил более на актёра, чем на лакея. — Вот была жизнь!.. Вы объясните всё мисс Экстон, сэр? Благодарю вас. Покойной ночи.

Как только внизу захлопнулась дверь, я отнёс стаканы в маленькую кухню, вымыл и вытер их и поставил на место. Затем высыпал из пепельницы окурки, переставил в прежнем порядке кресла, выключил верхний свет и устроил всё так, чтобы Диана подумала, что я сильно выпил, дожидаясь её. Бутылка брэнди, с которой они основательно расправились, стояла на видном месте, так же, как и мой стакан. Я решил не пить больше до прихода Дианы, так как настроение у меня было для этого совсем неподходящее, — и только, когда услышу её шаги, поскорее отхлебнуть большой глоток, чтобы произвести должное впечатление на Диану.

Итак, я закурил трубку и предался

размышлениям — главным образом об этом только-что ушедшем человеке. Было более чем вероятно, что это именно тот, кого искал Олни, «человек со следом глубокого шрама на левой щеке», о котором упоминалось в записной книжке. Возможно, что он сейчас подстерегает на улице Диану, чтобы сообщить ей о нашей встрече, но я вовсе не собирался идти вниз и проверять это, даже если бы и можно было увидеть что-нибудь в такой темноте. Я сделал другое: потушил лампу и открыл окно, чтобы немного проветрить комнату от табачного дыма. И, когда я опять закрыл окно, задернул занавеси и зажёл лампу, было уже около половины двенадцатого. Диана сказала, что вернётся к этому времени, а у меня уже составилось мнение, что в таких случаях она всегда аккуратна.

В нашей работе бывают моменты, когда, ещё не пустив в ход никаких средств, не имея в руках никаких прямых улик, вы чувствуете, что близится развязка. Такой момент наступил для меня сейчас. Чутьё мне подсказывало, что вот-вот начнётся бешеная скачка событий.

Я думал, что у Дианы есть второй ключ от чёрного хода, но оказалось, что нет. Мне пришлось сойти вниз и открыть ей. Выходя из комнаты, я отхлебнул порядочный глоток брэнди, так что, когда я, как полагается, крепко и порывисто поцеловал Диану у дверей, она сразу подумала, что я здорово выпил. Ну, и, конечно, не успела она войти в гостиную, как заметила состояние бутылки — будьте уверены, что ни от одной женщины такая вещь не укроется. Кроме того, волосы у меня были немного взъерошены, и, поднимаясь по лестнице, я нарочно задерживал дыхание, чтобы лицо покраснело.

Словом, я изображал подвыпившего человека, полусонного и в то же время возбуждённого.

— Ну, знаете! — воскликнула Диана, обманутая всем этим. — Вы, я вижу, не слишком скучали тут без меня, мой милый! — Она говорила тем лёгким, шутивым тоном, который сразу создаёт интимность. И я видел, что произошло что-то, и она в восторге и торжествует.

Вернувшись из спальни, где она переодевалась, она посмотрела на меня долгим лучистым взглядом:

— По-моему, вы пьяны, Гэмфри.

— Да нет же, Диана, клянусь богом! — сказал я с преувеличенным пафосом. — Просто время тянулось без вас ужасно долго, вот и всё.

Она подошла совсем близко.

— Ну, в таком случае извините, — сказала она мягко. — И у меня для вас плохая новость, Гэмфри. Сейчас сюда придёт ещё один человек и, к сожалению,

вам надо будет уйти одновременно с ним.

— Ах, чорт!.. — выругался я, разыгравая отчаяние. — Но послушайте, Диана...

— Ничего не поделаешь, — сказала она всё тем же ласково-интимным тоном. — Впереди ещё много вечеров... Конечно, если мы останемся друзьями...

— Друзьями! — Мой взгляд и голос должны были выражать упрёк. Надеюсь, что мне это удалось. Затем, я пустил в ход немного страсти, хриплый голос и всё прочее, что полагается в таких случаях. — О, господи! Вы не знаете, что вы со мной делаете, Диана!

— В самом деле? А. может быть, и знаю?

Знала ли она? Может быть, да. А может быть, и нет.

Я обнял её и целовал крепко, а она отвечала поцелуями совершенно так же, как вчера, — как-то старательно, чуть не восторженно, но отвлечённо. Я чувствовал себя учеником, которому даёт урок первоклассная инструкторша.

— Я буду с вами откровенна, — промолвила Диана, когда это кончилось, и я выпил ещё брэнди и она тоже выпила. — А когда я бываю откровенна, так уже до конца. В последнее время я мало целовалась с мужчинами, а я это дело люблю. Конечно, с подходящими...

— Я — подходящий, Диана, — заверил я её со смехом.

— Думаю, что в некоторых отношениях да... Или могли бы быть таким. — Она пристально посмотрела на меня. Я заметил — уже не впервые — какие у неё ясные бледно-голубые глаза и какой холодный, немигающий взгляд. В этих глазах я не видел ни искры нежности, — её никогда не было и быть не могло, — а без нежности, и без ребячества, и без настоящей страсти всё то, что происходит между мужчиной и женщиной, — только грязь и борьба.

— Но я в трудном положении, мой друг, — продолжала Диана. — Те немногие мужчины, которых я знаю и которым доверяю, — все герои не моего романа. Мужчины же другого сорта, — приемлемые для роли любовников, — не таковы, чтобы я могла им верить. А я возьму в любовники только того, кому могу верить. Верить не в том смысле, какой обычно придают этому слову женщины. Не о том совсем я говорю...

— Знаю, что не о том, Диана. Вы, ведь, не обыкновенная женщина. Но что именно вы имеете в виду? Какое бы условие ни поставили, я его выполню.

— Мне нужен человек, который будет делиться со мной всем, что ему известно, — сказала она холодно. — Если я буду задавать ему вопросы, я хочу, чтобы он отвечал на них, не отговариваясь

ничем, хотя бы это была военная тайна. И, разумеется, чтобы он никому другому ничего не поверял и был скромнен и осторожен. Мне показалось, что вы именно такой человек, Гемфри.

— И вы не ошиблись. Испытайте меня, — сказал я с жаром.

— Вот это я называю верить человеку, — продолжала она, как будто не слыша моих слов. — Для такого человека я всё сделаю, когда буду убеждена, что и он для меня на всё готов.

Чтобы двинуть дело вперед, я опять сгреб её в объятия. Она не сопротивлялась, но и не отвечала на мои ласки. Я этого ожидал.

— Ради всего святого, довольно слов! Испытайте меня, и дело с концом. Ведь, так можно человека с ума свести! Если вас волнуют какие-нибудь вещи, связанные с войной, — так вы, ведь, знаете, что я думаю об этой войне. Ну, поцелуйте меня ещё разок и скажите, что вы хотите знать.

Она послушно поцеловала меня, но тут внизу зажуужал звонок. — Это он, — сказала Диана, отодвинувшись. — Жаль, что он притаился не во-время, но мне он очень нужен. И, если вы мне докажете, что я могу на вас положиться, — о, тогда будет много хороших вечеров, Гемфри! — Она вышла.

Когда она сказала, что придет кто-то, я стал гадать про себя, кто бы это мог быть. Держал пари сам с собой — и позорно проиграл. Ибо меньше всего я ожидал увидеть мистера Периго. А между тем это был именно он собственной персоной, весь расплывшийся в притворной, фарфоровой улыбке и похожий на маленького алигатора с разинутой бело-розовой пастью.

— Моя дорогая, — воскликнул он, войдя. — Я удивлен, но очень рад, искренно рад. Право, это для меня полная неожиданность. Хотя, впрочем, не знаю, почему, — так как я слышал от вас очень разумные и утешительные мнения об этой нелепой войне. А, как поживаете, мой милый Нейланд? Правда ли, что вы собираетесь делать что-то великое и ответственное на заводе Чартерса?

— Мне предложено явиться на будущей неделе, — ответил я. — Но, разумеется, я ещё не знаю, что из этого выйдет.

— Они вас примут, — сказала Диана уверенно. — Но просите не больше восьмисот пятидесяти фунтов в год. Возможно, что через полгода вам повысят оклад.

— Вы слышите? — закричал мистер Периго, рассыпая вокруг искры, как коварная ракета во время фейерверка. — Вот оборотительная женщина, которая не желает быть только украшением жиз-

ни, которая умеет быть полезной в этом нелепом мире и понимает, что жалование в восемьсот пятьдесят фунтов может быть повышено тем или иным способом.

— Тем или иным, — повторила Диана. Затем, взглядом приглашая меня ответить, сказала спокойно:

— Вот мистер Периго интересуется, начали уже там, у Чартерса, изготавливать эмберсоновские зенитные орудия или нет?

— Конечно, начали, — сказала я с полной готовностью. — Они сделали штук десять, но приостановили производство, так как находят, что рамы неподходящие. И потом рабочие жалуются на вредные пары.

— Как интересно! — воскликнул мистер Периго. — Но неужели они вам сказали все это?

— Нет. Меня водили по всем цехам, а я имею привычку держать глаза и уши открытыми.

Я был шумно хвастлив, но не переигрывал. И Диана посмотрела на Периго, словно спрашивая: «Ну, что, разве я вам не говорила?..»

— Это хорошо, — сказал он. Затем, словно отвечая на взгляд Дианы: — Нет надобности объяснять вам, дорогая, что для работы на заводе нам нужен только такой человек, как он, и никто другой.

— Безусловно, — спокойно отозвалась Диана. — Но у Чартерса он проработает недолго.

— Если вы имеете в виду Белтон-смитовский завод, Диана, так я уже сунулся туда, но они и слышать обо мне не хотят.

— Это оттого, что вы пришли, так сказать, с улицы, — возразила она. — А после того, как вы проработаете несколько недель у Чартерса, найдется вакансия и у Белтон-Смита, и мы легко устроим вас туда.

— Слышите! — прокричал мне мистер Периго. Затем обратился к Диане. — Вы, конечно, правы. Что значит интуиция умной женщины! Ну, а теперь...

Но она остановила его резко-повелительным жестом.

— Нет. На сегодня хватит. Мы достаточно высказались. Раньше, чем говорить остальное, нужно испытать человека.

Всё это, разумеется, предназначалось для мистера Периго, а не для меня. Но после этого она повернулась ко мне, «выжала» улыбку и сказала:

— Я завтра весь день буду в магазине, но по субботам у нас в конце дня почти всегда толчея, так что вы зашли бы лучше с утра.

Затем она вдруг, без всякого перехода, настроилась на высокий лад, приняла

свою любимую величественную осанку и обратилась к обоим нам.

— До чего эти люди глупы! — воскликнула она с таким жаром и пафосом, каких я ни разу не замечал в ней до сих пор. — Как они могут рассчитывать сохранить власть, и при этом вести себя так неаппетитно! Мир не позволит, чтобы им управляли идиоты! У нас — настоящие вожди, у нас — преданность делу, смелость, у нас головы на плечах. А у них что, у этих жалких кретиннов?

Речь эта сильно отдавала театральностью, но Диана искренно верила в то, что говорила. Ибо, как я замечал, очень многие её единомышленники именно тогда, когда она высказывает свои подлинные взгляды и чувства, становятся напыщенными и неестественными. Все они одинаковы, эти одураченные фюрером люди; где-то в глубине их сознания всегда происходит некое оперное представление с ними и Адольфом в главных ролях. Стоя перед нами с царственным видом, Диана Экстон, вероятно, слышала в своем воображении скрипки и барабаны громадного оркестра.

Мистер Периго посмотрел на меня, я — на него, и, в то время, как Диана стояла и слушала воображаемый оркестр, каждый из нас прочел правду в глазах другого. Я вынул папиросу и свою зажигалку особого назначения.

— Не горит, — сказал я, встряхивая её. — Испортилась. Нет ли у вас огонька?

Он с быстротой молнии достал из кармана точь-в-точь такую же зажигалку.

— Я бы отдал вам свою, — сказал он, поднося её к моей папиросе, — но это подарок старого приятеля.

— Спасибо, но беспокоиться. Я завтра же приведу свою в порядок.

Все было ясно, как день. Мы посмотрели на Диану, не совсем очнувшуюся от блаженных грез о господстве нацистских умов над миром, и пожелали ей доброй ночи. Она все еще была настроена на высокий лад, и я порадовался в душе, что не нужно оставаться с нею. Диана вернулась на землю как-раз во время, чтобы очень нежно пожать мне руку, когда мы сошли с лестницы, — и все. Затем мы с Периго выскользнули на улицу.

Первые минуты мы молчали, хотя у нас было о чем поговорить. Мы понимали, что, быть может, кто-нибудь бродит тут во мраке, дожидаясь, чтобы мы вышли от Дианы. Поэтому мы не произнесли ни слова, пока медленно добрались до площади. Было уже за полночь, — и сказать, что город казался спящим, значило бы не воздать должного месту и времени. Город просто-напросто куда-то провалился. Не было ни-

какого Грэтли. Мы ползали в огромной неведомой пещере, и голыё кружки слабого фосфоресцирующего света освещали нам путь. Когда по площади, крахля, проезжал грузовик, казалось, что он свалился сюда из какого-то другого мира. Снова мне чудилось, что я с завязанными глазами странствую в аду.

— Куда мы пойдем, Нейланд? — спросил Периго, — голос во мраке, не больше.

— Мы можем пойти ко мне. Но если вы не возражаете, я бы хотел зайти по дороге в полицейское управление. Инспектору Хэмпу обо мне все известно (он до некоторой степени помогал мне в работе) и, если мы его застанем, мне надо сказать ему пару слов, а если нет, — все равно, я воспользуюсь телефоном.

— Обо мне так ничего не знают, — сказал Периго. — Но, если и узнают сейчас, — пускай. Это теперь не имеет значения.

— Никакого, — согласился я. И объяснил ему, как убийство Олни столкнуло меня с Хэмпом. Периго ничего не знал об Олни. Пока я рассказывал ему всю историю, мы успели добраться до городской площади, где помещалось полицейское управление, и я стал искать боковую дверь, которая открыта всю ночь. Войдя внутрь, я к своему удовольствию, убедился, что дежурит сегодня констебль, который видел меня несколько раз у инспектора. Он сказал, что начальник скоро вернется (из разговора с ним я вынес впечатление, что инспектор вызван на место какого-то происшествия) и что мы пока можем подождать в комнате рядом с его кабинетом.

И вот мы с Периго сидим и зеваем при резком свете двух ничем не затененных электрических ламп. Комната была словно вся пропитана смешанным запахом карболки и застоявшегося табачного дыма. Огонь в камине погас. Мы сидели на стульях, на которых вряд ли мог бы поместиться какой-нибудь полицмен. Периго выглядел столетним старцем, а я чувствовал себя семидесятилетним. Он признался, что очень устал.

— Столько приходится бегать и болтать ради этого проклятого дела, — сказал он, — что к концу дня я совершенно выдыхаюсь. В следующий раз я буду разыгрывать немощного старика с тяжелой болезнью сердца, чтобы не мне приходилось всюду бегать, а люди приходили ко мне. Но только они, конечно, приходиться не будут. Это убийственно — изображать человека, который постоянно развлекается и развлекает других. Мне помогает то, что прежнее занятие научило меня обходительности со всякого рода невыносимыми людьми. Знаете, Нейланд, ведь у меня был антикварный магазин.

— Знаю, — сказал я, посмеиваясь. — Я сразу же навел о вас справки.

— Я просто по собственному желанию ликвидировал его. Хотел писать... Потом решил, что должна же и для меня найтись какая-нибудь оборонная работа. И племянник мой, который работает в военной разведке, посоветовал мне заняться контршпионажем. Должен вам сказать, что, несмотря на множество всяких «но», я все же этим делом увлекаюсь. А вы как попали в Отдел?

Я в нескольких словах объяснил ему. Потом захотел узнать, как это ему удалось столь быстро убедить Диану Экстон, что он работает на нацистов.

— Вы знаете, какой у них сейчас условный знак?

— Нет. Мне, разумеется, известны некоторые прежние их знаки, — сказал я. — Но я догадывался, что они уже изменены, и это тормозило работу. Правда, на сей раз мне не понадобилось притворяться, что я принадлежу к «посвященным», потому что я разыгрывал недоброго обывателя, канадца, которому, в сущности, наплевать на войну и поэтому его можно купить... или, — я ухмыльнулся, —...или соблазнить.

— Я действительно приблизительно в том же духе, только соблазнить меня уж вряд ли кому придет в голову, — сказал Периго. — Впрочем, даже в этом отношении я, как вы могли заметить, позабегался о небольшой приманке, на которую очень охотно идут нацисты. Верите или нет, Нейлэнд, — никогда я раньше не имел привычки краситься, жеманно шепелявить, вообще вести себя, как старый фат... Да, так я хотел сказать о знаке. Сегодня утром я был в Лондоне и узнал их новый знак и пароль. Сейчас покажу вам.

Он положил на мою руку большой и указательный пальцы своей правой руки, держа их вертикально, так, что они образовали букву «V».

— Вот. Затем вы говорите: Это «V» означает «Victory» — победу и не с маленькой буквы, а с большой». Это — пароль. Поняли? Тогда второй великий умник кладет указательный палец своей другой руки поперек этих двух поднятых пальцев, и «V» превращается в опрокинутое «A». После этого он изрекает: «Прекрасно. Я это запомню». — Что вы скажете? Гениальная выдумка, а? Боже мой, в каком идиотском мире мы живем! И подумать только, что миллионы жизней зависят от таких вот штук! Да, ничего не поделаешь. Ну-ка, Нейлэнд, прорепетируйте. Это вам может скоро пригодиться.

Я «прорепетировал», и он похвалил меня. Затем продолжал:

— Я хотел поймать на эту удочку вашу Экстон, потому что я уже с неко-

торого времени подозреваю ее, и она, кажется, изрядно глупа. Пытался ангажировать ее на сегодня вечером, но, узнав, что она уже приглашена вами, условился с одним командиром, который в курсе дел, что он устроит позднему вечеринку и позовет и ее тоже. Там я пустил в ход этот новый знак, она сразу попалась — и настояла, чтобы я приехал к ней и посмотрел на вас. Ей хотелось знать мое мнение о предполагаемом новом рекруте. Я, разумеется, не имел уверенности, что вы — наш, так же, как вы — относительно меня. Скажите, Нейлэнд, как это вы могли так скоро угадать в ней шпионку?

— Главным образом потому, что она, как вы уже заметили, глупа и настолько ослеплена самомнением и будущим величием, что даже не соблюдает никакой осторожности. Во-первых, она — явно не похожа на тех женщин, которые открывают подобного рода лавки. Она сказала мне, что сняла ее за бесценок, а я за каких-нибудь пять минут выяснил, что она врет. Это раз! Затем она даже не трудилась подделываться под тип лавочницы. С ее происхождением и связями она безусловно могла бы стать хозяйкой какого-нибудь шикарного модного предприятия, обслуживающего женщин большого света, — вроде Рена. Вот это соответствовало бы ее темпераменту. Она не сделала этого потому, что не была в Англии. Она, вероятно, жила припеваючи в нацистской Германии, ездила в Нюрнберг, где Геббельс делал ей комплименты, что она похожа на вагнеровскую героиню, где ее привели к присяге и научили двум-трем уловкам, а затем велели ехать в Америку и вредить нам, как только можно, в первые дни войны. Из Америки ее отправили домой, в Англию, и приказали открыть магазин, где она может быть весьма полезна...

— Но почему именно магазин, когда она к этой роли не подходит? — спросил Периго. — Раз у нее были деньги, она могла снять загородный дом где-нибудь близко от центра и завлекать молодых офицеров, как наш общий друг, миссис Джесмонд, — прибавил он, смеясь. — Вы, конечно, знаете, что та не по нашей части.

— Да, она только обделывает делишки на черной бирже. Она не более как красивая, избалованная, развратная тварь, — вскипел я вдруг. — Нас она не интересует, но я бы хотел, чтобы ее до конца войны заставили работать судомойкой в рабочей столовой.

— Полно вам, Нейлэнд, — запротестовал Периго. — Она прелестная, декоративная женщина...

— Обществу слишком дорого обходятся эти прелестные, декоративные женщины, — сказал я. — И я встречал слиш-

ком много других женщин, спихнутых в уличную канаву тем миром, который эта Джесмонд представляет. А между тем каждая из них стоит сотни таких миссис Джесмонд. Пускай же отныне все миссис Джесмонд либо работают, либо подымают с голоду.

— Вы слишком озлоблены, Нейланд, — сказал он мягко, глядя на меня дружелюбно и задумчиво. — Я это почувал с первой встречи. Что-то было в вашей жизни такое... — Он закончил выразительным жестом.

— Ладно, не во мне сейчас дело, — оборвал я его грубее, чем хотел. — Мы говорили о Диане Экстон. Ее лавка, я уверен, не простая маскировка. Не так уж они глупы, эти нацисты, хотя и не такие великие умы, какими их считает эта бедная гусыня. Я предполагаю — и упоминание о цветах в книжке Олни подтверждает мою догадку, — что «Лавка подарков» служит нацистам небольшой почтовой конторой. Эти букетики искусственных цветов в окне могут служить для передачи вести человеку, который как будто мимоходом остановится поглазеть на витрину.

— Так же, как восхитительные руки и ноги мамзель Фифин, — вставил Периго с улыбкой. — Вы догадались и об этом, разумеется?

— Да. И заметил, что вы тоже это поняли. Кстати, я сегодня видел Фифин.

Я рассказал ему о встрече с Фифин и знакомцем со шрамом на левой щеке. Периго о нем ничего не знал, и вообще я пришел к заключению, что вся картина была ему менее ясна, чем мне. Я не сказал ему еще ни слова о моих главных двух подозрениях, — и решил пока не говорить. Не потому, что я не доверял ему, но разумнее было каждому из нас идти своим собственным путем. Я намекнул ему об этом.

— А что вы скажете о Джо? — спросил Периго.

Я сообщил ему о зажигалке, которую Джо, по его словам, будто бы нашел десять дней тому назад, но которая, несомненно, была снята с трупа Олни. Рассказал и об окурке в лавке Сильби. Подчеркнул, что Диана знакома с Джо гораздо ближе, чем хочет показать. Спросил, не знает ли Периго, чем занимался Джо после ухода от Борани и до приезда в Грэтли.

— Мне сказано, что он приехал сюда из-за сильного расстройства нервов, — продолжал я. — Но, ведь, он здесь объявился уже после того, как прекратилась регулярная и сильная бомбежка. К тому же, по-моему, у этого парня нервы в полном порядке.

— Как приятно приобрести, наконец, такого умного товарища, — сказал Периго. Он успел уже немного отдохнуть, но на вид ему теперь можно было дать

уже не сто, а сто пятьдесят лет. — Я сразу, еще тогда вечером в «Ягненке и Шесте», заметил, что вы человек наблюдательный, но теперь я просто поражен — и, кажется, даже немного завидую успехам вашим за несколько дней. Подумайте, ведь, я сижу тут месяцы!

— Мы работали в неодинаковых условиях, — утешил я его. — Вам нужно было создать роль, а я приехал уже с готовой. Кроме того, люди, которых мы выслеживаем, стали сейчас беспечнее. Правда, Диана, может быть, и самая глупая из всех, но посмотрите, какая наглая беспечность! А способ, которым они убрали беднягу Олни, это перетаскивание с места на место! Ведь, инспектор сразу понял, что это — убийство.

— Но Джо этого сделать не мог, хотя у него зажигалка Олни, — сказал с расстановкой Периго. — Потому что в тот час, когда Олни переехали, Джо сбивал коктейли в баре.

— Да, это сделал не Джо. Но Джо, должно быть, встретился с убийцей позднее — ночью или на другое утро — и получил от него зажигалку.

— Я тоже думаю, что Джо в этом деле как-то замешан, — сказал Периго. — Он у меня уже с некоторого времени на примете. Я запрашивал Лондон относительно того, что делал Джо после закрытия Борани. Говорят, у него был мексиканский паспорт и в конце 1940 года он уехал в Америку. Не знаю, какие он нажал пружины, чтобы получить разрешение вернуться. Впрочем, может быть, это было тогда нетрудно. А, может быть, его консульство, ничего не подозревая, помогло ему.

— Знаете, Периго, я подозреваю, что здешняя организация формировалась в Америке. Там была Диана, туда ездил Джо, а, может быть, еще выяснится, что и другие явились оттуда. Где живет Джо?

— Снимает комнату в доме № 27 на Пальмерстон-Плейс, — немедленно ответил Периго.

Наш разговор прервался, так как в этот момент вошел Бойд, сержант с выступающим подбородком. Он меня по-прежнему не жаловал, но не мог не считаться с тем фактом, что его начальник и я работаем вместе. И он, видимо, недоумевал, какого чорта принесло сюда еще и Периго. Но я предоставил ему размышлять над этим, сколько угодно.

— Я видел инспектора Хэмпа, — начал он, глядя на два фута поверх моей головы. — И он велел вам передать, что лучше вам не ждать, а пойти к нему.

— Куда?

— К каналу. Мы только-что вытащили из воды машину с женщиной. Инспектор думает, что вам это будет интересно.

Мы с Периго переглянулись. Сержанту Бойду это не понравилось.

— Инспектор говорил только про вас, — сказал он с ударением.

— Я раздумываю о том, как бы добраться домой, за три мили отсюда, а вовсе не собираюсь итти к каналу смотреть какую-то утопленницу, — сказал Периго поспешно. — Пожалуй, все-таки придется остаться здесь до утра.

— А что, — спросил я сержанта, — можно еще сегодня навести здесь справку? Который час? Начало второго?

— Принять у вас запрос могут, но узнать сейчас, наверное, ничего нельзя. Нас не обслуживают круглые сутки. А о ком вы хотите справиться?.. Как вы сказали? Человек со шрамом?

— Да, — ответил я.

— Так вы бы у нас спросили, — сказал сержант. — А то справки!.. Ведь, мы же — здешние жители. Если вы имеете в виду парня вроде лакея или дворецкого полюш шрам на щеке, так я знаю, кто это. — Он остановился, выжидая. Такой уж был человек, этот сержант Бойд.

— Окажите нам услугу, сержант, — сказал я сурово. — Мы хотим избавиться родину от некоторых ее опасных врагов. Скажите, кто этот человек? Чтобы вы не теряли даром времени, я вам сообщу, что ему на вид лет пятьдесят, седой, говорит по-английски медленно и...

— Ну, знаю, этот самый, — сказал сержант. — Его Моррисом звать. Он служит у полковника Тарлингтона. Чудак какой-то. Приходилось несколько раз перекинуться с ним словечком. Но он — человек надежный, не думайте! Он всю прошлую войну провел на фронте с полковником Тарлинтоном — вестовым у него был. Так что все в порядке.

Одна нога у меня затекла, согнутая под низеньким стулом, и я потопал ею о пол.

— Ну, Периго, значит, никаких справок наводить не надо. Ждите нас здесь, если хотите.

— Да, я уж лучше посижу здесь, чем плестись три мили, — сказал Периго несколько неуверенным тоном. — Верно я говорю, сержант?

— Вы бы перешли в комнату рядом, там, по крайней мере, огонь есть в камине и вам дадут чаю... Ну, что ж, пойдемте, — прибавил он, обращаясь ко мне.

На улице нас ждал автомобиль, и через пять минут мы уже рыскали в темноте, нащупывая дорогу, где-то вблизи канала. Наконец, наша машина остановилась в адски неприятном месте. Там уже стояли два других автомобиля и грузовик. Унылый свет притушенных фар выделял из темноты зеленый ил берега и мутную, покрытую жирным налетом воду канала. Вокруг — груды мусора и старого хлама. Казалось, здесь — конец всему. Мы и сами каждую минуту недалеко были от того, чтобы стать кучкой мусора и старого хлама. Не было

никакой уверенности в том, что черный груз ночи не обрушится на нас всей своей тяжестью и не расплющит нас.

Сержант вел меня к какому-то строению вроде сарая. У входа в него стояла женщина и, когда сержант поднял свой электрический фонарик, я увидел ее лицо. Истомленное усталостью и печалью до того, что напоминало узкую маску слоновой кости, оно показалось мне в ту минуту самым прекрасным из всех виденных мною когда-либо лиц, — и сердце во мне перевернулось.

Это была доктор Маргарет Энн Бауэрштерн. Она не могла разглядеть нас в темноте, да, вероятно, и не пыталась. Она стояла в стороне, и все ее движения были медленны, машинальны, как у человека, измученного до последней степени.

Откинув брезент, которым был завешен вход, мы вошли в сарай. Внутри горело несколько фонарей. Я увидел мощную фигуру инспектора, двух полицесменов. Они смотрели на что-то, невидное мне, и походили на людей, которым снится страшный сон. Через мгновение и мне показалось, что я вижу страшный сон. Передо мной на земле, среди мусора и какого-то тряпья, еще пахнущее тиной, лежало тело Шейлы Кэстлсайд.

Вероятно, прошло не больше минуты до того, как инспектор заговорил со мной, но она показалась мне вечностью. Я успел припомнить во всех подробностях нашу беседу с Шейлой в спальне «Трефовой дамы». Казалось, с тех пор прошло много дней, — а, ведь, это было часа три тому назад! Вспомнил я последние слова этой милой смешной девочки, когда она обвила руками мою шею и поцеловала меня.

С восемнадцати лет брошенный на фронт в предыдущую войну, я видел, как умирали люди. Да и не говоря уже о войне и некоторых исключительных случаях в моей жизни, — я и потом не раз видел близко смерть, ибо на крупных строительных работах в полудикой стране всегда бывает обильный урожай несчастных случаев. Но тут было нечто совсем другое и гораздо более страшное. Когда погибли Маракита и наш мальчик, я в течение многих дней не помнил ничего, — только те последние, слепящие четверть секунды, когда я уже знал, что произойдет нечто ужасное, и клял себя за преступное безрассудство. Потом я сразу уехал и меня снова завертела жизнь. Мир больше не был для меня — да и не мог быть — тем прежним миром, в котором я мчался, счастливый безумец, со скоростью семидесяти миль в час. От этого, второго, мира, в котором убивший свое счастье идиот остается жив, а женщина и ребенок превращаются в кровавое месиво, я ничего хорошего

не ждал, но мысль о возможности такого подлого удара как-то не укладывалась в моей голове. И только сейчас, до того, как заговорил Хэмп, я спросил себя, нет ли тут и моей вины, не следовало ли мне раньше предвидеть возможность такого конца.

— Это случилось около половины двенадцатого, — сказал инспектор. — Один человек, который возвращался домой и шел по той стороне дороги, видел и слышал, как автомобиль свалился в воду, и дал нам знать. Она была одна в своей машине — и не могла выбраться из канала.

— А из чего видно, что она пробовала? — спросил я.

— Доказательств нет, но... А что, разве вы предполагаете самоубийство?

— Нет, я даже уверен, что это не самоубийство. Никому не придет в голову кончать с собой таким образом. Кроме того, она совсем не думала о самоубийстве. Мы с нею долго беседовали вчера вечером в «Трефовой даме»... Что делает здесь доктор Бауэрнштерн?

— Она задержалась в госпитале, и мне удалось застать ее там и привезти, — пояснил инспектор. — Но, конечно, ничего нельзя было уже сделать. Наш полицейский врач заболел, лежит с температурой... А что, доктор Бауэрнштерн уже уехала?

— Нет, стоит там, за дверьми, и сама похожа на мертвеца.

— Спасибо, — произнес голос, который я в первый момент не узнал. — Я здесь, как видите, и готова отвечать на все ваши вопросы. Конечно, если инспектор Хэмп уполномочит вас допрашивать меня.

Инспектор естественно мог заметить — да и кто бы этого не заметил? — что я ненавистен ей. Он знал также, что у нее позади длинный утомительный день и что она взвинчена до крайности, — и не хотел входить ни в какие объяснения. Так что я не осуждал его за то, что он промолчал.

Она подошла ближе и села на опрокинутый ящик, двигаясь бесшумно и очень медленно. Я невольно подумал: «Все это похоже на сборище духов».

Должно быть, и Хэмп ощутил нечто подобное и решил не поддаваться.

— Сержант! — загремел он вдруг. — Возьмите с собой этих двух парней и займитесь машиной. Фонари у всех имеются? только смотрите, зажигайте не все разом. Возьмите с собой какие-нибудь мешки для окон. Да живей поворачивайтесь!

Так мы избавились от них. Сделав над собой усилие, я наклонился и внимательно посмотрел на мертвую.

— Что, она там выпила, в «Трефовой даме»? — спросил инспектор.

— Может быть, немного и выпила, но,

когда мы с ней простились — в самом начале одиннадцатого — она была совершенно трезвая.

— Она не сказала вам, куда едет?

— Нет. И, когда я уходил, — около половины одиннадцатого, — я искал ее всюду, но ее не было. Пришла она туда не со мной, но у нас был длинный разговор и мне хотелось сказать ей еще кое-что на прощанье.

— Может быть, она уехала из «Трефовой дамы» ихватила малую толику где-нибудь в другом месте, — сказал инспектор хмуро. — Покойница, кажется, любила повеселиться.

— Да. Но что ей было делать здесь, у канала? — спросил я. — Это требует объяснения.

— Если она была пьяна, так тут и объяснить нечего.

— А я не думаю, чтобы она была пьяна. И не думаю, чтобы она хотела покончить с собой. И не думаю, чтобы она сбилась с дороги в темноте.

Я сказал это резким тоном — совершенно из тех же побуждений, из каких инспектор только что орал на сержанта. Мне нужно было и от себя, и от других скрыть свое волнение и рассеять сковывавшие меня чары.

— Вы разрешите, доктор?.. — обратился я к ней. — Я бы не стал вас просить, если бы не знал, что вы делаете это лучше меня...

— Что вам нужно? — спросила она без малейшего оттенка любезности или хотя бы интереса.

Я вызывал в ней такое сильное чувство ненависти, что эта ненависть выпирала наружу, как острый нож с двухфутовым лезвием.

— Исследуйте самым внимательным образом ее голову с затылка. Это важно, иначе я не стал бы вас утруждать.

Вероятно, она вопросительно взглянула на инспектора, потому что он тихо сказал ей: «Сделайте это».

Все остальное, как мне казалось, происходило ужасно медленно. Она попросила придвинуть поближе фонарь. Несмотря на усталость, она приступила к осмотру с такой уверенностью и ловкостью, что любо было смотреть. Наблюдая ее движения, я испытывал какое-то меланхолическое удовольствие.

Когда ее пальцы, ощупывавшие голову Шейлы, наконец, перестали двигаться и она подняла глаза, я прочел на ее лице, что моя догадка верна.

— Здесь имеется гематома, — сказала она с расстановкой. — Я ее нащупала. Под кожей скопились сгустки крови. Значит, либо она сильно ушиблась, стукнувшись затылком о какую-нибудь металлическую часть, когда машина свалилась в канал, либо...

— Либо кто-нибудь нанес ей удар — вероятно, резиновой дубинкой, — ска-

зал я. — Такова моя версия. Они ехали куда-то вместе и толковали о чем-то в автомобиле. Она оказалась несговорчивой, вот ее и пристукнули, а машину разогнали и пустили в канал. Заметьте, — обратился я к инспектору, — тот же самый метод, что и в первый раз: убийство, которое может сойти за несчастный случай.

— Это не противоречит тому, что вы нашли, доктор? — спросил инспектор.

— Я мало знакома с такого рода повреждениями, — сказала она с видимым усилием, — но действительно трудно понять, как она могла так сильно ушибить голову, только ударившись обо что-нибудь при падении. Это гораздо более похоже на умышленно нанесенный удар. Мне кажется, — добавила она неохотно, — что мистер Нейланд прав.

Удивительно приятно было слышать, как она произносит мое имя, хотя она уже раньше несколько раз называла меня по имени. Почему-то мне казалось, что она совершенно забыла, как меня зовут, или, может быть, не хотела вспомнить. И сейчас, когда я убедился, что она не забыла, я обрадовался до смешного.

— Эта женщина, Шейла Кэстлсайд, ожидала, что ее будут шантажировать. Она не знала, в какой форме, зато я знал. Об этом я и говорил с нею сегодня вечером. Бедняжка никому не делала зла, но у нее было сомнительное прошлое и она его скрывала. Чтобы подняться по нашей пресловутой «социальной лестнице», она рассказывала о себе людям всякие небылицы, выдавая себя за молодую вдову человека, умершего в Индии, и так далее. Она обманывала даже мужа и его родных. Замуж она вышла для того, чтобы из горничной и мажоранты превратиться в даму высшего круга, но потом полюбила мужа и больше из-за этого не хотела, чтобы все открылось.

— Все это она сама вам говорила? — спросил Хэмп.

— Да. Но я еще раньше угадал, что она боится каких-то разоблачений, и предположил, что агенты гестапо могут на нее нажать и использовать ее для своих целей, о которых она ничего не подозревает. Вероятно, один из них и увез ее вчера из «Трефовой дамы», чтобы сообщить, чего от нее хотят...

— А хотели они, должно быть, чтобы она делала для них, примерно, то, что вы для нас? — сказал инспектор, забывая, что наш разговор слушает доктор Бауэрнштерн.

— Да. Этого она не ожидала. Она думала, что от нее потребуют денег или... гм... небольших интимных услуг. Но когда она узнала, чего именно от нее добиваются, — а я ей уже намекал об

этом, — она не поддалась на шантаж, отказала наотрез и пригрозила, вероятно, рассказать мне или вам, или мужу о том, какая ведется игра и кто ее ведет. Это решило ее участь. Им нужно было ее убить. Тут же на месте. Так я представляю себе все это.

Я смотрел вниз, на это бедное тело, выловленное из зловонного канала. Я вспоминал нахальный носик, сочные улыбающиеся губы, синие глаза разного оттенка...

— И, если это все верно, она — такая же жертва войны, как любой солдат, вырванный из рядов пулеметным огнем. Она, кроме того, невинная жертва другой, худшей, войны — войны рядового обделенного человека с насквозь прогнившей социальной системой. Они вырастают, веселые, жизнерадостные, воображая, что близехонько, за углом, их ждет рай, — а мы спихиваем их в ад.

— Я не знала, что у вас такие мысли, — промолвила доктор Бауэрнштерн тихо и удивленно.

— Вы и сейчас еще не знаете моих мыслей, — грубо оборвал я ее. — Однако уже поздно, и я слишком разболтался...

— Я и без вас знаю, что поздно, — проворчал инспектор. — Но мне придется пригласить вас ненадолго к себе в участок, доктор. Может быть доведете нас?

Он вышел, тяжело ступая, чтобы отдать какие-то распоряжения сержанту. Маргарет Бауэрнштерн смотрела на меня минуты две рассеянно, но как-то удивительно по-женски, затем наклонилась к трупу с таким выражением лица, как будто мертвая просто спит и нужно уложить ее поудобнее и дать ей покой.

— Я видела ее раза два, — сказала она вполголоса. — И раз, помню, позавидовала ей. Она была такая веселая, красивая, ее, видимо, так тешила жизнь, — пускай даже пустая, все равно. Каждой женщине иногда хочется быть такой. Наверное, это с мужем я ее встречала — такой высокий, красивый молодой человек. Сразу видно было, что они обожают друг друга. Да, я с минуту остро завидовала ей...

— В одном отношении вам нечего было ей завидовать, — сказала я, стараясь, чтобы голос мой звучал холодно и неприязненно. — Я вам вот что скажу: когда я увидел вас здесь...

— Похожому на мертвеца, — вставила она шопотом.

— Да, бледную, как смерть, замученную, с запавшими щеками, — ну, словом, конченного человека... я подумал: «никогда в жизни не видывал лица красивее». Мне даже как-то больно стало.

Она стояла неподвижно, глядя на меня, такая близкая и далекая, непонятная.

— Зачем вы все это говорите мне?

— Не с корыстной целью, не беспокойтесь. — Я говорил все так же холодно и неприязненно. — Когда кто-нибудь (я имею в виду не только женщин, — наоборот, чаще это бывают мужчины) делами своими или какой-нибудь своей особенностью сшибает меня с ног, — я чувствую, что должен сказать ему об этом. Я проехал шестьсот миль только для того, чтобы сказать старику Мессайтеру, что его Кэрновская плотина — шедевр и что я чуть не заплакал от восторга, увидев ее. Мне после этого стало легче. Это все равно, что уплатить долг.

— Значит, теперь, сказав мне про мое лицо, вы облегчили душу. — В голосе ее было больше иронии, чем в выражении лица.

— Да. И все теперь ясно. Мы можем продолжать воевать и не доверять друг другу. Идемте, доктор, нас ждут.

Она довезла нас до управления. Периготам уже не было, но он оставил мне записку. В ней он писал, что его подвезут почти до самого коттеджа в грузовой машине, которая идет в том направлении, и что он увидится со мной на-днях, когда будет чувствовать себя не таким старым и утомленным, как сегодня.

Инспектор быстро проделал все необходимые формальности и отпустил нас. А, так как мне теперь было нужнее потолковать с нею, чем с ним, то я попросил доктора Бауэрнштерн подвести меня. Я сказал ей адрес убоге тогда, когда мы сидели в автомобиле.

— Я живу на Раглан-стрит, дом № 15.

— Но ведь это...

— Да, там, где жил покойный Олни. Помните, мы с вами там встретились..

— Помню. В тот вечер, когда он попал под автомобиль.

— В тот вечер, когда его убили, — поправил я с ударением. — Да, Олни убили, так же, как сегодня эту молодую женщину. Неудно работают в Грэтли, а?

Она не отвечала ничего и молча правила в темноте своим автомобилем — таким упрямым, скверным, маленьким животным. По тому, как она молчала, я понимал, что не дождусь от нее больше ни единого слова. Так мы ползли по затемненным улицам, два человека, которым нечего сказать друг другу. Но я не хотел с этим мириться.

— В Грэтли все спокойно, — начал я снова. — Тихо. Ни одна мышь не заскребется. Все в порядке... не считая убийств... не считая измены... не считая старых, знакомых планов подороже продать свой народ...

— Если вы не можете сказать ничего конкретного, тогда лучше помолчите.

— Это все достаточно конкретно, милэди. Все это делается.

— Возможно. Но вы-то говорите об этом не серьезно. Вы становитесь в позу, кривляйтесь, важничаете. Нашли подходящее для этого время!

— Ладно, не буду кривляться и важничать, — сказал я угрюмо. — А вы можете убавить ход, потому что мы, кажется, уже почти приехали.

Она послушалась.

— Ну, что же вы хотели мне сказать? Только, пожалуйста, без взрывов, если можете. У меня сегодня был трудный день, и я очень болезненно реагирую на дурное настроение других.

— Я буду смирен, как овечка. Вот в двух словах все: мне нужно переговорить с вашим деверем, Отто Бауэрнштерном.

Она так и подскочила на месте, затем круто обернулась.

— Не понимаю. Зачем вам понадобился Отто? Кроме того, ведь он пропал.

— Так мне говорили. Но я предполагаю, что он у вас в доме. Его выдала австриячка, ваша прислуга.

— Как, она сказала вам!?

— Конечно, нет. Но видно было по ее поведению, что она боится посетитель, нервничает, что в доме есть что-то или кто-то, кого нужно прятать от всех. Нетрудно было связать это наблюдение с тем, что я слышал о вашем девере.

— Вам, видно, нравится шпионить за всеми? — спросила она с горечью.

— Это вы оставьте. Мои вкусы тут не при чем. Повторяю: мне нужно переговорить с Отто Бауэрнштерном.

— Значит, вы что-то вроде полицейского сыщика, так, что ли? Новый английский вариант гестапо?

— Совершенно верно. Я только тем и занимаюсь, что загоняю в подвал старцев и младенцев и избиваю их до смерти. Дальше.

— В таком случае вам стоит заявить местной полиции, которую патриоты вроде полковника Тарлингтона натравили на бедного Отто, что он у меня в доме. Они запрут его в ближайшую тюрьму, и вы сможете тогда беседовать с ним часами, так как ему нельзя будет уйти от вас.

Я сдерживал себя, хотя это было нелегко. Эта женщина обладала способностью раздражать меня — с первой же встречи, заметьте. Во всю мою жизнь никто так меня не раздражал.

— Местная полиция об этом уже знает, — сказала я спокойно — Во всяком случае я сказал это инспектору Хемпу, которого, кстати сказать, вы можете считать в числе своих друзей. Он был очень недоволен моим сообщением, так

как полагал, что оно обязывает его принять известные меры. Но я сказал, что это дело мое и что я предпочитаю, чтобы Отто Бауэрнштерн оставался там, где он сейчас.

— А почему вы ему так сказали? — В ее тоне уже не было язвительной горечи.

— Потому опять-таки, что я хотел переговорить с Отто у вас в доме. И хорошо было бы, если бы вы могли устроить это свидание поскорее. Скажем, — завтра днем.

Она подумала с минуту, потом объявила:

— Я хочу быть при этом. Отто очень нервничает. Он всегда был довольно неуравновешенным человеком, а преследования и необходимость прятаться не улучшили его состояния. Давайте в четыре, хорошо?

— В четыре, так в четыре, — согласился я. — Дружеская чашка чаю в субботний вечер. Завтра у меня будет дела по горло. Теперь надо действовать быстро, — я говорил не столько с нею, сколько сам с собою. — Иначе еще с кем-нибудь из знакомых случится несчастье. Есть поговорка, что беда не ходит одна. Ну, спасибо, что доставили меня домой, доктор Бауэрнштерн... Маргарет Энн, — добавил я неожиданно.

Тут она удивила меня.

— Обычно меня зовут просто Маргарет, — сказала она каким-то неопределенным тоном. Я все не двигался с места, хотя пора уже было уходить. В темноте я почти не видел ее лица, но знал, что она внимательно смотрит на меня.

— А до этого.. вы были, кажется, инженером?

— Да. Сначала в Канаде, потом в Южной Америке. Большая и полезная была работа — я-то, конечно, рядовой работник — на больших строительствах. Там было много света и воздуха. Это не то, что ползать в затемненных переулках и расставлять западни.

— Да. И я сейчас думала о том, что тогда вы, наверно, были другой, — промолвила она медленно.

— Вы, правы, Маргарет. Совсем другой. Я работал, учился, строил планы будущей жизни, — так же, как вы.. когда-то в Вене.

— Откуда вы знаете про Вену? —

— Вы сами мне рассказывали, когда я был у вас. И я видел, как просветлело ваше лицо при этом. Теперь не часто видишь у людей такие светлые лица.

Я ждал ответа, но его не последовало. Потом я услышал какие-то тихие звуки и понял, что она плачет. Мне стоило труда взять себя в руки.

— Ну, мчитесь домой и ложитесь спать, — сказал я. — Вы совсем издер-

гались. Покойной ночи, Маргарет, и не забудьте — завтра в четыре.

8.

Раньше чем описать вам то, что произошло в последний день, в субботу, когда, подгоняемый каким-то растущим нетерпением, которого я никогда не испытывал раньше за все время моей работы в Отделе, я покончил со всем делом сразу, нужно дать вам представление о фоне, на котором разыгрывались эти события. И об этом фоне вы не забывайте все время, пока будете слушать мой рассказ.

Холодный и дождливый субботний день в конце января 1942 года. Японцы подбираются все ближе и ближе к Сингапуру и к Австралии, в Ливии временно дела на мертвой точке. Германию не бомбят из-за нелетной погоды, и всех томит беспокоейство и разочарование.

Холодный субботний день в Грэтли, на площади что-то вроде базара, но торговля на этом базаре идет вяло. У лавок, а позднее у касс кино, мокнут под дождем длинные очереди, и повсюду испарения и запахи мокрой одежды. Днем никогда не бывает по-настоящему светло, а там, не успевше оглянуться, — снова вечер и затемнение. Если представлять себе войну в виде темного туннеля, по которому мы переходим из одной солнечной долины в другую, то в те дни мы были как бы посередине туннеля, где выкуриваешь последнюю папиросу в сыром, холодном мраке и перестаешь верить, что когда-то ты сидел в кругу друзей и смеялся.

Таков был общий фон картины. А на этом фоне шли мимо терпеливые люди, беря то, что им давали, и не требуя больше (разве только мысленно), вспоминая тех, кого нет, ожидая писем, которые не приходили, готовые, если требуется, умереть за какой-нибудь Грэтли, который вряд ли для них создавался. Их тупое терпение, не искушаемое ни страстью, ни гневом, поражаало и злило меня, быть может, потому, что я не знал, чем его объяснить, — тем ли, что это уже полумертвые люди, или тем, что они лучше всех, кого мне приходилось встречать до сих пор. Я хотел, чтобы они стерли с лица земли Гитлера и тех, кто с ним, а затем взорвали Грэтли и все ему подобное и запустили последними грязными кирпичами его разрушенных стен в спину бегущим тюремщикам, так долго державшим их здесь в заключении. Я говорю здесь об этом потому, что, мне кажется, мое раздражение и горькое недоумение, питаемые также и ненавистью к холодному, грязному, тонущему в слякоти городу, сказались на моем поведении в ту субботу, о которой идет речь, и решили исход дела.

Позднее утро застало меня в кабинете инспектора, куда вскоре пришел и Периго. (Я уже успел к этому времени рассказать Хэмпу, кто такой Периго.) Я телефонировал в Лондон, получил кое-какие сведения из Отдела, и, вероятно, потому, что я не скрыл своего нетерпения, мне разрешили действовать ускоренным темпом, пустить в ход все средства и добиться немедленных результатов. Инспектор Хэмп, который из кожи лез, чтобы мне помочь, но не знал, как ускорить обычные методы работы полиции, пробовал расследовать, где была Шейла после того, как ушла из «Трефовой дамы». Он заявил мне, что я только строю догадки, а для полиции догадки бесполезны. Раньше, чем думать об арестах, нужны улики, веские и прочные, как чугун.

— Все это мне известно и винить вас не приходится, — сказал я ему. — Но я-то не буду работать так, как вы. Сейчас некогда разводить канитель и соблаздать все правила. Это мы отложим до того времени, когда не останется на земле ни единого нациста и все будут братьями, и восторжествует справедливость.

— В этом я согласен с Нейландом, — вмешался Периго, показывая всю свою фарфоровую челюсть. — Я успел только мельком заглянуть в сегодняшнюю газету, но то, что я прочел, убеждает меня, что наша позиция авторитетных спортсменов-любителей становится немножко опасной.

— Я не спортсмен-любитель, — внушительно произнес инспектор, — а рядовой полицейский чин. И я со вчерашнего дня спал не больше двух-трех часов, и выбиваюсь из сил, чтобы добыть необходимые улики. А если вы явитесь в суд с вашим материалом, так вас через три минуты выставят вон.

— Это я знаю. Но знаю еще, кроме того, что из Грэтаи передаются врагам важные сведения и знаю, кто собирает и передает их. Знаю, что здесь произошло уже два убийства и скоро может произойти третье. И убежден, что знаю, кто убийцы. Что же, прикажете после этого сидеть тут до будущего рождества и собирать такие улики, какие вам требуются? Нет, надо действовать нахрапом, запугать их, делая вид, что улики у нас в руках, и тогда они сами себя изобличат. Что, в автомобиле Шейлы ничего не найдено?

— Ничего существенного, — ответил Хэмп. — Я на это и не рассчитывал. Пока нет доказательств, что с нею был кто-нибудь...

— Если не считать такого пустяка, как удар по голове, — сказал я резко. — А я из этого пустяка делаю вывод, что Шейла убита. Ее убийца не подозревает, что мы нашли след удара по за-

тылку. Согласны вы действовать так, как я предлагаю?

Периго, как я и знал, немедленно поддержал меня, а инспектор еще помялся немного, но затем согласился.

— Тогда давайте начнем. Который час? Без четверти одиннадцать? Периго, Диана Экстон вам доверяет, а мне пока еще не совсем. Так бегите к ней, приворитесь сильно взволнованным и скажите, что нужно экстренно передать кое-что Джо и чтобы она сделала это немедленно. Ей он, конечно, поверит. Скажите, что вчера на Белтон-Смитовском заводе была попытка саботажа. Что видели убежавшего с завода человека, пожежего на Джо, и полиция будто бы имеет доказательство, что Джо был там. Когда? Около половины двенадцатого. Все запомнили?

Периго повторил все слово в слово. Очень способный человек был этот Периго. Я не счел нужным спросить мнения инспектора о моем плане и продолжал:

— Еще одно. В разговоре с Дианой упомяните, как будто между прочим, что автомобиль Шейлы Кэстсайд прошлой ночью угодил в канал и Шейлу мертвой вытащили из воды сегодня рано утром, а случилось это из-за того, что она, по видимому, была пьяна. Диана и это тоже непременно расскажет Джо. Да смотрите — настаивайте, чтобы она тот час отправилась к Джо. Achtung! Achtung!

По уходе Периго я вспомнил, что мне надо попросить свидания у полковника Тарлингтона. Я позвонил сперва к нему домой, затем на завод, где и нашел его. Сказал, что мне очень нужно увидеться с ним возможно скорее и переговорить о моей предстоящей работе у Чартерса и еще о двух-трех делах. Он очень вежливо объяснил мне, что будет занят весь день и обедает сегодня рано, в гостях, но вернется домой часам к десяти вечера и может тогда принять меня, если я не боюсь выходить так поздно. Я поблагодарил и сказал, что приду... Затем добавил:

— Я только-что узнал, что Скорсон из министерства снабжения говорил с вами в среду из Лондона и, между прочим, рекомендовал меня вам. Хотелось бы знать, повлияет ли это на ваше решение... Да? Очень рад. Итак, в десять часов.

— Не хотел бы показаться навязчивым, — сказал мне слушавший этот разговор инспектор со своей обычной тягеловесной иронией. — Но что это за новый номер?

— Вы помните, что в среду вечером около девяти часов, в то самое время, когда Олни убили и потом перевезли мертвого в другое место, полковник беседовал с Лондоном по телефону? Вы

сами мне об этом сообщили. Так вот на тот разговор я и ссылаюсь.

— Это-то я слышал. Но это правда, что министр замолвил за вас словечко?

— Полковник Тарлингтон только-что подтвердил это, — ответил я с самым невозмутимым видом. — Скажите, где бы мне достать немного густой чёрной грязи — вроде той, которая остаётся после смазки в старых моторах?

— Сколько вам её нужно? И для чего?

— Столько, сколько может поместиться в почтовом конверте, — сказал я и, подождав, пока он приказал дежурному констеблю достать мне смазки, продолжал: — А для чего — не скажу. Чем меньше вы будете знать о некоторых моих затеях, тем лучше. Зато вот из этого вы, я думаю, сумеете извлечь больше пользы, чем я. — Я подал ему окурочек честерфилдской папиросы, поднятый в лавке Сильби. — Это было найдено вчера вечером — запомните хорошенько! — во дворе Белтон-Смитовского завода и брошено тем самым субъектом, который хотел пробраться в цеха и подстрекнуть рабочих к саботажу. И знайте: несмотря на то, что нашёл я этот окурочек в другом месте, я ручаюсь, что его бросил Джо.

Инспектор не проявил никакого удво-вольствия, но всё же бережно спрятал окурочек в конверт, чтобы показать, что он не хочет идти против меня.

— Ещё что? — спросил он.

— Ваш сержант Бойд сообщил мне вчера, что лакей — или кто он там — полковника Тарлингтона (вы знаете этого человека? Его фамилия Моррис) в прошлую войну служил под начальством полковника, — был у него вестовым. Хорошо бы добыть из архива полковые списки и узнать всё, что возможно, об этом Моррисе: куда он девался после демобилизации и так далее. Эти сведения мне необходимы поскорее. Да и для вас это так же важно, как для меня, — сказала я с ударением.

— Вы думаете, что тут кроются какие-то махинации? — спросил инспектор, вываливаясь могучим телом из глубокого кресла.

— Не знаю, что вы называете «махинациями». Но, если то же, что разумею под этим я, так ответ мой будет «да».

Я ждал, куря трубку без особого удво-вольствия, а инспектор (он был осторожен, но не медлителен) развил усиленную деятельность и отдавал распоряжения. Через некоторое время я посмотрел на часы. Я боялся, как бы Джо до нашего визита не ушёл из дому в «Трефовую даму», так как мне важно было разыграть всю подготовленную сцену именно у него в комнате. Тут меня позвали к телефону. Это Периго звонил из квартиры Дианы.

«Она ушла, — сказал он тихонько, — а я остался, чтобы осмотреться и навести здесь порядок. А то, знаете, здесь может оказаться нечто такое, что ей приятнее будет скрыть от глаз дураков, которым она не доверяет». Я слышал, как он хихикнул, и понял, что он там не теряет даром времени.

Мы доехали в автомобиле полицейского управления до Пальмерстон-Плейс, где жил Джо, и не подошли к дому № 27, пока не увидели торопливо выходящую оттуда Диану Экстон. Когда она скрылась из виду, мы вошли и спросили Джо, который, видимо, слыл здесь важной персоной и занимал довольно большую и очень грязную комнату на втором этаже. Мы застали его в каком-то модном халате, сильно нуждавшемся в чистке, и вообще он имел далеко не такой щеголеватый и опрятный вид, как в баре за своей стойкой. Я не заметил в нём никакого беспокойства. Он встретил нас с улыбкой на широком загорелом лице. И даже, увидев меня, не перестал улыбаться, хотя мой приход явно удивил его. В комнате было много книг. Я никак не предполагал, что Джо — любитель чтения.

Какого бы мнения ни был инспектор о подобном способе выполнения своих служебных обязанностей, он блестяще разыгрывал навязанную ему роль с того самого момента, как мы вошли в комнату.

— Мистер Джо Болэт? — спросил он непринуждённо, но весьма внушительно. — Так вот, мистер Болэт, я — полицейский инспектор Хэмп. С мистером Нейландом вы, кажется, знакомы. — Затем он сел, поставил шляпу на пол у стула и важно и несколько меланхолично устался на Джо.

— Ну, в чём же дело? — спросил Джо, которому это не понравилось. — Мне скоро на работу идти, а я ещё не одел.

— Вчера вечером была сделана попытка проникнуть на территорию авиазавода, — начал инспектор медленно, отчеканивая слова. — Были перерезаны провода. Сторожа во-время подняли тревогу, но схватить этого человека не удалось. Однако кое-кто видел его, когда он бежал к воротам, и нам его описали в общих чертах.

— А я-то тут причём? — спросил Джо.

— Это мы и хотим выяснить. Видите ли, один из свидетелей утверждает, что бежавший похож на вас. Он почти готов присягнуть, что то были вы. Кроме того, мы нашли вот это. — Инспектор вынул конверт, извлек оттуда окурочек. — Честерфилдская папироса. Редкость у нас в Грэтли. Их нигде не купишь. А нам случайно известно, что вы курите такие папиросы. Да вот, кстати, я вижу пачку на столе. Может быть, в городе и найдётся ещё два-три человека, которые

тоже курят честерфилдские, но трудно предположить, чтобы они были похожи на вас. Конечно, свидетели могли из-за плохого освещения принять за вас кого-нибудь другого, но вряд ли возможно такое совпадение, — что этот другой тоже курит честерфилдские папиросы. Так что, я полагаю, мы вправе задать вам несколько вопросов. Например, — где вы были вчера вечером, мистер Болэт?

— Работал, как всегда, в «Трефовой даме».

— И ушли оттуда ровно в половине одиннадцатого, — сказал инспектор с видом человека, которому всё известно и который никогда не слышал о таких вещах, как блеф. — Нас интересует как-раз дальнейшее. Итак...

— Я вернулся домой, — сказал Джо, всё ещё довольно уверенно.

— Ага. — Тут инспектор вдруг вытянул громадный указательный палец. — Но я слышал, что сюда вы вернулись не раньше трёх четвертей двенадцатого.

Средство подействовало. Джо, вероятно, подумал, что мы уже расспросили кого-нибудь внизу, и вынужден был сознаться, что он вернулся домой именно в это время.

Инспектор уселся так прочно, как будто он намерен был провести на этом стуле не один час.

— Нас интересует как-раз этот промежуток времени между вашим уходом из «Трефовой дамы» и возвращением домой. Только будьте точны, мистер Болэт. Вы не можете себе представить, какое множество людей — иногда совершенно невинных — спотыкается на таких мелочах. Нужно говорить одну только правду, больше ничего. Если вы не сдавали ничего дурного, правда вам повредить не может.

Он ждал. А Джо не знал, на что решиться. Если бы его заподозрили в каком-нибудь обыкновенном преступлении, он предоставил бы полиции продолжать расследование и искать доказательств. Но я предусмотрительно выбрал как-раз то, в чем ему очень не хотелось быть заподозренным, — и он поспешно ухватился за возможность доказать своё алиби.

— Не хотелось бы впутывать женщину в неприятности, — пробормотал он.

— Вполне вас понимаю, мистер Болэт, — сказал инспектор. — Этого никто из нас не любит. Но мы не выдадим вашей маленькой тайны. Так что вы можете нам сказать, кто эта женщина и куда вы с нею ездили.

— Это одна из постоянных посетительниц нашего бара, миссис Кэстлсайд, жена майора Кэстлсайда, — начал Джо. — Мы часто с нею болтаем, шутим. Она славная бабенка. Когда я вышел, она

как-раз садилась в свою машину и говорит: «Садитесь, Джо, я вас подвезу». И еще прибавила, что ей надо кое-чем меня спросить. Если уж хотите знать, она была сильно навеселе. Неохота это говорить — пила-то она в моем же баре, — но это факт. Она здорово подвыпила. И молочла всякую чепуху, спрашивала, не слышал ли я, что болтают о ней мужчины в баре, и все такое. Мне это скоро надоело. Да к тому же она гнала машину, не разбирая дороги, — наверное, плохо видела в темноте. И заехала не туда, а я за разговорами сперва и не заметил этого. Наконец, смотрю — мы все еще кружим около парка. Тогда было, должно быть, около четверти двенадцатого. Я попросил ее остановить машину, сказал, что устал и с меня хватит, выключил да и пошел домой.

— А она?

— Ее это, должно быть, взбесило. Автомобиль промчался мимо меня, вниз по холму. Похоже было на то, что она не смотрит, куда едет, как будто ей это все равно. Я же вам говорю, она подвыпила. — Джо насмешливо улыбнулся.

— Кто-нибудь видел, как вы выходили из автомобиля?

— Если кто и видел, так я-то его не видел. Темно было и поздно, — знаете, каково у нас теперь на улицах в вечернее время.

Инспектор вел себя так, как будто допрос еще только начинается.

— А в каком именно месте вы вышли?

Не дожидаясь ответа Джо, я сказал:

— Извините, сейчас вернусь, — и сошел вниз. В кухне, давно не подметавшейся как следует, я застал квартирную хозяйку Джо, женщину на вид ещё молодую, но, как мне показалось, уже разочарованную жизнью. Может быть, в этом виноват был Джо?

— Джо одевается, — сообщил я ей, — и просит дать ему те башмаки, которые он надевал вчера.

— Я их только-что чистила, — сказала она и принесла пару черных ботинок, вычищенных довольно небрежно. Я взял их подмышку и, выйдя из кухни, старательно закрыл за собой дверь. В передней висело несколько пальто одно на другом. Я осмотрел черное, самое новое и щегольское из всех. Джо, видно, стал неосторожен: в одном кармане я нашёл пару перчаток, в другом — короткую, но тяжелую резиновую дубинку, которая немедленно перекочевала ко мне в карман. После этого я подошел к цыновке перед входной дверью и, стоя спиной к кухне, чтобы хозяйка не видела, что я делаю, если вздумает подглядывать, смазал ботинки в нескольких местах похуже на грязь черной смазкой, которую мне дал инспектор. Теперь

мне оставалось только легонько оттереть ботинки о цыновку, счистить с пальцев грязь, спрятать конверт в карман и отправиться наверх, что я и сделал. Я постарался, чтобы те двое наверху не заметили башмаков.

Было ясно, что инспектор и Джо застряли на мертвой точке. Я это предвидел. Джо настаивал, что он вышел из автомобиля Шейлы у парка около четверти двенадцатого. Он держал себя весьма уверенно. Инспектор тоже, но я видел, что ему это начинать надо.

— Я ему сейчас сказал, что машина миссис Кэстасайд с нею вместе свалилась в канал как-раз напротив завода Чартерса. А он уверяет, что ничего об этом не знал.

— Да откуда же мне это знать, если я ушел от нее за добрых две мили от того места! — запротестовал Джо. — Мне ей богу жалко, что она утонула, но я же вам говорил: она была здорово пьяна и с нею могло приключиться всё, что угодно. Я её все уговаривал, чтобы она дала мне править. — Он окончательно успокоился и вдохновенно сочинял новые подробности.

Итак, инспектор сделал свое дело, и теперь наступило время действовать мне — и действовать в совершенно ином духе. До сих пор все шло гладко, и Джо уже улыбался, считая себя победителем. Теперь с ним поговорят по-иному.

— Довольно тебе врать, гад! — заорал я, стоя перед ним, но все ещё пряча ботинки за спиной. — Я скажу тебе, когда ты вышел из её машины и в каком месте. Ты вышел около половины двенадцатого — и место могу тебе указать. Это не больше, как в двадцати ярдах от канала.

Мои слова согнали улыбку с лица Джо и пробудили в нем сильное беспокойство, а на это как-раз я и рассчитывал.

— Вы слишком беспечны, Джо, — продолжал я (совершенно как из какого-нибудь фильма о гангстерах) — и вы засыпались. Вы не заметили черную грязь на том месте, где вы стояли, — из-за темноты, должно быть, — но вы могли бы заметить потом, что она налипла на ваши ботинки. Смотрите! — и я ткнул их ему чуть не в лицо, с которого исчез всякий след самоуверенности. Теперь он был в моих руках.

— Вы не тогда вышли, когда машина была у парка, — бросил я ему. — Вы вышли около того места, где она полетела в канал. Верно это или нет? Не лгите больше. Я могу доказать, что это так.

Он облизал губы. Он не знал, насколько мы осведомлены обо всём, и я вовсе не намерен был просветить его на этот счёт.

— Ладно, — пробормотал он, — всё было так, как я сказал, только вышел я не у парка, а неподалеку от канала.

— Ага, значит вы были там? — подхватил инспектор. — Вы подтверждаете это? Дальше что?

— Больше ничего. — Джо заговорил очень быстро. — Я вам сказал всё, что знаю. Она была пьяна. Мне пришлось уйти от нее. Она не в состоянии была управлять машиной. Я ей говорил...

Я швырнул на пол башмаки и, упершись ладонью в лицо Джо, заставил его откинуться назад, на спинку стула.

— Я повторю тебе, предатель, то, что ты сказал ей! Ты пригрозил, что, если она не добудет нужных тебе сведений, ты расскажешь все, что знаешь о ней.

Я увидел, что выстрел попал в цель.

— А она ответила, что никаких сведений передавать не будет и сейчас же отсюда поедет и расскажет полиции, чего ты от нее требовал. Ты видел, что это не пустая угроза с её стороны, и решил, что остается только одно. И ты это сделал: оглушил её ударом, завел мотор, выскочил и дал машине полететь прямо в канал. И вот чем ты её оглушил — вот смотри! — Я потряс резиновой дубинкой перед его глазами.

Тут Джо окончательно растерялся. Я не дал ему опомниться и сообразить, какие же улики имеются против него. Теперь он уже не сознавал, что делает. Он испускал какие-то хриплые крики, которые, может быть, заключали в себе слова, а затем, очевидно, забыв о том, что не одет, бросился к дверям. Но инспектор опередил его и, взяв его своей массивной рукой за плечо, слегка встряхнул.

— Наденьте что-нибудь, — сказал он. — И тогда можете ехать с нами и сделать заявление. Это облегчит вашу участь.

Я сказал инспектору, что доведу в автомобиле до управления и отошлю машину обратно для него и Джо. Мне нужно было как можно скорее повидать Периго и, так как мы не уговорились, где встретиться, и ему не было никакого смысла слоняться под дождем по улицам, то я был уверен, что он вернется в управление. И действительно, он пришел через пять минут после меня. Я сразу увидел, что у него есть новости, но потащил его в гостиную «Ягненка и шеста», где мы могли поговорить на свободе и в случае надобности воспользоваться телефоном. Рассказав ему о Джо, я спросил, нашел ли он что-нибудь в комнате Дианы.

— Там была какая-то голубая шкатулка, которую я не сумел открыть, — сказал он, улыбаясь, — но зато на дне комода я нашел вот это. Обычный код-кое-что взято в Америке — вопросы о;

тематизме тетушки и дядюшкиных лошадей и коровах. Нашим письмам в Отделе расшифровать эти письма будет так же легко, как прочитать модный роман.

Несколько минут мы вместе просматривали найденные письма, сидя в гостиной «Ягненка и шеста». Со стороны нас можно было принять за двух мирных обывателей, занятых деловым разговором.

— Вы не любите Диану? — спросила меня вдруг Периго, складывая письма. — Конечно, она предательница, она на стороне наших врагов, но, может быть, она вам нравится, как женщина? Мне казалось, что у вас с нею какие-то амурные дела. А, Гэмфри?

— Нет, она мне не нравится, — ответил я. — И ошибка её — все от того же самомнения! — заключалась вот в чем: она не подумала, что «амурные дела», как вы это называете, я, так же, как и она, мог затеять в интересах дела. Я думаю, что сердце её принадлежит какому-нибудь типу из рейхсвера с моноклем и в сапогах с отворотами, который накачивал её рейнским вином, уверял, что она — Брунгильда, а затем поступил с нею, как полагается такому субъекту. И, если хотите знать мое мнение, такой для Дианы — подходящая пара. Они похожи друг на друга в том отношении, что умны, пока дело не дойдет до одного пункта, а там — становятся глупы, как пробки. И вся их беда в самодовольстве. Они воображают себя титанами, разгваливающими среди пигмеев. Они — тупы.

— Я к Диане сразу почувствовал антипатию, — сказал Периго. — Но, надо вам сказать, я и раньше никогда не доверял таким крупным, красивым, хорошо сохранившимся холодноглазым женщинам. Они хранят в себе закупоренной всю свою женскую дурь до тех пор, пока она не превращается в чистейшее помешательство. Тогда как женщины, которые дурят открыто, даже чересчур давая волю своим фантазиям, при близком знакомстве часто оказываются мудрее Соломона. Ну, хорошо, но что же нам делать с Дианой, которая попрежнему горда и доверчива, только чуточку беспокоится о Джо, полезном товарище по работе? Если вы не возражаете, я хотел бы, чтобы вы предоставили мне заняться ею.

— Я только-что хотел вам это предложить, — сказал я. — Мне думается, как только она узнает, что с их организацией здесь кончено, она, вместо того, чтобы оставаться в Грэтли и замести следы (а это ей было бы негрудно), по глупости своей сразу сбежит отсюда и отправится за дальнейшими инструкциями.

— Каждое ваше слово — святая истина, — со смехом сказал Периго. — Честное слово, буду просить о переводе в ваш Отдел. Мне нравится ваше знание людей и гибкость ваших методов. А что, если я через несколько минут побегу опять к Диане, еще более встревоженный, чем в первый раз, и объявлю ей, что Джо арестован, и начал выдавать всех, но её пока, кажется, не запутал...

— Вот, вот! Скажите ей, что все пропало и что вы тоже сегодня смываетесь...

— А пока предложу ей свои услуги, как товарищ, второй великий ум среди болванов, — воскликнул Периго, окончательно развеселившись. — Отвезу её на вокзал, предложу взять для нее билет, чтобы сберечь время и не возбуждать подозрений. А там...

— А там — дадите кому следует телеграмму в то место, куда она едет, — по всей вероятности, в Лондон, — и мы прищемим хвост не только ей, но и её инструкторам, — подхватил я.

— Ну, а как насчет акробатки, которая, признаюсь, вызывает во мне некоторый эстетический интерес?..

— Фифин я тоже уступаю вам, — сказал я. — Она ваша. Кстати, в их труппе есть один парень, Лерри, который хорошо разбирается во всем и был мне полезен.

— Лерри?.. Погодите... Ах, да, помню. Самый плохой комик из всех, виденных мною когда-либо на эстраде. Так, если мы решим оставить Фифин продолжать свою деятельность ещё две-три недели (а мне думается, это было бы правильно), — Лерри нам пригодится.

— Да, его стоит испытать. Но это вы уже сами решайте. Я вечером буду занят в другом месте. Хочу управиться ещё сегодня со всем этим делом, со всей честной компанией.

Периго вдруг перестал паясничать и превратился в серьезного пожилого человека, который смотрел на меня с дружеским беспокойством.

— Но вы будете осторожны? Смотрите, Нейлэнд!..

— Не слишком, — сказал я, втайне надеясь, что это не звучит хвастливо. — Я сегодня решил итти напролом, Периго. Мне с самого начала не по душе была работа в Грэтли. Это проклятое место как-то особенно раздражает и угнетает меня. Хочу поскорее с ним расстаться. А там буду просить Отдел, чтобы отпустили меня. Хватит с меня ловить шпионов! Я считаю, что достаточно поработал, пора вернуться к любимому делу. Для людей моей профессии, — продолжал я, разгорячившись, — должно быть сейчас много работы. Строить мосты, железные дороги... Периго, я хочу на воздух! Хочу делать настоящее дело, создавать что-то!

Я вовсе не намерен уваливать от войны. Я готов идти в самую гущу, работать в самом опасном месте. Но мне нужен воздух и солнце. Иначе я скоро так выдохнусь и закисну, что возненавижу себя самого.

— А кроме себя, вам любить некого? — спросил Периго, и я видел, что он не острит, а говорит серьезно.

— Нет, я одинок. — И я рассказал ему о Мараките и мальчике, в нескольких словах, только для того, чтобы он не подумал, что я рисуюсь.

— Понимаю. — Он как будто хотел что-то прибавить, но осекся. — Ну, а что касается возвращения вашего к прежней специальности, так, если военное ведомство вам в этом может помочь (а вы, я думаю, сейчас хотели бы переключиться на работу военного инженера), у меня есть кое-какие знакомства в министерстве, и я попробую похлопотать... Вот. А теперь бегу к Диане и постараюсь вселить в нее спасительный страх.

Я позвонил в полицейское управление и узнал, что для меня имеются известия из Лондона, которых я очень ждал. Мне их прочитали по телефону, и затем я помчался под дождем домой на Раглан-стрит и сел строчить донесение в Отдел. Мистер Уилкинсон, великий стратег среди железнодорожников Грэтли, разработал теперь новый план захвата Голландии, который был бы весьма заманчив, если бы только мы имели в своем распоряжении сотен пять больших военных судов, которые нигде больше нам не были бы нужны. А миссис Уилкинсон, с которой мы очень подружились и которая жадно слушала мои преувеличенно восторженные рассказы об Южной Америке, не придумывала никаких планов быстрого окончания войны и вообще рассматривала войну не как дело рук человеческих, а как громадное стихийное бедствие. У миссис Уилкинсон имелся свой фронт — продуктовые лавки и поставщики, — и она воевала на этом фронте с кроткой настойчивостью и мужеством, никогда не требуя больше того, что ей полагалось, но преисполненная спокойной решимости получить все то, что полагается. Делала она это не ради себя, а ради того, чтобы можно было прилично кормить мужа и меня. В иные моменты — и сегодня был как-раз один из них — я склонен был подозревать, что миссис Уилкинсон на миллион лет старше всех нас, всех членов Военного кабинета, и своего супруга, и Гэмфри Нейлэнда, — и что где-то в глубине души она это знает.

К четырем часам я была на Шервуд-Авеню, и меня проводила в гостиную та самая австриячка, обрадовавшаяся со мною так, как будто я был шестифутовой

склянкой яда. Маргарет Бауэрнштерг ожидала меня. Сегодня она была в тем нозеленом платье с темнокрасной отделкой на воротнике и рукавах и показалась мне очень эффектной. Мне казалось также, что она специально постаралась об этом, но чтобы скрыть свои усилия, а может быть, и оттого, что она заплакала вчера перед нашим расставанием, она держала себя сегодня со мной в высшей степени холодно. Она словно давала мне понять, что это свидание за чашкой чая — ужасная нелепость, и что она только из вежливости не говорит этого.

Что ж, раз так, я тоже мог взять на себя роль в этой комедии, но играть по-своему. И я начал сразу же:

— Где же ваш деверь? — спросил я тоном сборщика, пришедшего за сильно просроченной квартирной платой.

— Он сейчас сойдет вниз. Мы думали, что лучше подождать вашего прихода, — сказала Маргарет с терпеливой и унылой кротостью, которая вызывала во мне желание запустить в эту женщину чем попало. — Ведь, кто-нибудь мог бы неожиданно прийти и увидеть его.

Я кивнул головой.

— Да, знаете, мы поймали убийцу Шейлы Кэстлсайд.

Она была удивлена и не скрыла этого.

— Как быстро! Когда же вы успели собрать улики?

— А мы их и не собирали. Я вчера вечером догадался, кто это сделал, а сегодня мы отправились к нему, нашумели, запугали его — и подействовало.

— Можно узнать, кто это?

— Да. Это Джо.

— Джо?

Было ясно, что, наконец-то, я говорил с жительницей Грэтли, которая не проводила половину своей жизни в «Трефовый даме» и не знала, кто такой Джо. Я испытывал непонятное удовольствие, объясняя ей, кто он. Но о шпионской деятельности Джо не сказал ни слова, а она не задавала никаких вопросов, только раз-другой как-то странно посмотрела на меня.

Чай появился в гостиную раньше, чем Отто, и мы с Маргарет продолжали свой полу-дружеский, полу-полемический разговор за чаем с лепешками.

— Чем вы собственно сейчас занимаетесь? — спросила она без особого интереса и словно не ожидая ответа.

— Это я вам скажу не сейчас, а перед самым моим отъездом, — ответил я.

— Я вас раздражаю?

— Да.

Такого ответа она, вероятно, и ожидала, но, услышав его, рассердилась. Я увидел, как её глаза сверкнули гневом.

— У меня не часто появляется жела-

ние бить людей, — сказала она. — Но вас мне иной раз сильно хочется ударить.

— А мне хотелось бы, чтобы вы попробовали это сделать.

Мы зашли в тупик. Продолжать дальше разговор было бессмысленно. И, пожалуй, хорошо, что как-раз в эту минуту вошел Отто Бауэрнштерн.

Это был человек моих лет, нервный, близорукий, с наружностью кабинетного ученого, и, видимо, очень слабого здоровья. Он не понравился мне, — но, может быть, только потому, что его невестка смотрела на него с любовью и тревогой, совсем не так, как на меня. Отто, взяв у нее из рук чашку чаю, но, словно, не знал, что с нею делать. Маргарет бросила мне умоляющий взгляд, который ясно говорил: «Падите его», но я не успокоил её ни малейшим жестом или кивком и смотрел на неё с нарочитым равнодушием.

— Вы желали поговорить со мной, — начал Отто осторожно. Он говорил с сильным немецким акцентом, но я не собираюсь здесь коверкать слова, подражая его произношению.

— Да. Почему вы остались в Грэтли?

Он закрыл глаза и вздернула плечи:

— Что же другое я мог сделать? Куда мне было деваться?

— Нелепый вопрос, — вмешалась и Маргарет (конечно, на этот раз обращаясь ко мне). — Для него безопаснее было оставаться здесь, где мы могли о нем заботиться.

— Нет, не потому. Я жду правдивого ответа, мистер Бауэрнштерн, — сказал я сурово. — И, если вам это может помочь, я выскажу вам, пожалуй, свое предположение. Вы остались здесь, рискуя, что об этом узнают и арестуют вас, только потому, что в этом городе есть человек, которого вы хотели выследить.

Я видел по лицу Отто, что попал не в бровь, а прямо в глаз. Но Маргарет попрежнему негодовала.

— Нет, это неправда, — начала было она, но остановилась, прочтя, как и я, ответ на лице Отто.

— Но ты ничего мне об этом не говорил, Отто! — воскликнула она.

— Я не мог сказать тебе, Маргарет, не мог никому сказать, — оправдывался расстроенный Отто. — Передо мной промелькнуло раз лицо... на один миг... Ночью, на заводе Чартерса. Потом опять, тоже ночью, в городе.

— Так вот почему ты непременно хотел выходить по вечерам! Я подозревала, что это не спроста...

— Понимаете, — сказал Отто, обращаясь к нам обоим. — Мне казалось, что я узнал этого человека. Но у меня не

было полной уверенности. А выяснить это было очень важно.

— Вы хотели, например, убедиться, есть ли у этого человека шрам на левой щеке? — спросил я и увидел, что вся кровь отлила от лица Отто.

— Отто! — испуганно вскрикнула Маргарет.

Он улыбнулся и покачал головой.

— Не беспокойся, Маргарет. — Он сдвинул над собой усилии, взглянул на меня.

— Это верно. Но откуда вы узнали, что я именно этого человека искал?

— Мало ли откуда, — сказал я с расстановкой, пристально глядя на него. — А откуда я узнал, например, что вы состояли в партии нацистов?

— Вы мерзкий клеветник!

Это исходило, разумеется, от Маргарет и прозвучало, как щелканье бича.

Я сердито прикрикнул на неё:

— Довольно! Я пришел сюда, чтобы узнать правду, и говорю только правду. Если вам это не нравится, тем хуже для вас. Мне ещё очень многое нужно выяснить сегодня и, если вы не хотите помочь, так, по крайней мере, молчите и не мешайте мне.

Отто весь дрожал. Я сейчас только сообразил, что он, очевидно, любит её, — и это осложняло дело. Мне вдруг стало жаль его. Что-то подсказывало мне, что этому человеку нет места на земле, что он уже, в сущности, мертвец.

— Я буду говорить с вами прямо, без уворток, Бауэрнштерн, — сказала я спокойно, давая ему время оправиться. — Вам показалось, что вы встретили здесь одного человека, немца, нациста, которого вы знавали раньше. Этому человеку было известно, что вы здесь, и он решил донести, что вы — бывший наци. Он, конечно, не пошел сам доносить, этого он не мог сделать, а послал анонимный доклад. И вот почему к вам вдруг начали относиться, как к врагу. Всё это мне сегодня сообщили из Лондона. Вы вышли из партии, но вы в ней состояли несколько лет и, эмигрировав, пытались скрыть этот факт. К несчастью для вас, в Лондоне есть два человека, которые помнят вас и знают, что вы были нацистом.

Она была женщина, она любила Отто и видела его сейчас униженным и глубоко несчастным. То, что она услышала, грозило осквернить и память о муже, о Вене, обо всём, что было ей так дорого. И поэтому она не упрекала Отто, и гнев свой обрушила на меня.

— Как я вас ненавижу! И зачем я позволила вам притти ко мне в дом!

— Вряд ли было бы лучше вести этот разговор в полицейском участке, — возразил я. — И вы ничуть не поможете

Отто тем, что будете оскорблять меня. Если все это вам так неприятно, почему вы не уходите?

— Потому что я вам не доверяю! — закричала она.

— Ну, ну, перестань, Маргарет, — сказал Отто. — Во всём виноват я сам. Это правда, что я вступил в партию наци — я был обманут, как и многие другие — мне приказали никому не говорить об этом. Я скрывал это от Альфреда, потом от тебя. Но, когда они водворились в Вене и я увидел, каковы их истинные намерения и что они собою представляют, я вышел из их партии. Сделать это было нелегко. И с тех пор я хотел только одного: бороться с ними, помочь их разгромить, и, если понадобится, умереть за это. Поверь мне, Маргарет, прошу тебя!

Он снял очки, чтобы вытереть глаза, и лицо его без очков стало сразу беспомощным и детским, как у большинства очень близоруких людей, когда они снимают очки. Это обезоружило Маргарет, и она улыбнулась ему нежной, прощающей улыбкой и на мгновение прикрыла его руку своей.

— Я тоже верю вам, — сказал я. — И если вы хотите помочь в борьбе с наци, вам сейчас представляется случай. Мне нужно сделать как-раз то, что хотели сделать вы, и прежде всего установить имя человека со шрамом на левой щеке. Вы сказали, что его виденное мельком лицо напомнило вам кого-то. Кого же?

— Я не могу вам этого сказать, пока не буду знать, кто вас уполномочил задавать такие вопросы, — возразил Отто с достоинством. — Доктор Бауэрнштерн только-что сказала, что она не доверяет вам. Как же я могу доверять вам? Кому знать, как не мне, что агенты наци имеются повсюду и даже здесь, в Англии?

Я посмотрел на Маргарет, у которой был смущённый вид.

— Ну, спасибо, удружили, доктор! Теперь он мне не верит! Два человека, знавших слишком много, на этой неделе уже убиты в Гретли агентами наци. Будем ждать, пока они убьют третьего, и скажут: «Хайль Гитлер!» Так, что ли?

— Не говорите мне, что это была ребяческая выходка, я это и сам знаю. Но уж очень я был задет.

Ничего не отвечая мне, она обратилась к Отто:

— Я, ведь, говорила тебе, Отто, что вчера мистер Нейлэнд работал вместе с инспектором Хэмпом и как будто даже распоряжался всем он, а не инспектор. Я думаю... что... — Она остановилась.

Отто кивнул головой и посмотрел на меня.

— Лицо, которое я видел, напомнило

мне одного наци, капитана Феликса Роделя.

— Спасибо, — сказал я деловым тоном. — Ну, а я знаю, где его найти, и сегодня вечером собираюсь побеседовать с ним.

— Вы хотите, чтобы я пошёл с вами и изболочил его? — спросил он стремительно. — А куда надо идти?

— В дом, где я ещё ни разу не бывал. Но я приблизительно знаю, где он находится, — на расстоянии мили от завода Белтон-Смита. Это усадьба полковника Тарлингтона, и называется она Оукенфилд-Мэнор. Там мы встретимся с вами в девять часов у главного подъезда.

Он повторил мои инструкции несколькими недоумевающим тоном, потом спросил:

— А револьвер у вас есть?

— При себе нет, — отвечал я. — Нам не рекомендуется носить оружие, и я обхожусь без него. А что?

— Если это Родель, так он очень опасный человек.

— Придётся рискнуть, — сказал я, вставая. — Значит, я буду ждать вас там в девять. — Я повернулся к Маргарет, у которой был не очень-то весёлый вид. Я не надеялся увидеть её ещё когда-нибудь, и у меня было что сказать ей, но не мог же я сказать это в тот момент.

— Спасибо за чай. Будьте здоровы. — И я поспешно вышел. Мне показалось, что она что-то сказала и вышла за мной в переднюю, но я не остановился, чтобы убедиться в этом, а сорвал с вешалки пальто и шляпу и почти выбежал в холодный сырой полумрак улицы. Близился уже час затемнения.

9.

Я пошёл опять на Раглан-Стрит, чтобы узнать, нет ли чего нового, и нашёл дома записку от инспектора, сообщавшего мне, что Джо некоторое время заперся, но, в конце-концов, не выдержал, сознался и потребовал священника. Но сознался он только в том, что нанёс удар Шейле и пустил машину в канал. Он отрицал какую бы то ни было причастность к шпионажу и не выдал ровно никого. И так, предстояло ещё немало возни с ним. Инспектор переслал мне и записку от Перига. В ней Периг писал, что обедает сегодня в «Трефовой даме» и надеется, что я тоже приду туда и пообедаю с ним.

Я пошел туда около половины восьмого, и мы встретились с Периго в баре. Бар был полон, но чего-то словно не хватало. За стойкой растерянная девушка безуспешно пыталась заменить Джо. Мне хотелось выпить, и я сказал об этом Периго.

— Почему же нет? — отозвался он с

привычной усмешкой. — У вас сегодня был удачный день.

— Он ещё не кончился, — напомнил я. — Главное впереди. И, повидимому, придётся действовать тем же путём, потому что у нас нет достаточных улик. Надо не дать им времени сообразить это.

— А в таком случае вам надо быть трезвым и бодрым, — сказал он.

— Насчёт бодрости не знаю, а грезвым быть надо. И все-таки я хочу сегодня выпить.

Я хмуро рассматривал публику, густо оберлевшую стойку и состоявшую главным образом из молодых военных с их подругами.

— Я сегодня чувствую себя старым, очерствевшим брюзгой. Все неутешительно — и проклятая война, и то, что я вижу в этой стране, и мои личные дела.

— Вот принесу вам вторую порцию, покрепче, и тогда потолкуем, — сказал Периго. Он засеменил к стойке и очень скоро вернулся с двумя новыми порциями (он как-то всегда умудрялся получить все раньше других).

— Ну-с, — начал он весело. — Теперь я буду говорить с вами, как мудрый старый дядюшка. Войну мы выиграем — то-есть, мы, несомненно, победы державы оси — ибо, по-моему, союз Америки, России, Англии и Китая не может быть побежден. Дальше — страна. Стране нашей предоставляется на выбор одно из двух: она может в течение ближайших двух лет либо зажить полной жизнью и начать все сначала, либо быстро разлагаться и умирать от все тех же застарелых болезней. Первое достижимо, если она крепко возьмет за шиворот пятьдесят тысяч почтенных, влиятельных джентльменов и твердо прикажет им замолчать и прекратить свою деятельность, если они не хотят, чтобы их заставили делать что-либо весьма неприятное. Во времена моего процветания — а они уже позади — я по справедливости мог быть причислен к этим господам. Ну, а что касается вас, Нейлэнд, так вы не так молоды, чтобы делать мудрые глупости, и не так стары, чтобы успокоиться в глупой мудрости. Вам нужна перемена... И, пожалуй, нужна женщина, которую вы бы любили и уважали и которая твердила бы вам, что вы — чудо. Теперь давайте захватим столик — война войной, а надо еще разок пообедать как следует, пока это заведение не закрылось или не начало отпускать только одно жиденское пиво.

В середине обеда Периго вдруг сказал:

— Смотрите, наш друг мисс Джесмонд покинула своих мальчиков и собирается нанести нам визит. Что нам сказать ей, как вы думаете, Нейлэнд?

— Да первое, что придет в голову, —

проворчал я. — Её ждёт парочка приятных сюрпризов.

Но самый неожиданный сюрприз ждал нас.

Некоторое время мы беседовали с нею. Начала она с того, что её беспокоит отсутствие Джо, который сегодня в первый раз не вышел на работу.

— Можете не беспокоиться, — сказал я. — Джо арестован. Вам придётся проститься с Джо, миссис Джесмонд.

— А, ведь, любопытно, что я никогда не обманывался насчёт Джо, — заметил Периго.

— И я тоже, — отозвалась миссис Джесмонд совершенно спокойно. — Я всегда находила, что он в высшей степени неприятный субъект и, наверно, очень развратный. Но работник он прекрасный. И «Трефовая дама» без него будет уже не та.

— Бойсь, что «Трефовая дама» вообще скоро будет не та, — ухмыльнулся Периго.

— Что вы хотите этим сказать, мистер Периго?

— Не думаю, чтобы вам позволили продолжать в том же духе, — пояснил Периго. — В конце-концов нельзя же забывать, что у нас война в разгаре. Не считайте меня неблагодарным. Я здесь не раз приятно проводил время, получая прекрасные обеды и находил, что это очень полезное учреждение. И Нейлэнд тоже, вероятно, со мной согласен. Но бойсь, что вам придётся бросить это дело.

— И чёрную биржу тоже, — вставил я, натывая на вилаку кусок цыпленка. — Нет, нет, не беспокойтесь, спекулянты не по моей части, я ими не занимаюсь. Но если я услышу, что вы продолжаете свою деятельность, я буду вынужден донести на вас.

— Я не намерена благодарить вас за предупреждение, — сказала миссис Джесмонд, такая же елейная и безмятежно красивая, как всегда. — И нахожу, что вы — скотина.

— Ладно. А вы — очаровательный пушистый зверь, но не стоите тех больших денег, которые на вас тратит государство. Вы — предмет роскоши, которую мы не можем себе позволить.

— Он об этом не жалеет, а я жалею, дорогая миссис Джесмонд, — сказал Периго. — Вы мне всегда нравились больше, чем я вам. Конечно, я не так молод, как мог бы быть, а вы любите молодёжь, и я вполне разделяю ваш вкус. Но я умею ценить женщин.

Она холодно посмотрела на него и обрратилась ко мне.

— Ходят слухи о смерти Шейлы Кэстлсайд. Это правда?

— Да. Её вчера вечером вытащили из канала.

— Вы относитесь к этому что-то слишком хладнокровно, принимая во внимание, что вы провели с нею вчера целый час в одной из наших спален.

— Я отношусь к этому далеко не хладнокровно. А вчерашний час я употребил на очень серьёзный разговор с нею, — сказал я, глядя в глаза этой женщине. — Что вы ещё хотите знать?

— Видели вы сегодня Диану Экстон?

— Нет. Периго видел. А что?

— Она мне звонила утром, перед лэнчем, но меня не было дома, а она ничего не просила передать.

— Я, пожалуй, могу вам сказать, зачем она звонила, — заметил Периго. — По крайней мере, догадываюсь, в чём дело. Она, должно быть, хотела вам сообщить, что сегодня уезжает из Грэйли... навсегда.

Только едва заметная тень — ничего больше — промелькнула в спокойном лице миссис Джесмонд и, может быть, омрачила глубину её бархатных глаз. Затем она испытующе посмотрела на меня, на Периго.

— Оба вы что-то знаете... насчёт Дианы... Скажите мне. Можете быть вполне уверены, что я сохранию это втайне. У меня есть на то свои причины.

Мы с Периго быстро переглянулись. Это было молчаливое соглашение ничего не выдавать. Миссис Джесмонд, всегда чуткая к таким вещам, тотчас поняла, каково наше решение.

— Вы, вероятно, заметили, что Диана — дура, — сказала она с едва уловимым оттенком нервности. — Одно время она увлекалась нацистами. Потом она уехала в Америку, и я надеялась, что там её научат уму-разуму. По-моему, все это делалось ею ради какого-то мужчины. Когда она вернулась из Америки, она мне заявила, что хочет открыть эту идиотскую лавку. Я считала, что это глупо, но в конце-концов, что мне за дело..

— Пожалуй, в этом вся беда, что вам ни до чего дела нет, — пробормотал Периго. — Вам нужно одно — быть сытой, одетой, уютно жить и развлекаться. Впрочем, это я высказываю скорее точку зрения Нейлэнда, просто комментирую выражение его лица.

Она спокойно поднялась — и тут только посмотрела на меня.

— Я удивилась вчера, увидев вас с нею. Потому что знала, что она не в вашем вкусе. Что с нею случилось?

— Она не могла забыть Нюренберг и высшую расу, — пояснил я. — И предавала родину. Одни делают это ради денег, другие из страха или честолюбия, а она... её, я думаю, толкала на это смесь романтических бредней и безмерного тщеславия.

— Вы совершенно правы, — сказала миссис Джесмонд, готовясь нас покинуть. — Диана всегда была такая. Я её не раз предостерегала. Дело в том, что она — моя сестра. Годом-двумя моложе, конечно и глупее. Да... Только-что один лётчик рассказывал мне о прекрасной маленькой гостинице вблизи одной из их стоянок в Шотландии. Съезжу туда, пожалуй, попытаю счастья. Три с половиной года тому назад одна замечательная гадалка в Каннах (к ней все ходили) предсказала мне, что мне осталось жить только пять лет. Значит, у меня впереди ещё полтора года, не так ли? Как долго! А мне начинает ужасно надоедать эта жизнь. До свиданья.

Мы смотрели, как она лебедем плыла к своему столику и ожидавшему её кавалеру.

— Я достаточно стар, и мне пора бы угломониться, — сказал Периго довольно мрачно. — Но эта женщина меня волнует. Если она уедет в Шотландию, надо будет узнать, куда именно, и в первый же свободный день я съезжу туда и посмотрю, как она поживает. Если её авиация будет в этот вечер на дежурстве, мы сможем посидеть у огня, и она мне, может быть, расскажет о себе, — парочку глав из своей страшной и пикантной биографии. Но раньше, чем она уедет, придется всё-таки познакомиться её с инспектором Хэмпом, человеком столь же замечательным в своём роде.

— Кстати об инспекторе, — сказал я. — Передайте ему, что, если сегодня до половины одиннадцатого от меня не будет никаких вестей, пусть он едет к полковнику Тарлингтону.

— Тогда и я поеду с ним, — сказал Периго. — Если только вы не пожелаете взять меня с собой, Нейлэнд.

— Нет, Периго, спасибо. Я вижу пока только один способ закончить это дело. Способ довольно рискованный и легко может провалиться. Так что не стоит нам обоим раскрывать своё инкогниго. Если не встретимся, загляните завтра утром на Раглан-Стрит. И спасибо за обед.

— Ну, как, трезвы? — спросил он, когда мы вышли из ресторана.

— Трезв — и зол, как черт.

Я застал на углу автобус и, к счастью, сидевший рядом со мной пассажир знал, где находится Оукэнфилд Мэнор, и указал мне, где сойти. Вокруг, как всегда, стоял густой чёрный мрак, и порывистый ветер гнал ледяной дождь. Мне было сказано, что поворот на дорогу к усадьбе, примерно, в четверти мили налево от просёлка. Может быть, это так и было, но мне показалось, что он гораздо дальше. Я брёл с трудом, вглядываясь в темноту и чувствуя, что с каждой минутой:

всё больше промокаю. Когда я разыскал ворота усадьбы, было начало десятого — мне удалось, укравшись под аркой, взглянуть на часы. Здесь должен был встретить меня Отто. Продажа его минут десять, я решил, что он, наверное, меня не понял и стоит где-нибудь поближе к дому. Я двинулся по аллее, так напрягая зрение в темноте, что у меня заболели глаза, и, дойдя до главного подъезда, искал справа, слева: Отто нигде не было. Быть может, любящая невестка убедила его, что жизнь его слишком драгоценна, чтобы рисковать ею в таких увеселительных прогулках.

Я был в некоторой нерешимости, что делать дальше, раз нет Отто, который мог бы изобличить мнимого Морриса. Но я все-таки тихонько обогнул дом, повидимому, не особенно большой, и очутился где-то на задах среди надворных строений. От одной такой постройки, должно быть, из-под двери, тянулась ниточка света, очень тоненькая, но в этой темноте такая яркая, как сигнал маяка. Стараясь не производить ни малейшего шума, я подошёл к двери, которая оказалась незапертой, и тут я поступил не очень-то благоразумно.

Холодная и дождливая ночь, это ожидание и рысканье в темноте, и отсутствие Отто Бауэрнштерна, — всё вместе взятое вывело меня из терпения и родило, должно быть, какую-то отчаянную беспечность. Я толкнул дверь и вошёл.

Я очутился в длинном и узком помещении, вероятно, бывшей конюшне. Она теперь служила складом старой мебели и всякогохлама, а на другом её конце было устроено нечто вроде мастерской. Там под занавешенным окном стоял верстак, а за ним сидел и работал какой-то человек. В первую минуту я не узнал его. Высоко висевшая, покрытая пылью лампочка посредине давала очень мало света, а вторая была затенена так, что освещала только верстак.

Но когда он вскочил, я увидел, что это тот самый человек, которого я встретил у Дианы Экстон, — человек со шрамом.

— Кто тут? — крикнул он резко. Я заметил, что на нём куртка лакея.

Я ступил шаг, другой, снял шляпу и, стяхивая с неё дождевые капли, сказал: — Мне надо поговорить с вами.

Он узнал меня — и в ту же секунду я по выражению его лица понял, что кто-то (вероятно, Диана) сказал ему обо мне нечто, возбуждавшее в нём подозрения. Он повёл себя теперь совершенно иначе, чем вчера. Это должно было бы послужить мне предостережением, но я все с той же беспечностью пошёл напролом.

— Я Моррис, слуга полковника Тарлингтона, — сказал он.

— Неправда, — отпарировал я спокойно. — Вы — капитан Феликс Родель.

Револьвер (маленький, как я потом убедился), очевидно, был у Роделя в руке с той минуты, как он меня увидел, потому что, не успев я выговорить его имя, как он выстрелил. Я ощутил такой сильный толчок в левое плечо, что кубарем завертелся на месте, и понял, что я ранен.

Упав ничком, я ждал следующего выстрела. Плечу было как-то горячо, но боль утихала. Я не видел, как вошел Отто, но услышал шум и его крик «Родель», потом снова треск револьверного выстрела. Я повернулся как-раз в ту минуту, когда Отто упал. Родель медленно двигался к нам, чтобы прикончить обоих. Но тут за мной раздался грохот, оглушающий под этой низкой крышей, и я увидел, как Родель медленно стал валиться. Упав, он сильно дёрнулся, потом по его телу разругой прошла судорога — и всё. Он был мёртв. Отто, стрелявший в него лёжа, должно быть, прострелил ему внутренности. Но что с Отто?

Испытывая головокружение и тошноту, я дотащился до того места, где он лежал. Пуля попала в грудь, и видно было, что минуты Отто сочтены. Он не узнавал меня. Он был уже где-то в ином месте, бормотал что-то по-немецки, но я ничего не мог разобрать. Вдруг он улыбнулся, как человек, сидящий в кругу друзей, и через минуту его не стало.

Я чувствовал, что из моего плеча течёт кровь, но в эти первые минуты не мог и не хотел думать о себе. Я смотрел на этих мёртвых немцев, уже холодеющих в старой конюшне, далеко от родины, в затемнённой Англии. Один, солдат и шпион, отдал жизнь за бредовую мечту о мировом господстве. Другой плутал среди перекрёстков, пока не зашёл в тупик. Он спас мою жизнь. Зачем?

У верстака была умывальник с краном. Я намочил платок, сложил его и, положив на рану, кое-как натянул на это место рукав сорочки и пиджака, чтобы платок не сдвигался. Посмотрев на верстак, я увидел, что Родель сколачивал деревянный ящичек, вроде игрушечной кассы. Это невинное развлечение в субботний вечер, вероятно, давало ему иллюзию, что он еще не утратил связи с прежней, простой и счастливой жизнью. Я подумал, что Родель, вероятно, вышел сюда ненадолго и значит оставил в доме незапертой какую-нибудь из дверей. Я медленно пошел через мощный двор, держа шляпу в руке, и холодный дождь освежил мою горевшую голову. Незапертую дверь, через которую вышел Родель, я разыскал довольно быстро.

Как я и рассчитывал, в доме не было ни души, и можно было спокойно поси-

деть здесь и дожидаться хозяйина. Но сперва я отыскал ванную, которая оказалась у самой прихожей, вымыл руки, пригладил волосы. Из зеркала на меня смотрело чужое лицо, бледное, вытянутое. У меня был вид безумного, но, выпотрошенный, усталый и печальный, я сохранял полную ясность мыслей. Меня мучила жажда, но я не хотел шарить в чужом доме, отыскивая какое-нибудь питье, и, сев в прихожей, принялся старательно набивать трубку. Минут через десять я услышал шум подъезжавшего автомобиля и отпер входную дверь, затем вернулся на свое место.

Полковник Тарлингтон, розовый, элегантный, благоухающий запахом дорогой сигары, широко шагая, вошел в переднюю и, увидев меня, не выказал никакого удивления. Я заметил, что он не запер за собой входную дверь.

— А, Нейлэнд, здорово. А где же мой слуга?

— Вышел куда-то. На кухню, должно быть, — сказал я.

Полковник прошел вперед, и я за ним, в комнату, служившую ему библиотекой. Из этой комнаты через раскрытую в глубине дверь видна была другая, поменьше, где полковник, вероятно, проводил много времени, так как там стоял большой письменный стол и оттуда он принес бутылки и стаканы. Он предложил мне снять пальто, но я отказался. Когда Родель стрелял в меня, пальто мое было распахнуто, и сейчас я старательно застегнул его на все пуговицы, чтобы скрыть намокший от крови лацкан пиджака. Полковник держал себя очень просто, но невольно все время сбивался на повелительный тон, которым говорят с подчиненными, и сам это замечал. Благодаря типично английскому розовому цвету лица, физиономия его на первый взгляд производила обманчивое впечатление благодушия. Но сегодня, вблизи, я заметил выражение холодного высокомерия в его светло-голубых глазах, немного напоминавших мне глаза Дианы Экстон. Это был пожилой самец той же породы.

С тайным огорчением отказался я от предложенного им стакана вина, — и очень удивил его. Кто-то (наверное, Диана) уже успел сообщить ему, что я люблю выпить. Но я не желал пить с ним.

— Немного бестолковый у меня лакей, — сказал он, чтобы начать разговор, в то время, как мы усаживались. — Но очень честный малый. Валиец. Был у меня вестовым в прошлую войну.

— Ллойд Моррис. Из бывшего Кардиганского полка.

— Правильно. Я вижу, вы говорили с ним. Чудаковат, конечно, на англичанина не похож. Совсем другой тип.

— Полковник, — сказал я, отчеканивая

слова, — ваш вестовой Ллойд Моррис умер три года тому назад в Кардифском лазарете.

— Что такое вы говорите, Нейлэнд! — Видно было, что этот человек не сердится, а только притворяется рассерженным. Я следил за выражением его глаз. Предстояла нелегкая борьба, а я чувствовал себя премемерно, у меня начиналось что-то вроде бреда, и плечо болело не на шутку.

— Не спорю, что какой-то Ллойд Моррис мог умереть в Кардифском лазарете, — может быть, их умерло даже с полдюжины, но этот Моррис жив и здоров. Чорт возьми, мне ли не знать имя моего собственного слуги!

— Вы, конечно, знаете его имя. Его зовут Феликс Родель.

Заряд попал в цель, но полковник не растерялся.

— Слушайте, Нейлэнд, вы мелете чепуху, и вид у вас нехороший. Если у вас есть дело ко мне, так лучше изложите его, а потом идите домой и сразу ложитесь в постель. Наверное, у вас начинается грипп. Он может дать высокую температуру.

— Может. Но имя вашего слуги, полковник, все-таки Феликс Родель. Заслуженный член партии нацистов. Занимается в Англии шпионажем. Вы переименовали его в Морриса.

Я услышал какой-то шум за дверью, — и полковник, вероятно, тоже слышал, но не обратил на него внимания. Он вдруг начал орать на меня, разыгрывая человека, находящегося в приступе безумного гнева, в действительности же за этой багровеющей маской он оставался хладнокровен и осторожен.

— Господи помилуй, Нейлэнд, да вы совсем с ума спятили! Приходить ко мне и нести такой вздор! Да, знаете ли вы, что, будь здесь свидетели, я мог бы подать на вас в суд за клевету. И сделал бы это, видит бог! Да если бы кто-нибудь услышал это...

В этот момент вдруг появился желанный свидетель. Раздался легкий стук в дверь, и вошла Маргарет Бауэрнштерн.

— Простите, — обратилась она к полковнику. — На мои звонки никто не появлялся, и я так встревожилась, что решила войти.

Затем она пристально посмотрела мне в лицо и нахмурилась.

— Что такое с вами?

Я тряхнул головой.

— Потом объясню.

— Где Отто? Мне почему-то стало так страшно за него, что я решила итти сюда. Где же он?

— Сядьте, — сказал я. — И крепитесь, Маргарет.

Полковник Тарлингтон шагнул к нам.

— Что тут такое происходит? — начал он, но я перебил его.

— Вы тоже сядьте, полковник. Вот вам и свидетель, так что все в порядке.

Я повернулся к Маргарет, которая сидела на краешке стула и не сводила с меня широко раскрытых глаз.

— Не хочется вас огорчать, Маргарет. Но Отто умер. В него стрелял Родель, тот наци, которого он искал. Потом Отто убил Роделя и умер сам. Он спас мне жизнь.

Лицо ее побелело и застыло.

— А с вами что?

— Ничего, обойдется. Надо кончать это. Не уходите.

Она кивнула головой. Я обратился к полковнику, который перестал бушевать и сидел молча, непреклонный, с ледяной миной. Нужно было атаковать его до тех пор, пока он не сдастся, а я не чувствовал в себе сейчас достаточно сил для этого. Но дело нужно было сегодня закончить.

— Бесполезно запираяться, полковник, — начал я. — Игра проиграна. Если вы не захотите слушать сейчас, услышите все в суде. Родель лежит мертвым в вашей конюшне, где он устроил себе мастерскую. Джо арестован и всех выдает. Диане Экстон дали уехать в Лондон только для того, чтобы, следя за ней, накрыть там ее сообщников.

— Все это очень интересно, — сказал Тарлингтон. — Но я не понимаю, в чем тут дело и какое это имеет отношение ко мне.

— Ведь, вы сами говорили всем, что у вас служит ваш бывший вестовой, Моррис, тогда как на самом деле это был нацист Родель. Но это еще далеко не все, полковник. Возьмем хотя бы вашу приятельницу Диану Экстон...

— Если вы говорите о женщине, которая открыла здесь лавку, — перебил он, — так меня с ней недавно познакомили, и она раза два звонила мне по разным мелким делам, — вот и все.

— Например, по поводу места для меня на заводе Чартерса.

— Ну и что ж тут такого? Я этой женщины не знаю. Я с нею ни разу и пяти минут не провел наедине и ноги моей не бывало в ее лавке. Попробуйте доказать обратное!

— Вам незачем было ходить к ней в лавку, — сказал я. — Когда у нее бывали сообщения для вас, она их помещала в витрине. Ловко все это было устроено. Работали вы, местное светило, член правления Электрической компании, работал Родель, главный организатор, посвятивший вас в это дело в Америке, откуда вы привезли его под видом своего лакея. Была Диана с ее «лавкой подарков» — и кому пришло бы в голову подозревать хозяйку такой лавки? Был Джо, душа общества, буфетчик «Трефо-

вой дамы», где вино развязывало языки молодых летчиков и армейцев. И, кроме того, всегда находились способы передавать всей компании новые поручения. На этой неделе, например, акробатка Фифин превратила сцену «Ипподрома» в почтовую контору. Я знаю, вы скажете, что ни разу в глаза не видели этой женщины? В этом вовсе не было надобности. Зато Родель, который уж очень осмелел и стал неосторожен, не мог отказать себе в удовольствии выпить со старой приятельницей.

— Я слушаю вас с большим вниманием, как вы сами могли заметить, Нейланд, — сказал полковник холодно. — Но вот никак понять не могу, с какой стати вы припутываете меня ко всей этой чепухе?

— Потом сегодня утром я вас ловко поймал, полковник, — продолжал я развязным, насмешливым тоном. — Помните, я сказал, что, по моим сведениям, Скорсон из министерства снабжения, беседуя с вами по телефону в среду вечером, рекомендовал вам меня? А вы это подтвердили и добавили, что это повлияло на ваше решение. Но...

Я сделал умышленную паузу, — и он понапал на эту удочку.

— Подумаешь — «поймал!» — сказал он пренебрежительно. — Вы были так явно довольны тем, что Скорсон будто бы рекомендовал вас, что я и не стал этого отрицать. Просто из самой обыкновенной вежливости. Что тут такого?

— Этого достаточно, чтобы вас повесить, Тарлингтон, — сказал я, оставив шутовской тон, который уже сослужил мне службу. — А если я скажу вам, что Скорсон действительно говорил обо мне в среду, — что тогда? Совершенно очевидно, что не вы говорили по телефону, когда вас вызвал Скорсон. И я вам скажу, почему. В тот вечер к вам пришел Олни, сотрудник Особого отдела, посланный на завод Белтон-Смита под видом мастера. Пришел он будто бы для переговоров о вашем выступлении на митинге в столовой, а на самом деле потому, что он начинал подозревать вас. Он узнал что-то о Роделе (в его записной книжке несколько раз упомянут человек со шрамом), но не знал, что Родель живет у вас в доме. Потому то вы, не доверяя Олни, постарались, чтобы он ни разу не встретился с Роделем. Оба они не знали друг друга в лицо. Как только Олни ушел от вас, вы решили, что ему слишком многое известно и что его надо убить, но Роделю вы не могли поручить этого, — ведь, он не знал Олни. Оставалось вам самому догнать Олни на улице и сделать это. Это было неудобно, потому что вы ждали вызова Скорсона в три четверти девятого. И вот вы придумали поручить Роделю поговорить за вас по телефону (на таком расстоя-

нии самое грубое подражание вполне могло сойти за ваш голос), так как это давало вам возможность уйти из дому вслед за Олни и при том создавало надежное алиби... Но вы сделали несколько оплошностей, полковник. Вам не удалось убедить полицию, что Олни переехали именно в этой части города, где вы его выбросили уже мертвого. А главное, — когда вы его втащили в свою машину неподалеку от «Трефовой дамы», вы не знали, что в последнюю минуту перед смертью бедный Олни выбросил из кармана свою записную книжку. Полиция нашла ее, и я внимательно просмотрел все его заметки. Олни был очень умный и опытный работник. Можете не сомневаться, — заключил я, глядя в глаза Тарлингтону, ибо это был мой главный трюк, — что вам отведено видное место в этих заметках.

Он усиленно размышлял, но не говорил ни слова. Я чувствовал, что из раны на плече кровь течет все сильнее, голова моя кружилась, в ушах гудело. Но я не хотел дать опомниться уже ошеломленному полковнику.

— Потом еще одно, — продолжал я. — Первая ваша мысль, когда вы вынули у Олни из кармана зажигалку, была правильна. Это не обыкновенная зажигалка, и вы такой не купите нигде. Каждый сотрудник контрразведки, в каком бы отделе он ни работал, имеет такую зажигалку и выгуживает основные вопросы и ответы. Вы взяли у Олни из кармана зажигалку и хранили ее у себя, потому что инстинкт вам подсказывал, что тут что-то кроется. Такой зажигалки у заводского мастера не увидишь. Но к тому времени, когда вы встретились с Джо, вы успели рассмотреть ее и решить, что это просто красивая безделка. А так как оставлять ее у себя вы не хотели, то подарили ее Джо. А Джо, — добавил я сурово, — арестован сейчас по обвинению в убийстве. Он сознался во всем. Он выдал всех.

У меня вдруг потемнело в глазах. Я слышал крик Маргарет. Потом я увидел, что она склонилась надо мною. Я сделал громадное усилие и призвал к порядку ее и себя.

— Нет, нет, не мешайте мне еще минуты две, — сказал я ей. — Родель ранила меня в плечо, и сейчас кровь опять потекла, но я могу еще потерпеть. Сядьте, Маргарет! Ну, пожалуйста!

Она не села и продолжала стоять подле меня. Я посмотрел на Тарлингтона, который сидел, как окаменелый.

— Я не пришел сюда в таком состоянии, чтобы сказать вам все это, если бы дело не было уж раскрыто и все главные улики — в руках полиции. Я пришел потому, что люблю сам заканчивать свою работу. Своего рода тщеславие, ес-

ли хотите. Такой уж у меня недостаток. А ваш недостаток, Тарлингтон, — это спесь. Вы всегда помните, что вы — привилегированная особа, ничего общего не имеющая с чернью, и вы готовы какой угодно ценой сохранить свои привилегии. Вы ненавидите демократию и все, что с ней связано. Ваше упрямство, дерзкое высокомерие, любовь к власти и самомнение мешают вам примириться с нею. Когда Гесс прилетел в Англию, он рассчитывал на таких людей, как вы. Вы не гермаофил, и вас нельзя назвать плохим патриотом в прежнем, обыкновенном смысле слова. Прошлая война, по-вашему, велась исключительно в интересах нации — и я не сомневаюсь, что тогда вы честно воевали. Но эта война совсем другое дело. И вы не выдержали экзамена. Я слышал на-днях вашу речь на митинге. Вы говорили только то, что всегда твердят люди вашего типа: уговаривали народ знать свое старое место, воевать и трудиться и страдать, чтобы поддержать то, во что они больше не верят. И каждое ваше слово — та же пушка или бич в руках Гитлера и его шайки. Но вы несколько умнее и бессовестнее большинства ваших единомышленников — и вы поняли, что для того, чтобы сохранить то, что вы хотите сохранить, нужно, чтобы народ не выиграл эту войну, а фашисты не проиграли ее. Они вас убедили, что если победят они, вы будете иметь такую Англию, которая вас устраивает, — то есть, вы и вам подобные попрежнему будете благополучно у власти, а простой народ — навеки останется в прежнем положении. И вы пошли по извечной кривой дорожке. Покатились вниз по наклонной плоскости... болезненное честолюбие, спесь... ложь... предательство... убийства. И вы проиграли, Тарлингтон... Проиграли... И если вы не хотите... остаться в памяти всех... английским Квислингом, то у вас есть только один выход... один единственный...

Я не мог больше выговорить ни слова, потому что вся комната кружилась перед моими глазами. Слепящий свет и мрак сменяли друг друга. Но, к счастью, мне больше и не надо было ничего говорить. Без удивления, как в смутном сне, я увидел, что дверь отворилась и, заполнив собой весь вход, на пороге встала массивная фигура инспектора Хэмпса. Я сознавал, даже в ту минуту, что его приход окончательно решит дело.

— Хорошо, инспектор, — услышал я голос полковника. — Погодите одну минутку, — и он вышел в соседнюю комнату.

Раньше, чем кто-либо из нас успел шевельнуться, раздался выстрел.

Говорят, что я сказал: «Что же, другого выхода у него не было». Но я этого не помню. Я потерял сознание.

10.

Следующие три дня я провёл в доме Маргарет, беспрестанно переходя от вспышек температуры к вспышкам гнева. Когда падала температура, — возрастал гнев. Происходило это отчасти потому, что я не желал лежать в постели. Кроме того, виновата тут была и приставленная ко мне сиделка. Может быть, сиделка она была хорошая, но, как товарищ, ни к чорту не годилась. Эта ширококобая, рыжеволосая особа со множеством веснушек обращалась со мной, как с балованным ребёнком лет десяти. Без малейшего с моей стороны поощрения она читала мне вслух весёлые детские сказки. Она пыталась запретить мне курение, но в этой битве я победил. Зато она, при содействии Маргарет, не допускала ко мне никого из посетителей, приходивших повидать меня и потешить разговором для взрослых.

Затем ещё одно сердило меня: Маргарет была теперь только врачом, лечащим больного. Глядя со стороны, можно было подумать, что мы никогда раньше не встречались. По временам, когда температура у меня поднималась, мне начинало казаться, что всё случившееся в Грэтли, — сон, что никогда я не видел раньше эту женщину-врача с суровым лицом и яркими глазами, что я лежу в каком-то санатории и просто очнулся после долгого бреда. А когда температура падала, я, конечно, рвал и метал, и тогда это медноголобое чудовище, сиделка, уговаривала меня «не капризничать».

Но вот на четвёртый день, в среду, сиделка объявила мне, что уходит. Она вовсе не находила, что я уже не нуждаюсь в ней, но её ждала другая, более тяжёлая больная. Я простился с нею весьма учтиво. Это было в середине дня, и Маргарет, очень много работавшая, уехала к своим больным. Я жалею, что её нет дома, но во всяком случае хорошо было уже и то, что мне не надоедала сиделка. Я мирно задремал. Когда я проснулся, лампы были уже зажжены, шторы опущены, чай — на столе, и его атаковали с флангов инспектор и Периго. Я очень обрадовался им.

— А ведь мы каждый день приходили сюда, знаете, Нейлэнд, — сказал инспектор. — Но нас к вам не пускали.

— Знаю, — проворчал я. — Идиотство! Всё штуки сиделки.

— Нет, нас не пускала доктор Бауэрнштерн, — возразил Хэмп. — Просто выпровоживала нас. Правда, Периго?

— Да, она действовала весьма энергично, — подтвердил Периго. — Раз налетела на меня, как фурия. Дама с характером, знаете, Нейлэнд.

— Как не знать! — сказал я ворчливо. — Ходит тут взад-вперёд с таким видом, точно аршин проглотила. За всё время слова со мной не сказала. Впрочем, если бы она и затеяла разговор, я бы не знал, о чём с ней говорить. Скажите ради бога, что делается на свете?

— Ваш начальник Оствик говорил со мной по телефону, — сказал Периго, ухмыляясь. — И я сказал ему, что вам надоело ловить шпионов. И, конечно, он ответил, что это глупости, что они не могут отпустить такого ценного работника.

— А, ведь, он прав, — заметил инспектор. — Взять хотя бы это дело в Грэтли. И самое забавное то (хотя не могу сказать, чтобы меня это очень тешило), что, будь вы обучены нашему полицейскому делу, у вас бы ровно ничего не вышло — просто потому, что улики были недостаточно веские. Что, разве не так?

— Недостаточно веские? Да, в сущности, прямых улик и вовсе не было. То-есть, таких, как вам надо. Зато было множество улик психологических. И это привело нас к цели. Остальное — удача и решительность. А что же вы ответили Оствику, Периго?

— Повторил ему слово в слово то, что вы сказали мне. Тогда он обещал, что вам дадут длительный отпуск, чтобы вы могли отдохнуть...

— Отдохнуть! Кто это может отдыхать, когда такое творится на свете! Да и куда уедешь?

— Вы могли бы поехать к миссис Джесмонд, — сказал Периго. — Я слышал, что она собирается в путь.

— Я этой женщиной не увлекаюсь, как вы, Периго. Я даже не хотел бы встретить её когда-нибудь снова — разве что увидеть её за прилавком, разливающей какао рабочим ночной смены. А Оствику скажите от меня, что не желаю я отдыхать. Я работать хочу, но по своей специальности. А что, Периго, может он помешать мне получить назначение в инженерные войска?

— Может и сделает это непременно, — сказал Периго. — Кстати, не староваты ли вы для фронта, а, Нейлэнд?

— Староват! — завопил я, уничтожив его взглядом. — О, господи, твоя воля! Оттого, что меня держат здесь в постели, вы уже вообразили, что я развалился! Завтра же встану, вот увидите...

Тут вошла Маргарет, на этот раз привелливая, без докторской мины. «Наверное, это ради гостей» — подумал я, но

всё же рад был увидеть её такой, хотя бы это делалось и не ради меня.

— Не надо так кричать, — сказала она мне, но самым обыкновенным тоном, по-человечески.

— Он сегодня очень сердитый, — доложил ей Периго, выставляя на показ всю свою коллегацию фарфора. — И говорит, что вы ходили тут взад и вперёд, словно аршин проглотили!

— Это всегда бывает с такими больными, — сказал инспектор, неожиданно выступая в роли медицинского авторитета.

Маргарет кивнула головой, тихонько посмеиваясь.

— Мы, врачи, к этому привыкли.

— Нечего вам сидеть тут и рассуждать про меня, как будто я какой-нибудь слабоемкий или что-то в этом роде, — сказал я запальчиво. — Если я раздражён, так это объясняется вовсе не физическим состоянием. Я совершенно здоров. И завтра встану.

— Нет, не встанете, — немедленно отрезала Маргарет.

— Встану, вот увидите. Разумеется, я вам очень благодарен за уход и заботу и надеюсь, что я не слишком вам надоел. Но, повторяю: если я раздражён...

— Можно без «если».

— Ну, да, я раздражён. Но это оттого, что... это из-за старого паука Оствика и его ловли шпионов, из-за Грэтли, из-за того, что мы воюем, спуская рукава, по-старому, «суеёмся без толку, и разочаровываем людей. Это из-за того, что... Ох, мне нужно делом заняться!

— Вам нужно хорошенько отдохнуть, — снова отпаривовала Маргарет.

Периго встал, поглядывая на нас что-то уж очень лукаво, и сказал:

— Кое-чем я могу вам в этом деле помочь, Нейлэнд. И скажу вам больше: после разговора с Оствиком я уж нажал некоторые пружины...

— Спасибо. Приходите завтра, хорошо? Вы мне расскажете всё о Диане и Фифин и остальных.

Инспектор положил мне на плечо руку, которая весила больше, чем недельный мясной паёк целой семьи.

— Дружище, — сказал он вдруг ни с того, ни с сего, — слушайте доктор. Я не отрицаю, что у вас своя голова на плечах, но здравого смысла у нее гораздо больше. Может быть, вам чего-нибудь хочется, так скажите, мы принесём.

Мне хотелось тысячи вещей, но принести их они вряд ли могли. Маргарет ушла вместе с ними, и у меня было много времени впереди, чтобы подумать о своих делах до её возвращения. Но вместо того, чтобы логически разобраться

во всём, я стал грезить с открытыми глазами, вообразив себя в прекрасной, далёкой, неведомой стране, где дышит легко, где ярко светит солнце. Я усердно работал там, строил, создавал то, что облегчает жизнь тысячам людей, делает её полнее и счастливее. И со мною была Маргарет, тоже занятая своим делом все дни напролёт, а вечерами мы отдыхали в тишине и прохладе и думали о мыслях. Очнувшись от грёз, я увидел, что она сидит у моего изголовья и серьёзно смотрит на меня.

— О чём вы думали?

— Люди с здравым смыслом вроде вас о таких вещах не думают, — сказал я. — Но, впрочем, могу вам рассказать. — И я рассказал гораздо подробнее и красочнее, чем сейчас рассказывал вам.

Она смотрела на меня блестящими глазами, лицо её смягчилось и стало ещё лучше.

— Всё это мне понятно, — сказала она.

— А вы забудьте это, — отозвался я, глядя куда-то в угол.

— С какой стати? — спросила она и, помолчав, прибавила: — Должна вам признаться, что знаю теперь о вас гораздо больше, чем неделю назад. Мистер Периго и инспектор рассказывали мне о вас.

— Они обо мне не много знают, — возразил я. — Ну, да и знать нечего, собственно говоря.

— Я узнала достаточно, чтобы понять, отчего вы такой... «кислый», как вы это называете. Я тоже — кислятина.

— Вы такая же кислятина, как... как паточный пуддинг.

Она расхохоталась.

— Вот так комплимент! Никто меня ещё до сих пор не сравнивал с паточным пуддингом.

— А чем он плох? Я люблю паточный пуддинг. Если у вас найдётся патока, закажите его на завтра. Хорошо? А теперь я вам вот что скажу: я тоже знаю о вас больше, чем вы полагаете. Я о вас в последнее время много думал. Беда ваша в том, что...

— Ох, начало многообещающее!

— Беда ваша в том, что вы из уважения и почтения и, всякое такое, вышли за человека много старше вас. Человека, у которого большая часть жизни была прожита. Вы воображаете, что это была великая любовь, а на самом деле это, вероятно, вообще не была любовь, и теперь, когда всё прошло, вы считаете, что ваша жизнь позади и что можно заморозить себя.

— Так. А вы?

— Что я? Просто несчастный человек и всё. Давайте на этом кончим.

— А я не хочу кончать, — сказала она без улыбки, глядя на меня большими сияющими глазами. Чтобы увильнуть от этих глаз, я стал смотреть на её руку, лёгкую, но сильную и ловкую, с длинными пальцами. Я невольно дотронулся до неё, словно желая убедиться, что Маргарет вправду здесь.

— Ладно, но смотрите, не пожалейте об этом, — сказал я медленно. — Я ждал десять лет — нет, пятнадцать — встречи с вами. Я считаю только пятнадцать, потому что до этого я бы не оценил вас. Всю последнюю неделю я грыз себя за то, что не понял этого сразу. А что хорошего в том, что теперь я понял? Что пользы пытаться разморозить вас и бесноваться...

Она засмеялась.

— Извините. Но это так характерно для вас «бесноваться». Ну, говорите же дальше.

— Что пользы возвращать вас к жизни, если мне нечего дать вам? Я собираюсь уехать как можно дальше, если только не понадобится на фронте. И я даже не умею писать хорошие письма.

— А я умею.

— Не нужны мне ваши письма! —

вдруг рассердился я. — Вы мне нужны. А почему вы до сих пор почти не разговаривали со мной?

— Потому что я была запугана...—

— Историей с Отто, и полицией, и всё такое?

— Отчасти всем этим — и потом вашим обращением. Но главное вот в чем: я начала замечать, что больше не чувствую того, о чём вы тут говорили... то-есть, что моя жизнь позади... и.. и.. насчет льда... Льда-то, собственно, осталось немного...

— Подите сюда, — закричал я, потому что, произнеся последние слова, она встала и пошла из комнаты. — Подите сюда или я вскочу с постели...

— Не посмеете! — сказала она быстро и подбежала ко мне. Она пыталась снова сделать строгую мину, но я быстро ликвидировал эти попытки. Через некоторое время она сказала:

— Мне надо итти в госпиталь. Сегодня я вас больше не увижу. Я вам пришлю сюда книг. А завтра поговорим толком... Ну, пустите же, милый, мне пора.

— Ладно, — сказал я. — Но ради бога, будь осторожна в этой проклятой тьме!..

Конец.

АКАДЕМИКИ НА УРАЛЕ

МАРИЭТТА ШАГИНЯ



1. МЕНДЕЛЕЕВ О БУДУЩЕМ УРАЛА

В конце прошлого века, когда Д. И. Менделеев, тяжело больной, доживал свою большую жизнь, его вызвал к себе тогдашний министр финансов Витте. Нужно было принять срочные меры для спасения уральской промышленности: казенные заводы приносили убыток, частные почти не развивались, техника их оставалась на прадедовском уровне. Витте и поручил Менделееву выяснить, в первую очередь, причины отставания Урала; во-вторых, меры и способы для его возрождения.

Ехать в трудный и сложный по тому времени путь старому ученому было нелегко. Но Менделеев родился в Тобольске и никогда не переставал чувствовать себя сибиряком. Представлялась возможность повидать родные места на старости лет, — как бы проститься с ними, — и это не могло не повлиять на его решение. Позднее он сам написал об этом:

«В Тобольск меня призывали не только дела, для которых мы разъезжали, но ещё и привязанности детства. Там я родился и учился в гимназии, там еще живы кое-кто, помнящие нашу семью, там на стеклянном заводе, управляемом моею матушкой, получились первые мои впечатления от природы, от людей и от промышленных дел. Почти ровно 51 год, как матушка.. повезла меня, — последыша, — в Москву после окончания гимназии. Давно — ежегодно всё собирался побывать на родине и не пришлось, а потому ехал с особым ощущением...» *

Когда же он в Тобольске оказался в гостеприимном доме сибирячки, где ребяташки начали рассказывать ему про «кедровые шишки и про серку (почти выскохшую живицу лиственницы), которую в Сибири жуют все дети», и когда «на столе появилась ароматная княжени-

ка, — ягода из ягод, перед ним, по его собственным словам, «выступили в уме картины давнего прошлого с поразительностью».

С таким душевным лиризмом пережил Менделеев на закате жизни свою встречу с Востоком.

Он выехал в путешествие в 1898 году, с тремя wybranными им спутниками, — минералогом проф. П. А. Зематченским, химиком С. Н. Вуколовым и технологом К. Н. Егоровым. Целое лето объезжал и изучал с ними Менделеев уральские рудники и заводы. В результате поездки составилось три тома о положении уральской железной промышленности, изданные министерством финансов в 1899 году.

Книга «Уральская железная промышленность» необычайна по своей композиции: тут и дневники путешествий, и запись обследований, и том приложений, где собраны анализы, статистические обзоры, характерные архивные документы. Необычайна она и по своему стилю: почти интимная прелесть в описании природы, живые портреты людей, личные воспоминания, а рядом — сухие, деловые статьи. Но несмотря на внешнюю «лосковатость» и «неприбранность», а, может быть, и благодаря сочетанию интимного с деловым этот мало известный у нас менделеевский трехтомник об Урале может быть поставлен в одну категорию с такими книгами, как нансеновское путешествие на «Фраме» для полярников или дарвиновское путешествие на «Биггле» для натуралистов.

Что же открылось великому ученому на Урале? Его природные богатства он описывает, не боясь упреков в преувеличении и отвечая за свои слова всем своим огромным авторитетом:

«Руды Урала не то, что хуже, а много, много лучше, говоря вообще, руд западно-европейских, говоря именно об английских, немецких, бельгийских и французских — по качеству своему, по количеству железа, по цене добычи и по массам, легко доступным для разработ-

* Все цитаты этой главы взяты мною из книги «Уральская железная промышленность», изданной, под редакцией и при участии Менделеева, Министерством финансов в 1899 г. в СПб.

ки... Я громко говорю, что на веку живущих людей повезет с Урала железу в Англию, если переработка руд на Урале достигнет возможно полного своего развития. И хотя мне седьмой десяток, могу и я дожить до этого, как дождал до вывоза нефти, который предвидел лет за 15 пред его началом, когда к нам везли американский керосин. Не сам — так дети и ученики доживут, а будет это».

Но с такой же прямотой и ясностью, с какою пишет Менделеев о природных ресурсах Урала, он ставит вопрос о невозможности развития этих ресурсов в тех социальных условиях (следы крепостничества, посессионное право), которые тогда существовали на Урале: «Необходимо, по моему посильному мнению, с особой настойчивостью вакопчить все остатки помещичьего отношения, ещё существующие всюду на Урале». Так же резко осуждает он и техническую отсталость уральских заводов. Не исправлять её полумерами, не давать заводчикам субсидии и привилегии, не приставлять заплат к старине, а «Нам на Урале надо всё или почти всё вновь строить и не следует повторять задов, а лучше сразу делать получше, чтобы опять лет через десять всего не перестраивать».

Общим прогнозом и общими выводами Менделеева не ограничился. Он десятками рассуждает на страницах своего дневника предложения, часть которых ещё и до сих пор не осуществлена и могла бы с великой пользой быть адресована разным нашим ведомствам. Замечательны главы, где на анализе Тавдинской лесной дачи он пишет о значении культурной лесосеки, государственного контроля и охраны уральских лесов, необходимости уберечь их для будущего. Леса — это дыхание земли, это сберкнижки земли, где берегутся водные резервы страны; их хищническая вырубка — сушит землю, а между тем именно на Урале, как нигде, нужно охранять леса как условие сбережения остро необходимой воды. Не забыл он и проблему транспорта на Урале, подчеркнув и выдвинув значение мелких водных путей, «ждущих внимательного регулирования». Однако больше всего и интересней всего говорил Менделеев о технике. Доменное дело было у нас на Урале в те годы в допотопном состоянии. А в Европе шел «медовый месяц» роста и развития всех трёх отраслей, которые возникли на отходах процессов доменной плавки. Менделеев указал нашим заводам на использование доменного газа для двигателей, приводя в пример завод Кокерля в Бельгии, впервые установивший у себя двигатель на доменном газе, системы Симплекс. Ссылаясь в своей книге на остроумное «бонмо» Мартена, что со временем «чугун станет побочным продуктом доменной плавки», Менделеев как бы агитирует этим парадоксом создателя мартеновской печи, чтобы заразить русских инжене-

ров увлекательными возможностями использования доменных отходов.

Менделееву принадлежит замечательные слова о том, что в его время и в старом мире, где он жил, — «забывают изобретателей и изобретения». Они — не только «счастливая случайность», «слиток золота, найденный на земле». Нет, «для того, чтобы найти, надо ведь не только глядеть и глядеть внимательно, но надо и знать многое, чтобы знать, куда глядеть... надо и уметь искать, надо провидеть невидимое, ощутить предстоящее, как бы настоящее, пробовать, не падать духом при неудачах и трудностях, настаивать и много трудиться». Мысль, которую хочется всегда держать перед собою, как и завещанье другого русского гения, И. П. Павлова, в его знаменитом письме к молодёжи. Слово провидя или планируя будущую работу Грум-Гржемайло над получением генераторного газа из дерева, словно вызывая к жизни замечательные опыты уральского ученого, химика-лесника Козлова — над получением из древесного угля смазочных масел, пишет он: при выжиге «из дерева угля теряется даром (в лесу) почти ровно половина его теплопроизводительной способности — при современной, ждущей изобретателей, обстановке этого дела». И до сих пор пылает яркий венчик над старой домной завода им. Куйбышева в Тагиле, — очень красивый для глаз, но безобразный по своей расточительности, потому что это выбрасываются в небо драгоценные массы доменного газа. И до сих пор классическое указание Менделеева на возможность использования частых на Урале подземных пожаров угольных пластов для дешёвой выработки генераторного газа, которое должен бы знать каждый уральский горняк, не потеряло своей злободневности:

«По поводу... пожаров каменноугольных пластов мне кажется, что ими можно пользоваться, управляя ими и направляя дело так, чтобы горение происходило, как в генераторе, то есть, при малом доступе воздуха. Тогда должна происходить окис углерода и в пласте должен получаться «воздушный» или генераторный газ... Особенно достойна для начала опыта попытка превращения под землёй в горячие газы таких тонких (тоньше аршина) пластов каменных углей, которые обычными способами не эксплуатируются».

Прошло почти полвека, а и сейчас менделеевские мысли актуальны для Урала.

Есть и ещё одна область, где Менделеев заглянул далеко в будущее. При царизме металлургия в ведомственном отношении была частью горного дела. Дмитрий Иванович резко критиковал это и требовал выделения металлургии, как самостоятельного целого, указывая, что горное дело — отрасль добывающая, а металлургия — обрабатывающая, и подчинять металлургию горному ведомству всё равно, что «соединить в одно целое раз-

ведение льна или хлопка с прядением и ткацким, скотоводство с обработкой кож». Великий учёный мечтал не только о самостоятельном «министерстве металлургии» (или отнесении металлургии к финансам), но и создании специального высшего учебного заведения на Урале, «Металлургического Института», который бы готовил кадры специалистов-металлургов. И в этом деле он тоже оказался прав, поскольку в наш век металлургия сделалась огромнейшей, сложной областью, имеющей уже свою советскую оригинальную традицию и своих больших и выдающихся учёных, во многом создавших совершённые новые теории. Мечту Менделеева осуществила на Урале советская власть. Уже не сколько лет превосходный Свердловский индустриальный институт выпускает специалистов-металлургов, без которых нельзя было бы построить современную железную промышленность Урала. Но, быть может, созрело время, когда Свердловску следовало бы воспользоваться пребыванием на Урале таких новаторов, как академик Патон, таких блестящих металлургов, как академики Павлов, Байков и Бардин, и расширить или дифференцировать Индустриальный институт, чтобы новая русская металлургия нашла своё воплощение в специальном металлургическом вузе.

Когда перечитываешь сейчас всё, что написано Дмитрием Ивановичем об Урале, больно становится, что нет его с нами. Уже четверть века чисто сметены старые уральские земельные отношения, четверть века наши строители учатся искусству «строить технику научно», опромное испытание огнём и мечом выдержал новый строй в Отечественной войне. И как много наших учёных, для которых открыты сейчас на Урале необъятные перспективы познавательного труда и творчества, могли бы повторить вместе с Менделеевым пророческие слова его, сказанные им на закате жизни:

«Вера в будущее России, всегда жившая во мне, — прибыла и окрепла от близкого знакомства с Уралом, так как будущее определится экономическими условиями, а они — энергией, знаниями, землёю, хлебом, топливом и железом, более, чем какими бы то ни было средствами классического свойства».

2. ПОРТРЕТ АКАДЕМИКА А. А. БАЙКОВА

К ленинградскому академику приходит человек. Он не ленинградец, — он прямо с дороги, издали, с Кавказа, а, может быть, из Украины, из Средней Азии. Человек даже не знает, к какому, большому учёному он приехал. Ему не учёный нужен, — а депутат Верховного Совета, товарищ Байков. «Но почему, — спрашивает жена академика и его единственный секретарь, — вы приехали сюда? Ведь у вас есть свои депутаты, ведь у Байкова много своих избирателей!» Приехавший упрямо добивается именно Байкова, — он знает, ему сказали, он от верного человека

слышал, что этот депутат доводит всякое дело до конца. Со вздохом ведёт его Анна Дмитриевна в скромный кабинет учёного, к особому столу, особому ящику, где уже стоит обширная картотека.

С тщательностью подлинного исследователя семидесятилетний учёный, загруженный десятками больших дел, преподаванием, консультированием, лабораториями, Политехническим музеем, Академией Наук, Университетом, Палатой мер и весов, где он работает постоянно; занятый множеством проблем, на первый взгляд и не связанных между собою, — химией неорганической, органической и физической, металлургией чёрной и цветной промышленностью, строительством Дворца Советов, поисками нужной марки стали, диалектическим материализмом, организацией высшего технического образования, — нашёл время составить и вести картотеку всех своих депутатских дел. Каждый человек, обративший к нему с просьбой, помечен здесь на отдельной карточке; тут же изложено его дело; зафиксированы дата просьбы, прохождение по нужным учреждениям, результат, число и номер ответа. Здесь вся работа, как у хорошем правозащитника или врача, лежит перед глазами. У депутата Байкова правило: отвечать на каждое письмо не позже чем через пять дней.

Это качество — каждое дело доводить до конца — родилось из основной черты научного мышления академика Байкова: каждую мысль додумывать до конца, до той предельной её ясности и завершенности, когда она уже превращается в формулу, в закрепление опыта, годное для передачи другому, для перехода в общее пользование. Мыслитель, одарённый такой чертой, всегда немного дидакт, учитель, педагог, потому что отчётливость понимания и классическая чёткость формулировки вызывают к делу, — со слушателем, с учеником. Кажется — так легко понять, что прех не преподавать, не увлечь людей этой ясностью, не дать им пережить то ответственное наслаждение, которое питает и греет тебя самого. И Александр Александрович Байков, вырастая, как учёный, с первых же лет определившегося вкуса к науке, — показал себя и прирождённым педагогом.

Родился он в 1870 году в Курске, в культурной семье очень известного адвоката. Отец умер рано, и будущего учёного воспитала мать. Семья была артистической, мать отлично знала театр и литературу, брат был талантливым музыкантом, был музыканом и сам Александр Александрович. Но основной его страстью всё же оказалась химия. В гимназисту Байкову каждый день давали пятачок на завтрак, но вместо сайки и колбасы он покупал себе реторты, колбочки, всевозможные кислоты, и постепенно соорудил очень неплохую лабораторию. Здесь, ставя опыты, наблюдая тайны превращений вещества, Байков увлекался не тем, что кажется загадочным, а ясной и точной формулой соотношений, неизбежностью определённых результатов при на-

личии определённых условий, и эта ясность, это накапливаемое в себе знание, растущая власть над явленным, хозяйская постановка опыта — влекли его к аудитории, к делу с другими. По воскресеньям он собрал подруг своих сестёр и читал им лекции, сопровождая их опытами.

Гимназия блестяще окончена. Покончено и с городом Курском. Отныне, вместе с университетской учёбой, Байков становится петербуржцем. Очень характерная деталь: из-за ранней любви к точности мышления, из-за понимания, какую большую роль играет в химии математическая канва, Байков решил прежде всего как можно лучше освоить математику. И вместо естественного факультета, где преподавалась избранная им химия, он идёт на физико-математический, потому что там — он знает — математика поставлена солидней. Те годы в старом Петербурге проходили для химиков под знаком Менделеева. Байков, занимаясь на физико-математическом, слушает одновременно и Менделеева, посещает и лекции Коновалова, у которого позднее, окончив университет, остаётся работать. Дмитрий Иванович Менделеев подметил и выделил молодого Байкова, с которым был потом дружен до конца своих дней. А Байков взял у великого химика те основные тенденции, в русле которых ведётся сейчас вся его работа.

На том самом юбилейном вечере, где Комаров говорил о Менделееве, как о хозяйственнике, открывшем целый ряд экономических перспектив для нашей страны, академик Байков произнёс речь о Менделееве, как о химике. Казалось бы, речь эта была очень специальной и даже узкой, но только на первый взгляд. На самом же деле Байков говорил, в сущности, о той же самой большой дороге, на которую вывел Менделеев нашу страну, но он говорил о ней в терминах своей науки. В бессмертном труде Менделеева «Основы химии» академик Байков подчеркнул три основных идеи: первая — о тесной связи химии со всеми другими отделами естествознания; о том, что нельзя понимать химию изолированно от них, о трактовке Менделеевым материалов природы (воды, воздуха, топлива) неотделимо от техники; вторая — об единичности теории химии, о том, что сложное вещество есть нечто единое, дающее, — в зависимости от условий, — разнообразные превращения; и только на третьем месте Байков назвал менделеевский периодический закон. В такой формулировке основных идей Менделеева ясно виден и путь самого Байкова, творца новой дисциплины, металлографии, создателя металлургии, как точной науки, экспериментатора, сумевшего практические вопросы закалки, термической обработки, выплавки разных марок стали вести к чудесной и совершенной точности строгой науки, — или, наоборот, — из самого строгого научного мышления, из мира математических формул размотать клубок животрепещущих проблем нашего металлургического хозяйства.

Но не Петербург и не Менделеев наложили последний штрих на то, что мы сейчас зовём стилем Байкова, методом Байкова. Окончив университет, он едет в Париж и в течение года специализируется по металлургии у французского металлурга Лешателье.

Когда мы сейчас раскрываем и читаем научные труды академика Байкова, они — на взгляд не специалиста — в первую минуту кажутся простыми, очень сухими сообщениями. Названия их не имеют ничего сложного, ничего общелитературного, ничего, похожего на обширное, многотомное исследование. Они до крайности деловиты: «Кристаллизация и структура стали», «Плавки медных руд в шахтных печах», «Тройная диаграмма: медь—сера — железо», «Строение стали при высоких температурах», «О полиморфизме никеля», «Каустический магnezит, его свойства и отверждение», «Пиритная выплавка», «Восстановление и окисление металлов», «Нержавеющее железо», «Физико-химические условия приготовления огнеупорных изделий», «Испытание Керченского металла на сварку» и т. д., почти всё в том же, очень сухом и специальном духе. Разыскав эти работы (они многочисленны) по разным изданиям и учёным журналам, видишь, что объём каждой из них не очень велик, не больше того, что мы называем «сообщением», статьёй. Правда, среди названий мелькает вдруг очень привлекательное, вроде «Диалектика металлургических процессов», — но оказывается, что это — доклад в письменном виде не сохранившийся, от него остались только тезисы, записанные рукою слушателей. Вспоминая обширные томы литературного наследия других наших учёных, их опыты в общелитературных жанрах, их выходы в «монографию», популярную книгу, статьи для молодёжи, для детей, — невольно чувствуешь себя обескураженным и лишённым возможности найти в этой специальной литературе что-либо «для чтения», для себя самого.

Однако же тот, кого не отпугнут названия трудов Байкова и кто не убоится своей собственной неподготовленности, получит неожиданный сюрприз, граничащий с настоящим потрясением. Он увидит, начав читать любую из этих специальных статей, что перед ним самое настоящее чтение, удивительное по прозрачности, ясности, стройности изложения. Опримным уважением к человеческому разуму, к человеческому времени, к предмету своей науки, к писаному слову веет от всего, что пишет Байков. Неожиданно для себя, читая его, вы не только оказываетесь приобщённым к неизвестной для вас области, но вы в состоянии мыслить в ней дальше, подхватывать аналогии, которые она подсказывает, и вдруг страшно заинтересовываетесь проблемами, которые она в двух-трех строках намекает.

Эту прозрачность стиля, связанную с точностью языка и экономичностью построения статьи, — Байков вынашивал, конечно, уже в самом характере своего мышления, был скло-

нен к ней по своей природе, но отточил он её, овладел ею в Париже, в школе французской научной речи. До сих пор классика XVIII века, всё что завоёвано в языке французской прозой того времени, — сохранило своё влияние не только на лучших французских учёных, особенно представителей точных наук, но даже и на внешний тип учёных диссертаций, резко отличающийся от немецкого типа. В изящной школе Лешателье, охваченной старой культурой Парижа, прелестью его музеев, с их точной систематикой, особым духом дискуссий, где читается остроумие и где каждый стремится быть понятым любым «профаном», Александр Александрович Байков всегда чувствовал себя русским ученым, русским человеком. Талантливо и оригинально, как все наши крупные люди, он овладел достижениями Европы. Он вернулся в Петербург во всём блеске разившегося учёного стилиста, — и петербургская молодёжь, весь металлургический мир старого Питера должны были резко и неожиданно, как переживаем мы байковский стиль в чтении, — почувствовать это во время первой же большой встречи с Байковым, на защите им адъюнктской диссертации «Исследование сплавов меди и сурьмы и явления закалки, в них наблюдаемых», состоявшейся в октябре 1903 года.

Попробуем передать читателю хотя бы частично очарование этой замечательной работы. Пусть мы вместе с читателем, подходя к её первым страницам, совершенно ничего не знаем ни о сплавах меди и сурьмы, ни о явлениях закалки в них, больше того, мы попросту не знаем даже того, что такое закалка. Но Байков как будто предвидит это. Он спрашивает, что такое закалка, и отвечает:

«Явления закалки относятся к случаям так называемого ложного равновесия (*faux équilibre*). Ложным равновесием называется такое состояние материальной системы, когда отсутствие каких-либо изменений или превращений в системе обуславливается не тем, что внутренние силы системы находятся в равновесии с внешними условиями, но тем, что при данных внешних условиях превращение вообще не может совершаться ни в том, ни в другом направлении».

В нескольких строках читатель тут получил такое богатство для мышления, что он может сидеть и додумывать вокруг и от сказанного — множество вопросов. Во-первых, он узнал, что есть два равновесия, одно фальшивое, при котором ты просто потому находишься в равновесии, что тебя как бы за горло взяли и держат в неподвижности и неизменяемости. Во-вторых, он узнал, что есть настоящее равновесие, которое заключается в том, что ты сам всё время взаимодействуешь с окружающей тебя средой и поддерживаешь это равновесие. Если сравнить, скажем, с акробатикой, то акробат на канате — это подлинное равновесие, а привязанный к канату в стоячем положении человек — это фальшивое равновесие. В-третьих, он узнал, что закалка

относится именно к искусственному, фальшивому равновесию. В-четвёртых, он узнал, что нарушение равновесия заключается в целом ряде происходящих в теле (или «материальной системе») превращений, иначе сказать — акробат летит вниз головой, а кусок стали — ломается или получает трещину. Значит, после закалки в этом закалённом металле не должно происходить никаких превращений, металл должен быть как бы мёртвым. Это огромное количество узанного, изложенное мною нарочно грубейшим языком профана, подводит читателя не только к пониманию того, что такое закалка, но и заставляет мысль самостоятельно идти дальше, и читатель сам ожидает, что вот сейчас в дело вмешается вопрос о тепле, о нагреве, об охлаждении, то есть о температуре, потому что, повидимому, внешнее условие для искусственных равновесий, для закалки, связано с температурой...

Существуют десятки учебников о закалке, в том числе популярных. Существует и такое положение явлений закалки, где не специалист не поймёт ничего. Но мы взяли первую вводную страничку байковской диссертации, страничку, касающуюся простого вопроса для металлурга, чтоб показать необычайную потенциальность, философичность (в глубочайшем смысле слова) изложения Байкова, сразу вводящую во весь потенциал проблемы, овладевающую вашей мыслью, заставляющую вас думать и получать наслаждение от мысли.

Допустим, что, кроме приведённой мною короткой цитаты, мы больше ничего не прочли у Байкова. Но вот перед нами раскрывают его статью «Высококачественная сталь и её характеристика», написанную в 1932 году, спустя двадцать девять лет после его диссертации. И там мы читаем следующее:

«Когда мы имеем массу расплавленного металла в печи, в конверторе, в тигле, — в приборе, в котором готовим сталь, — то эта масса расплавленного металла, — стальная ванна, — имеет сложную и интересную жизнь. Она всё время живёт, она не остаётся без изменения, в ней всё время происходят различные процессы... Когда мы совершенно остановим все эти процессы, когда сталь является совершенно безжизненной, она будет обладать наилучшими свойствами, она, вытекающая из печи и застывая в формах, никаких признаков жизни в металле не будет обнаруживать. Такая мёртвая сталь является идеалом, к которому металлургия должна стремиться». Здесь всё нам сразу предельно ясно, потому что мы уже прочитали, что такое закалка. Здесь узанное нами в одной только фразе — служит уже ключом, делает нас в своём роде «образованными в этой области», то есть, позволяет судить и понимать. Мы с удивлением задумываемся о том, что жизнь для неорганического мира металла есть несовершенство, есть смерть (условие порчи, поломки, непрочности), а смерть — есть жизнь (условие длительности, целостности, прочности).

Так подать сухую специальную тему, значит,

подать её на высоком уровне мышления, и притом мышления не «изолированного», не двигающегося в ограниченных пределах данной специальности, а связанного с пониманием всех смежных наук.

Не удивительно поэтому, что молодой учёный захватил своей диссертацией, увлекательностью своего стиля, прозрачностью своего мышления ещё в 1903 году многочисленную аудиторию. Байков становится профессором и получает кафедру в Политехническом институте им же самим созданной дисциплины, — металлографии. До него закалка, термическая обработка стальных изделий делалась, что называется, на ощупь, нутром. Никто не понимал в точности процессов, которые при этом происходили, не «заглядывал в глубь материи», — а самый процесс закалки, осуществлявшийся в слепую, был ремеслом рабочего. Байков впервые разгадывает тайны этого процесса. Своей «металлографией» он создаёт поворотный пункт в истории термической обработки стальных изделий.

Лаборатория Байкова в Петербурге становится местом паломничества для металлургов. Он создаёт свою школу, и ученики, выходящие из этой школы, выполняют сотни работ, задуманных и подсказанных учителем. Слава Байкова растёт, круг его обязанностей расширяется. Когда приходит Октябрьская революция, он в ещё консервативной среде учёных так смело судит о событиях, так необычно для этой среды высказывается, что ему бросают в лицо, как обвиненье: «Да вы большевик!» И Байков спокойно и уверенно отвечает: «Да, я большевик». Он как бы сводит концы с концами в своей душевно-духовной биографии, находит огромную близость и многие точки касания к большевизму. Тянет его к нему и французская материалистическая школа мышления, пройденная им; и домашнее воспитание, мать, словно выхваченная из атеистических вольнодумных кругов восемнадцатого века, безбожница, в глубокой старости скончавшаяся, отказавшись от священника и обрядов религии; тянет его и занятие точной, строгой наукой; и подсмотренный им в явлениях природы, в изученном металлургическом процессе — диалектизм этого процесса, о котором он делает специальный доклад в духе Энгельса, в терминах диалектического материализма.

Огромную практическую помощь советскому строительству, а сейчас обороне родины, оказал и оказывает Байков. Его гениальная проницательность в области металлургии делает его хозяином сплавов, творцом огромного количества марок стали. Он подобен в этом царстве мёртвого качества, царстве мёртвого бессмертия — Мичурину, хозяину растительного царства в его бессмертной жизни.

Четыре года назад Байков опубликовывает статью: «Задачи науки в чёрной металлургии», где разворачивает перед учёными обширную программу, уходящую далеко в будущее. Статья, как и всё, что пишет Байков,

сжата до крайней степени и очень немногословна, без всякого, впрочем, ущерба для её ясности и увлекательности. Прочтя её, чувствуешь себя на очень высокой вершинке, где воздух разрежен и трудно дышать, — и кажется, будто, по мере вдумывания в эту статью, ты начинаешь полёт в будущее. Байков заканчивает её шестью проблемами, какие он предлагает на разрешение учёным металлургам.

Первая проблема — изучение жидкого металла и его свойств. Оно поможет при разливке жидкого (расплавленного) металла в изложницы, потому что «самую лучшую сталь, приготовленную безукоризненно правильным процессом, можно совершенно испортить при разливке по изложницам».

Вторая проблема — освобождение от газов в металле.

Третья проблема — неметаллические соединения в металле.

Четвёртая проблема — течение химических реакций в ванне расплавленного металла.

Пятая проблема — о так называемом «первородстве». По аналогии с наследованием признаков в мире органическом, металлургии сложили легенду о наследовании «матерних» и «отцовских» качеств в металлургических сплавах. Четыре года назад Байков поставил эту проблему очень отчётливо, хотя и осторожно: «Проблема первородства материалов и наследственности в металлургических производствах, — другими словами, влияние различных исходных материалов на свойства получаемого из них металла, которые при одинаковом химическом составе металла могут представлять существенное различие... Необходимо путём точных исследований решить, существует ли это в действительности, или это является результатом недостаточно правильных наблюдений. А если это имеет место в действительности, то необходимо совершенно точно и определённо выяснить, в чём заключается истинная причина подобных явлений. Если это не будет сделано, то будет допущено в положительную науку проникновение мистицизма и таинственности, которым не должно быть места в нашем материалистическом мировоззрении».

Недавно на Урале у академика Байкова спросили по поводу этой пятой проблемы, думал ли он сам в эти годы над нею, — и Байков ответил: «Да. Я склоняюсь к выводу, что никакой «наследственности» при сплавах вообще нет, нельзя говорить о «наследственности», — есть лишь сочетание разных качеств».

Что касается последней, шестой проблемы, то в ней и содержится тот скачок в будущее, который даёт читателю ощущение полёта. Шестая проблема посвящена специальной стали, откоптыно таких принципов, законов и положений, которые позволили бы проектировать сталь с любым составом, чтобы она имела наперед заданные свойства.

Ленинград был в кольце блокады. Ленинградцы голодали. Невский проспект простре-

ливался артиллерийским огнём. Шесть раз горсовет предлагал академику Байкову выехать и шесть раз он отказывался выехать. Он терпеливо объяснял, что ему выехать никак нельзя: рабочие приходят и спрашивают, здесь ли Байков? Избиратели спрашивают, тут ли Байков, не уехал ли их депутат, не бросил ли их? Хорош бы он был, если б выехал! Ведь это произвело бы тяжёлое впечатление... И Байков неутомимо работал в осаждённом городе, развезая по Ленинграду под бомбами. Один раз снаряд разорвался недалеко от его машины. Другой раз бомба упала возле траншеи, куда он укрылся. Байков удивлял окружающих своим бесстрашием, он действовал успокоительно, друзья прозвали его «бромом» и шли к нему за спокойствием, говоря, что идут выпить ложку брома. Он выехал из Ленинграда только тогда, когда город был под прямой угрозой немецкого вторжения.

Моложавый стройный старик, юношески свежий в движениях, появился на Урале, — и те, кто не знал его близко, слышали очаровательного собеседника, наизусть помнящего страницы любимых им поэтов, музыканта — с глубоким суждением о музыке, человека гальского остроумия и ворчливой русской доброты, о котором прокатчики и сварщики, мартеновцы и электроплавильщики, термисты и печники говорят «наш Байков».

3. ПОРТРЕТ АКАДЕМИКА В. А. ОБРУЧЕВА

Около двух лет назад Владимир Афанасьевич Обручев приехал на Урал вместе с эвакуированными институтами Академии Наук. В те дни многие чувствовали себя вышибленными из привычной колёны, должны были при выехать к походному быту, к неимению нужных рукописей, отсутствию драгоценной библиотеки и годами собранных материалов, без которых, казалось, невозможна никакая научная работа. Но Владимир Афанасьевич не успев подняться в отведённый ему номер гостиницы, вынул старую чернильницу тёмно-коричневого цвета, верного друга, сопровождавшего Обручева в его поездках почти пятьдесят лет. Семидесятвосемилетний геолог не нуждался в долгом приспособлении к новому месту. Множество экспедиций провёл он в своей жизни, отнюдь не прерывая научной работы: расположится на ночлег в убогой клетушке китайской гостиницы, на так называемом «кане», тёплой глинобитной лежанке, отапливаемой изнутри; достанет чернильницу, собранные образцы, зажжёт свои свечи и при свете их работает со вниманием и увлечением, как в городском кабинете.

Правда, в свердловской гостинице не было под рукой ни его московской библиотеки, уникальной по разделу Азии; ни обширного картографического собрания в ящиках, которые давно уже не умещаются в его кабинете и громоздятся в коридоре и в передней. Но Владимир Афанасьевич привёз с собой на

Урал особую «библиотеку», — собственную память. Поразительна эта память. Учёный верно хранит в ней не только факты и даты, но и связи явлений, последовательность событий. По памяти он может сейчас воскресить двухнедельные, месячные путешествия со всеми их остановками и особенностями дороги, — путешествия, проделанные больше чем полвека назад. И, поставив на стол чернильницу, Владимир Афанасьевич уже оказался дома на Урале. Он начал свою работу буквально с первого дня приезда.

Есть области науки, где сравнительная не исследованность материала требует долгого собирательного периода, накопления фактов и описаний, и где преждевременные обобщения могут больше повредить, чем помочь. В таком положении было наше знание геологии Азии, особенно некоторых, совершенно неисследованных частей азиатского материка, — во второй половине прошлого века, примерно, к тому времени, когда студент Горного института Обручев осознал свою жизненную задачу.

В семье его отца, пехотного офицера, Афанасия Обручева, были хорошие традиции. Брат отца, Владимир Александрович, друг Чернышевского, был осуждён и пошёл на казнь почти одновременно с Чернышевским. Сестра отца, Марья Александровна, — это та самая Бокова-Сеченова, с которой писалась Верочка романа Чернышевского «Что делать?». Дядя-шестидесятник и тётка-шестидесятница — несомненно, внесли какую-то свою долю в атмосферу детства и юности Обручева. Родился он в 1863 году в Тверской губернии, рос и воспитывался из-за частых перемещений отца по службе во многих городах, — раннее детство в польском Муромце и Млаве, с зачатками польского языка, который и сейчас ещё не забыт академиком; прогимназия в Брест-Литовске; гимназия в Радоме; реальное училище в Вильно; и, наконец, в 1881 г. сперва Технологический, а потом Горный институт в Петербурге. Менялись среда и люди, — людьми мальчик не успевал даже заинтересовываться; но смена природы, поездки из города в город, разворачивающаяся панорама земли, захватывающая в своём изменении, дающая всё новые и новые впечатления, — быть может, ещё тогда разбудила в мальчишке неутомимого, жадного «пожирателя пространства», любителя путешествия. Десять лет спустя академик Обручев потратил много энергии на то, чтобы убедить наши органы народного образования ввести геологию, изучение истории земли, науку, что такое земля и как она сложилась, — как обязательный предмет в среднюю школу. До сих пор, чуть ущемат где-нибудь преподавание геологии и скостят ее часы, — люди бегут жаловаться академику Обручеву, и он принимает близко к сердцу «обиженную геологию». Но не только геология. — и топография, точное знание района, где ты живёшь, мудрая прогулка, — не одними ногами, а когда и мысль, и глаз, и память работают, подмечают, соображают, запоминают, — кажется старому

учёному необходимым багажом образованного человека. Ещё до войны он поместил в одной из белорусских газет статью о том, что «каждый школьник должен знать топографию своего района...»

Так с детства начала тренироваться память будущего геолога и обостряться его способность видеть вещи. Первую свою геологическую практику, около 60 лет назад, он провёл в преддверии Азии, — на Урале. При переходе с III на IV курс он сблизился со знатоком Туркестана, профессором Мушкетовым, и уже бесповоротно выбрал для себя своё будущее. В те годы появился I том огромного описательного сочинения Рихтгофена «China» (Китай), снабжённый чёткими геологическими рисунками, первыми уточнёнными картами отдельных районов Китая, — труд, похожий на открывшуюся перед читателем бесконечную дорогу в неизведанное сердце Азии, туда, откуда, по древним легендам, вышла всякая историческая жизнь. Владимир Афанасьевич страстно увлёкся Рихтгофеном. Это было чтение по его вкусу; это был стиль подлинного научного описания. При всей внешней сухости и специальности, в однообразии перечней, в отсутствии «лирических восклицаний» и всякого рода литературного украшения, — во всей честной и строгой точности этих страниц, — то тут, то там, как редчайшая вирапанка золотых песчинок, мелькало наблюденье, выравненное за сферу земли — в историю общества, в историю дороги, в описание сотворённого людьми, сложного народом. Надо уметь быть природным исследователем в одной узкой своей специальности, чтобы полностью переживать и чувствовать разрядку вот от таких редчайших «золотых песчинок». Как потянуло Обручева в Китай после прочтения этой книги! Потянуло исследовательски, с методом и трудолюбием автора «China», но не в след за Рихтгофеном, по уже пройденным им дорогам, а туда, где он ещё не был и где ещё никто не был. Однако же Горный институт окончен, и надо было думать о службе, о работе для прокормления.

Генерал Анненков начинал тогда строительство Закаспийской военной железной дороги. Для этой дороги необходим был ряд геологических исследований. В экспедиции, организованной с этой целью профессором Мушкетовым, принял участие и молодой Обручев. В течение трех лет, с вычетом нескольких месяцев на отбывание воинской повинности, в 1886, 1887 и 1888 году он прошёл и обследовал Туркмению, от Кызыл-Арвата до Самарканда, к границе Афганистана на юг и до русла реки Узбой на север. Это ещё не было желанным Китаем, но это уже был Восток, пустынная земля, пески, характерные растительные виды, которые он позднее встретил в Центральной Азии. И вот что замечательно. Молодой Обручев, во время практических работ в экспедиции, вёл, — как всегда ведёт, — дневнички, но не собирался отдавать их в печать. Дневнички эти, вместе с другим его

накопленным десятками лет рукописным материалом, остались в Москве. Между тем, пребывание на Урале приняло для академика Обручева, в силу практических задач военного времени и развития уральской геологической тематики, характер неизбежного «возврата к начальным годам его работы и, тем самым — биографического закругления его длинного жизненного пути. Не очень страдая, что вот сейчас, сию минуту, по требованию работы, нельзя вынуть из ящиков всё накопленное богатство прошлого и использовать его, как нужнейший опыт, для злободневной статьи, Владимир Афанасьевич поступался в походную библиотечку памяти, и здесь, на Урале, спустя шестьдесят лет, не только написал по памяти для альманаха «Уральский Современник» о «Горной разведке в старое время» (первой своей уральской практике) и о том, «Как образовались сокровища Урала», но и засел, наконец, за точное описание своих путешествий по Туркмени. Не имея под рукой даже клочка бумаги из дневников прошлого, он успел уже написать около 10 печатных листов. Попробуем заглянуть ему через плечо в эти заветные листы, ещё нигде не напечатанные. Владимир Афанасьевич пишет их по вечерам, они для него лёгкая и развлекательная работа, не требующая особого напряжения. Пишет он, как всегда, прямо начисто, чаще карандашом, молодым, необычайно разборчивым, ясным и сжатым почерком, требуя от своей руки, чтоб она несла на бумагу только сформировавшуюся, опробованную и проверенную в мозгу фразу. Когда, в редких случаях, рука позволит себе переиграть мысль или придёт на ум более счастливое выражение, и Обручев захочет поправить написанное, он не зачёркивает напешившее слово, не оставляет его на бумаге, а попросту крепко стирает мягкой резинкой, неприменным производственным инструментом его рабочего места (наряду с круглой старой чернильницей, когда он пишет чернилами), и на его месте пишет новое. В ровных и чистых строках «Туркменских записок», льющихся так легко на бумагу, попадают знакомые названия, сразу возбуждающие интерес. Если вы читали замечательное путешествие Обручева в Китай и Центральную Азию, изданное Академией Наук в 1940 году, вам, наверно, запомнились часто упоминаемые растения, виданные им в пути, — «ирис», «чий». Ирис — это знакомо, а вот что такое чий? Как он растёт? Какой от него толк? Обручев нигде в книге не дал подробного объяснения, и чий остался в нашем воображении недовершённым, недорассказанным. А тут, неожиданно, первое, что падает вам в рукописи, — это долгожданное знакомство с таинственным чием. И какое исчерпывающее!

Чий — злак, растущий отдельными большими пучками или снопами в рост человека или даже всадника из очень твёрдых стеблей с метёлками цветов. Чий мы уже встречали кое-где в Киргизской степи, а в Центральной Азии оно очень обыкновенное растение и

приносит пользу, хотя не в виде корма, так как его жёсткие, как проволока, стебли даже верблюды не едят, а только обгрызают молодые мётёлки. Из этих стеблей кочевники плетут циновки для стенок и пола юрт, а в зарослях чья мелкий скот укрывается от зимних метелей».

Шестьдесят лет пролежало в памяти учёного это ясное и точное знание, чтоб лечь на бумагу в часы досуга, на Урале, в ретроспективной работе, создаваемой без единого пособия или источника, кроме собственной памяти!

Вернувшись из Туркменского путешествия, Обручев принимает место штатного геолога Иркутского горного управления. Эти годы связаны у него с практическими разведками угля на Оке, слюды на реке Слюдянка, апатитов на реке М. Быстрой и, главное, золота в Олекминско-Витимском золотоносном районе. По золоту Обручев становится классиком, — крупнейшим специалистом, которого десятки лет приглашали и поиглашают для консультирования на все имеющиеся у нас месторождения золота и который немало поработал над изучением и указанием новых золотоносных районов.

В иркутский период жизни Обручеву удалось, наконец, осуществить свою мечту — побывать в Китае. Он поехал туда как геолог экспедиции Г. Н. Потанина, на 2 года, основательно подготовившись к поездке и тщательно снарядив её. Выехал из Иркутска в 1892 году в Кяхту, а из Кяхты через Ургу и Калган в Пекин, в провинции Северного Китая, по хребту Цзиньлин-шань, дважды по горной системе Нань-шаня, по реке Эцзинтоа в центр Монголии, оттуда до Жёлтой реки, через Ордос, Хамийскую пустыню, вдоль подножья Восточного Тань-шаня в Кульджу, куда он и добрался в октябре 1894 года. Маршрут был выбран так, чтобы не повторять не только поездки Потанина, но и пути Рихтгофена, а исследовать наименее описанные области Китая. Путешествовал Обручев на всех видах транспорта, в том числе и на собственных ногах, в одежде миссионера, чтоб не привлекать к себе излишнего внимания, и всюду внимательно изучал геологию, строение почвы, движение песков, тектонику горных хребтов. Однако же специальная цель путешествия не расслонила от него живой страны и её народа. В книге его помещён ряд таких тонких и необычных наблюдений, так живо и просто описан дорожный быт, — состояние дороги и транспорта, китайская гостиница и кухня, сельские фанзы, смена форм труда и степени зажиточности китайцев параллельно с изменением структуры земли и её почвы, вода и техника её добычи, рудник и техника его разработки (уголь, соль), наконец, — так ясно дан Пекин одним лишь точным описанием его плана и точным обозначением, чему какая часть в этом плане посвящена и кто, где расселён, что вы начинаете находить особую прелесть именно в таком деловом изложении, лишённом всякой нарочитой «художественно-

сти». Приведу несколько примеров особой точной наблюдательности Обручева путешественника. Он видит и хорошо описывает китайское вьючное седло:

«Весь багаж был разбит на вьюки для мулов очень своеобразным, принятым во всём Китае способом, о котором нужно здесь сказать. Вьючное седло представляет деревянный полуцилиндр с выдающимися бортами. Вьюк привязывается к двусторонней лесенке поровну с каждой стороны, и погонщики требуют, чтоб ваши ящики и пр. имели попарно одинаковый вес. Когда багаж привязан к лесенке, подводят мула, два человека поднимают её и кладут на полуцилиндр описанного седла ничем не привязывая. Этим способом караваны из нескольких животных готовятся к отъезду в самое короткое время».

Показав, как упрощенно и рационально делают погрузку вещей на лошадь в Китае Обручев не забывает рассказать вам и о том как там упрощённо и рационально молятся:

«В Урге (Монголия) мне бросились в глаза оригинальные молитвенные мельницы, если можно так выразиться. Это деревянный цилиндр, насаженный на столб и могущий вертеться вокруг него, как вокруг оси. Цилиндр оклеен буддийскими молитвами на тибетском языке, и каждый, проходящий мимо такого цилиндра... считал долгом повернуть его несколько раз, что равносильно произнесению всех начертанных на нём молитв. Ещё более упрощённый способ... я видел позже в горах Китая и Нань-шаня, где подобные же цилиндры приводились во вращение ветром или водяным колесом и, таким образом, молитвы возносились непрерывно и без затраты труда верующих».

А вот наблюдение, касающееся уже наслаждения музыкой. Когда Обручев поднялся на городскую стену в Пекине, он обратил внимание на «мягкие, слегка дрожащие звуки, доносившиеся сверху, где кружилась небольшая стая голубей». Оказывается, эта голубиная музыка — плод искусственного закрепления хвостов голубей особым бамбуковым свистком разной величины, цилиндрических и сферических, с различным числом отверстий, которое во время полёта, под напором воздуха начинают нежно петь. Китайцы, любители этой музыки, могут слушать её часами, сидя на крышах своих домов. Вот — три различных наблюдения, три различных формы «рационализации» у китайцев, всякий раз связанные с использованием цилиндрических и полуцилиндрических объёмов: лавинное приращение геометрии к облегчению быта, к облегчению религиозных обязанностей, к облегчению искусства. Всё вместе создаёт удивительный образ китайца, смесь наивности и какого-то редчайшего, древнейшего, разумного примитивизма, развивающегося по своему собственному внутреннему, вне-историческому, статическому, очень доверчивому ощущению мира.

Избегая эпитетов и общих выводов, Обручев там, где дело идет о спорном вопросе его собственной науки, умеет занять очень опре-

делённую и принципиальную позицию. Так, проводя читателя по всей книге через страну лёсса, этой своеобразной наносной жёлтой почвы, в которой китайцы прорывают свои дома, «трассируют» свои дороги колёсами, сеют и собирают дикие винные ягоды, которая дала Китаю его национальный священный цвет — жёлтый, и от которой, может быть, путём тысячелетней «мимикрии» жёлты и сами китайцы, — Обручев в конце книги даёт своё собственное объяснение того, что такое лёсс: наблюдения над его распределением и распространением в Северном Китае убедили Обручева, что «лёсс состоит из пыли, образовавшейся в пустынном сухом климате Центральной Азии при процессах выветривания горных пород, вынесенной оттуда ветрами и отложившейся в условиях более влажного климата в Северном Китае»... Вывод остроумный и оригинальный, поскольку он расходится с объяснениями происхождения лёсса у других географов, — как местной, а не нанесённой из пустыни пыли, образующейся от разрыхления почвы пашнями и дорогами.

Я уже говорила выше, что геология некоторых частей азиатского материка переживала в те годы период описательно-собираательный; к Китаю это относилось меньше, чем к пограничной с Китаем Джунгарии, куда Обручев, по совету Зюсса, отправился в годы 1905, 1906 и 1909 и которую требовалось дать, прежде всего, в тщательном описании. Запись геолога — это почти рабочая книга врача; то, что глаз видит во всей чувственной прелесть красок и объёмов, что воображение окружает прочитанным и ассоциированным, что ухо воспринимает, как симфонию живых, комбинированных звуков человеческой речи, городского и сельского шума, что память пронизывает историей, филологией, лингвистикой, этнографией и, наконец, — что сама жизнь как бы прошивает приключениями, встречами, эпизодами и внутренним миром путешествующего, — всё это геолог старательно обходит в своих записях, так же как врач не описывает наружности, костюма, характера и душевных качеств больного. Казалось бы, такие записи — скучное чтение не для специалиста. А между тем даже самая сухая и специальная работа Обручева, — его описание первой экспедиции по Джунгарии, где он скупо замывается на одном лишь перечислении геологических признаков, — даже и оно представляет собою исключительное чтение для мыслителя. Не ставя себе задачей дать «пейзаж» в литературном понимании; не употребляя эпитетов, обычно передающих наше отношение к предмету, восторженных или метафорических; не касаясь ни истории, ни населения страны, ни характера встречаемых людей, ни их портретного изображения. Ни их быта, а, наоборот, даже изгоняя их из прямого содержания своей книги, академик Обручев, тем не менее, даёт нам такое глубокое и художественно-цельное постижение страны и народа Джунгарии, что становится даже для самого

себя интересным определить, откуда оно взялось.

Возьмём для примера горный пейзаж. Он его даёт только как геолог: в одном месте говорит о золотых выветриваниях в граните, в другом о складчатости горных пластов, сохранившей термин «матрасчатость», потому что пласты похожи на пруду положенных друг на друга матрасов, — и эти совершенно точные технические выражения (округлые золы в граните и матраподобные складчатости), иначе сказать, определены, которые никогда вам не придёт в голову употребить в качестве художественного образа, они-то и создают в вашем представлении удивительно яркую картину гор, вполне конкретную и вполне точную. Или возьмём, например, купные факты, отмечаемые по мере продвижения каравана: широкая долина реки Курум-Су, недалеко от неё калмыцкий (буддийский) монастырь Чахар-журе; каменноугольные копи Темыртаи, речка Узун-булак, ручьи с пресной, но мутной водой, загаженной скотом (недалеко киргизская юрта); шерстомойка у могилы Бельтшбай, выцветы соли на голых площадках. Жесткое монгольское название «Цаган-Тохой», мягкое киргизское «Чаган-тогей»; остатки старых китайских названий — Катунь, Сюртэ. Озеро, которое называется по-монгольски «Халтырыш иге нор», а по-киргизски «Игъ-шпес-куль», а по-русски означает «озеро, из которого собака не пьёт». Священный ключ Аулие. Перевал Кыз-бейте, «девичья могила», с легендой о богатырской девушке-конокрадке, которую поймали и убили за это. Ещё одна своеобразная легенда, записанная полностью: «Май-Кабак — значит, сальный обрыв; по словам нашего (проводника, когда-то, во время сильного бурана, стадо баранов, испуганное волками, бросилось с этого откоса и погибло в сугробах снега, нанесенного ветром; сной трупы вытаили из снега и разлагаясь, покрыли откос пятнами сала, вытопленного солнцем из курдюков». На примитивном золотом прииске единственный двигатель — ослик, ходящий взад и вперёд. Странное наблюдение, записанное точно: «Бросается в глаза, что эти деревья (вербы) растут не вертикально, а перпендикулярно к склону, то-есть, наклонно к вертикальной линии». Десятки дней, месяцы продолжается это путешествие по пустынной горной стране с необычным ландшафтом, с небогатой водой, с солончакками, с редким присутствием человека, с могилами и легендами, — их так мало! — с букетом названий, где сплетаются три — четыре народа, живших, прошедших и ныне живущих тут, — и перечисленные выше — это почти единственные «золотые песчинки» в потоке сплошных специальных геологических записей. И всё же вы как бы сами вместе с геологом ступаете и дышите в этой одинокой стране, имя ее, Джунгария, заполняется для вас цветом, краской, воздухом, пространством, даже человеческим присутствием, вам многое напоминает зарисовки Шевченко в Аральской экспедиции, его записи в рассказах, относя-

днся к переходу в Закастий, к киргизскому быту. Но вот — более или менее цельное описание пейзажа, и ассоциации ваши сразу резко меняются: «Южнее зелёной долины Манаса видна широкая равнина с рощами деревьев; она отчасти заселена китайцами, выводящими воду на свои пашни из Манаса. Прежде население было гуще, теперь многие поселения превратились в развалины, а пашни запущены. Эта культурная полоса ограничена с юго-востока большими сыпучими песками, позади которых на горизонте тянется стеной Восточный Тянь-шань с массой снегов; видно понижение этой стены к разрыву близ Урумча, восточнее которого скопление облаков у горизонта выдаёт присутствие высокой группы Богдо-Ула»*.

Названия «Манас», «Богдо-Ула» недавно стали нам близкими из киргизского и калмыцкого эпосов — «Манас» и «Джангр», переведенных лучшими нашими поэтами. Не здесь ли, не в этой ли Джунгарии разыгрывались события Джангра? Не эта ли культурная полоса, ныне запущенная, — и была утопической страной «Бумба» для калмыцкого народа? Не приближаемся ли мы тут к оплодотворению филологией геологии, и обратно, — к взаимодействию двух наук, обещающему большие открытия? Сведения, получаемые тут от геолога, дают лишний ключ к принципиальному решению вопроса о происхождении утопий. До сих пор мы представляем себе «утопию», как мечту о будущем. Но если можно проследить «солнечный град» Фомы Кампанелла до истоков легенд об историческом пребывании апостола Фомы в Индии (в древнейших сказаниях об «острове солнца», об «Индии далёкой»); если можно утопическую страну «Бумба» калмыцкого эпоса отождествить с вполне реальной частью Джунгарии, где в далёком прошлом жили калмыки, то, повидимому, «утопия», то есть, проекция желанного будущего, оказывается воспоминанием о далёком прошлом, то есть, ретроспекцией исторического факта.

В тот же иркутский период своей жизни, когда Обручеву удалось попутешествовать по Китаю и пришлось много поездить по Сибири, он задумал, — а позднее с огромным трудолюбием и терпением выполнил, — многотомный историко-библиографический справочник «История геологического исследования Сибири». В первом томе этого справочника есть рассказ о капитане Николае Рычкове. Он был послан из Орской крепости в 1771 году с карательной экспедицией вслед убежавшим волжским калмыкам, которые в большом количестве отправились с места своего жительства в астраханских степях — «к пределам Китайской империи, в свое древнее отечество в Джунгарии, между Алтаем и Тяньшанем». Так геолог Обручев, даже в этой своей учёной библиографической работе, про-

ливает неожиданный свет на загадочную страну Бумбу калмыцкого эпоса.

Путешествие в Джунгарию было проведено Обручевым уже за время его службы в Томске, где он занял кафедру геологии Технологического института, в котором ему пришлось несколько раз быть и деканом отделения, и директором. С первых дней революции Владимир Афанасьевич стал работать в ВСНХ, с 1921 года он один из строителей новой Горной академии в Москве, с 1929 года — он действительный член Академии Наук. По поручению правительства за всё это время он выполнил целый ряд работ, связанных с консультацией и обследованием рудных месторождений и ещё в 1936 году, в возрасте 73 лет, ездил на Алтай в качестве руководителя Ойротской экспедиции Академии Наук.

Если разложить перед собой список его трудов, далеко превышающий цифру 300, то увидишь в их перечне определённый ритм. Несколько лет идут небольшие, деловые публикации, свидетельствующие о непрерывной полевой и исследовательской работе геолога-практика и путешественника, потом издаётся монументальный труд, суммирующий всю предыдущую работу, которая как бы служила для него, по сравнению с техникой живописца, — рядом подготовительных этюдов. Далее опять следуют отдельные деловые публикации, — и опять синтетический, очень объёмный труд. Так, на протяжении своей насыщенной трудом жизни академик Обручев создал для нас замечательные «путешествия по Центральной Азии», единственное в литературе описание Пограничной Джунгарии и классический свод всего, что написано было о Сибири.

Описательный, собирательный тип его выше чем полувековой работы, исключительная его точность и конкретность в запечатлении отдельных фактов описания — имеют огромную важность для науки, потому что их полнота и обилие подводят мысль к обобщению и помогают видеть и находить общее. Недаром Обручев, при своей почти нечеловеческой загруженности нашёл время, чтобы написать для юношества несколько научно-приключенческих романов. Его «Земля Санникова» вызвала целую дискуссию среди читателей о том, существует ли эта земля в действительности. Его роман о путешествии в недра земли «Плутония» принёс ему сотни писем, где учёному пишут студенты деловито-просительным тоном: «Пожалуйста, если вы ещё организуете такую экспедицию, возьмите меня с собой». Есть нечто трогательное в том, как большой учёный, приближающийся ко дню своего восьмидесятилетия, трудится над «замечательной геологией» для ребят, между делом начал для них новый научный роман, ходит для него по библиотекам и спрашивает литературу «о летательных машинах». Почётный член восьми учёных обществ всего мира, лауреат Сталинской премии, дважды лауреат премии Чихачёва Французской Ака-

* Стр. 409. Пограничная Джунгария, т. I, вып. I. Томск, 1912.

демии Наук, он необычайно скромен в быту и с годами не только не «уходит на покой», а, наоборот, все более уплотняет свой рабочий день и всё с большим наслаждением отдаётся работе. С каким-то эпическим совершенством он доводит до конца всё, начатое им в жизни. Трудно поверить, и это звучит невероятно, но это именно так: за неполные два года своего пребывания на Урале академик Обручев написал... около 120 печатных листов! Он прокорректировал и сдал V том «Истории геологического исследования Сибири», охватывающий весь советский период, — причём оказалось, кстати сказать, что за последние 25 лет по изучению Сибири сделано в два раза больше, чем за всё время с Петра I и до Октябрьской революции. Том этот заканчивает весь огромный историографический справочник по Сибири, над которым Обручев работал всю свою жизнь, и содержит один — около 80 печатных листов. Далее, Владимир Афанасьевич начал готовить на Урале свою «Монголию» и уже написал первую, библиографическую часть, составившую 10 печатных листов. Потом следуют записки путешествия по Туркмении и путешествия по Джунгарии, тоже по 10 печатных листов; новый роман для детей «Коралловый Остров», десятки статей в ведомых и редактируемых Обручевым журналах, рецензии, — и какие рецензии! Профессор Тетяев выпустил книгу «Основы геологии». Эта книга задела академика Обручева за живое. Он пишет и пишет рецензию, — она уже разрослась до трех печатных листов, — где спорит с автором о том, когда сжималась и когда разжималась земля. Чтобы работать с такой исключительной продуктивностью в 79 лет и сохранять при этом юношескую память и свежесть мысли, надо очень дисциплинированно тратить время и сурово выдерживать какой-то наилучший для себя, трудовой режим. У Владимира Афанасьевича это именно так и есть. Каждая секунда дорога. Будучи секретарём Геолого-географического отделения Академии Наук, он еженедельно проводит заседания. Заседания происходят у него на квартире, — и беда тому, кто опаздывает!

Рано вставая, Владимир Афанасьевич неизменно делает лёгкую, насколько позволяет ему сердце, физкультурную зарядку. Потом начинается день, — вернее, четыре дня в сутки. Одновременно он ведёт 3 — 4 работы. Для самой трудной, требующей особого внимания, отводятся утренние часы. После прогулки — работа менее трудная, чаще всего библиографическая, журнальная. Вечером, после коро-

тенького отдыха, записки, роман. Переход от одной работы к другой лишнего времени не отнимает, потому что — и этой привычке Обручева следовало бы поучиться каждому оаботнику умственного труда! — он никогда не ставит себя в положение чего-то ищущего, что-то, где-то потерявшего и не знающего, куда заглянуть, где порыться. Рабочее место Обручева — всегда в порядке. На подготовку к труду не тратится и пяти минут. Каждой теме отведён свой ящик, каждой книге своё место в шкафу. Кончена одна тема, и тотчас же, не выходя из комнаты, Владимир Афанасьевич аккуратно убирает рукописи и книги, каждый клочок бумажки туда, где им положено быть. Старое убрано на своё место, новое достаётся оттуда, где оно в порядке лежит. Когда нужно было для оборонной промышленности Урала срочно решить проблему одного марганцевого месторождения, и Обручеву дали просмотреть одну книгу и высказаться по ней, старый учёный тотчас нашёл и припомнил все нужные справки, всю имеющуюся литературу, — и данный им прогноз оказался совершенно правильным.

Незадолго до войны «Правда» разослала крупнейшим советским деятелям интересную анкету. Она запросила о том, над чем сейчас адресат работает; как представляет себе область своей работы через 5 — 10 лет и о чём мечтает; какое событие в данном году считает для себя наиболее крупным.

Академик Обручев ответил, что крупнейшее событие для него в данном году — это включение Академией Наук («наконец-то!») в исследовательский план ряда вопросов по геологии Восточной Сибири и Дальнего Востока; что сам он, кроме текущих дел, занят изучением литературы о Монголии; что «через 5 — 10 лет будет практически решён вопрос об использовании тепла земных недр в качестве неистощимого источника энергии и в приполярном поясе Союза будут строиться города, заводы и теплицы, обслуживаемые этой энергией»; и, наконец, мечтает он о том, что «вопреки мнению океанографов — будет открыта земля Санникова в районе большой петли дрейфа ледокола Седов».

Это было написано весной 1940 года. Большой, убеждённый сединами учёный признался, что он мечтает вместе с героями тех своих книг («Плутония», «Земля Санникова»), которые писались как развлекательные, писались в жанре романов. Жажда провидения, отгадки, обобщения, найденного при помощи искусства, — это черта вечной молодости Владимира Афанасьевича Обручева.

ПОЭЗИЯ ПОКОЛЕНИЯ, СОЗРЕВШЕГО НА ВОЙНЕ

Е. ТРОЩЕНКО



Статья первая: КОНСТАНТИН СИМОНОВ

1.

Печальные дети, что знали мы,
Когда у больших столов
Врачи, постучав по впалой груди,
«Годен», — кричали нам..
Печальные дети, что знали мы,
Когда, прошагав весь день
В портянках, полных до черноты,
Мы падали на матрац.
Дремота и та избегала нас.
Уже ни свет, ни заря
Врывалась казарменная труба
В отроческий покой.

Так писал Багрицкий о поколении молодежи, застигнутом первой мировой войной, Война обрушилась на это молодое поколение интеллигенции, как рушатся на спящего стены адания во время землетрясения. Следовало разобраться хотя бы в том, во имя чего ты должен умирать, есть ли какой-либо смысл в твоей гибели.

Я спутника своего искал:
Быть может, он скажет мне
О чем мечтать и в кого стрелять,
Что думать и говорить.

Это был, собственно, основной вопрос, который следовало решить, и в поисках ответа на этот вопрос началась идейная история этого поколения, мучительно и трудно, на опыте войны и революции и новой войны — гражданской, на жестоком опыте жизни выработавшего себе определенное, твердое, ясное революционное мировоззрение и определенный, твердый, ясный характер.

Мы навык воинов приобрели,
Терпенье и меткость глаз,
Уменье хитрить, уменье молчать,
Уменье смотреть в глаза.

Таков был простой психологический итог сложного внутреннего пути, проделанного этим поколением, и не случайно возникла здесь с

такой превосходной точностью и лаконизмом сформулированная Багрицким тема мужества, как возникла она прежде и в стихах Николая Тихонова. Стойкий, твердый характер, мужественный перед лицом жизни и смерти, — это был стиль времени, эпохи, сурово отобравшей сильных духом, способных к борьбе, наделенных волей к победе.

Отличавший прежде представителей авангарда, передовиков народной борьбы, он стал нормой для человека советской эпохи. Героем нашего времени стал человек типа Фурманова или Николая Островского. И это было то превосходное наследство, которое получило новое молодое советское поколение.

Воспитанное в обстановке труда, в атмосфере коллективизма, гражданственности, политически просвещенное, полное жизни, деятельное — оно уверенно и спокойно шло своей дорогой, зная, однако, что это спокойное течение жизни в любую минуту может быть прервано.

Война! Это слово не было чуждо ни языку, ни слуху нашей молодежи. Она жила в атмосфере предгрозы и сознавала это. Перечитай те сейчас книжки стихов, написанные нашими молодыми поэтами в предвоенные годы, и почти в каждой из них вы найдете мотив ожидания военной грозы, мотив воинского долга и гражданской готовности к его исполнению.

Из радостей и печалей
Судьбу составляя свою,
Мы в жизни, — в конце иль в начале, —
Бойцами предстанем в бою.
Творя и горя за работой,
За выбранным близким трудом,
По милой земле развезжая,
Мы дня знаменитого ждем, —

пишет Маргарита Алигер в 1937 году.

В желтых клубах ядовитого дыма,
В смертном бою, в свистопляске огня
Не отрекись от того, что незримо
В жизни моей открывало меня.

Вражеской, черной, грохочущей стали
 Не уступлю даже горсти земли —
 Гой драгоценной, где Ленин и Сталин
 В наши сердца безраздельно вошли, —

пишет А. Коваленков в стихотворении «Клятва».

Евгений Долатовский в одном из стихотворений Дальневосточного цикла заявляет:

Жить хочу! Хочу встать с рассветом,
 Чистым солнцем умывать лицо,
 Разве мог я вырасти поэтом,
 Если б не был рядовым бойцом?
 Никогда!
 И нашей чистой правды
 Не отдадим ни пяди никому.
 Может, в яростном бою на травы
 Уйду...
 Но смерти не приму..

Не в первый и не в последний раз давала наша молодежь такие клятвы, такие торжественные обещания, и она обладала достаточным чувством ответственности, достаточной внутренней честностью и серьезностью, чтобы понимать, что такие слова вступают не говорятся, что такие обещания выполняются.

Нет, молодежь наша не скажет, вспоминая о своей последней ночи перед войной, —

«Печальные дети, что знали мы?..»

И ей не нужно было спрашивать, когда пробил час войны, как спрашивал в смятении и растерянности герой Багряцкого:

«О чем мечтать и в кого стрелять,
 Что думать и говорить?»

У нее были ясные ответы на эти вопросы.

2.

Каждая поэтическая эпоха, и великая и малая, имеет свое «слово», свою излюбленную формулу, по которой вы угадываете ее внутренний стиль и направление. Таким поэтическим «словом», многозначительным поэтическим понятием, закладывавшим в себе целый мир образов, представлений, сюжетов, было для нашей молодой поэзии 30-х годов слово «мужество».

О мужестве толковали в поэзии тридцатых годов все, размышляли о нем, искали его в буквальном смысле «на земле, в небесах и на море», отправлялись за ним в далекие путешествия, в трудные экскурсии, испытывали его в походах.

Уроки стойкости и твердости духа извлекались не только из фактов и событий гражданской жизни, но и из событий жизни личной, из области сугубо интимной. Ярким примером здесь может служить поэма М. Алигер «Зима этого года» (1938 год). В поэме рассказан эпизод личной биографии автора, только вступившей в жизнь женщины, по несчастному стечению обстоятельств пережившей сразу много тяжелого. Беды драматически нарастали, но росли и силы души героини, не отчаившейся в жизни, а, напротив, вышедшей из всех бед умудренной опытом и закалившейся.

Не так-то просто путь пройти,
 дойти и голову сложить.
 Но если ты уже в пути,
 мужайся!
 Это значит жить, —

говорится в концовке поэмы. Даже в любовных неурядицах, в юношеских обидях и горестях находили наши молодые поэты повод для воспитания характера. (Стихотворение М. Алигер «Девушка»).

И как во всяком живом движении, должен был явиться в нашем молодом литературном движении поэт, который многими особенностями своего душевного склада, своими интересами и устремлениями более всего подходил для выражения этой важнейшей темы своего поколения. Таким поэтом явился Константин Симонов. С необычайной в молодом поэте целеустремленностью, не отклоняясь никуда в сторону, последовательно разрабатывал он с первых шагов в своем творчестве эту проблему.

Если попытаться одним словом охарактеризовать суть его поэзии, ее своеобразие, то можно сказать, что это была поэзия характера. Предметом ее было изображение поведения человека, его поступков, различных и многообразных проявлений его идейного и душевного склада во вне. Мужество — это не чувство и не состояние. Это свойство, качество человека, это мера силы характера. Разрабатывая тему мужества, поэт с необходимостью должен был прийти к проблеме характера и всем связанным с нею темам. Отсюда, из этого специфического содержания творчества молодого поэта явилось и тяготение его к повествовательным формам (ибо характер обнаруживается в действии, в сюжете) и, что более существенно, моральная нота, которая звучит в его поэзии. Речь в его стихах шла об определенном образце поведения, о моральной норме поступков. Верность, смелость, преданность долгу, стойкая воля к жизни и гордое презрение к смерти — вот тот своеобразный рыцарский кодекс, который утверждал в своей поэзии Симонов.

Была, однако, еще одна чрезвычайно важная черта, отличавшая его поэзию, как и поэзию всего молодого поколения, к которому он принадлежал. Симонов прославлял, поэтизировал сильный характер, но его поэзия не была поэзией исключительной личности. Герой, от имени которого он говорил и к которому обращался, принадлежал не к избранным, не к какому-либо особому разряду людей. Это был «обыкновенный», «средний», рядовой советский человек, парень, каких много, «парень из нашего города», одним словом. Обыкновенный человек, совершающий необыкновенные дела, — вот, собственно, основная тема Симонова. И в новизне и своеобразии этого сочетания было своеобразие пафоса его поэзии. Мужественный сильный характер может быть воспитан; его может вырабатывать в себе каждый, кто честен, кто предан своему долгу, иными словами, каждый совет-

ский человек, каждый советский юноша, — как бы говорил Симонов. И Симонов говорил об этом не скучно, а убежденно, со страстью, с глубокой верой в свои принципы. Вот почему, несмотря на то, что поэзия его была, да остается еще и сейчас в художественном отношении далеко не совершенной, она имела большое влияние и распространение уже в предвоенные годы. Поэзия Симонова была явлением жизненным. Это была одна из форм, в которой совершалась внутренняя психологическая самоподготовка молодого поколения к предстоящему ему великому историческому испытанию.

3.

В каких же образах и мотивах развивал Симонов свою идею мужества? Сюжет для одного из первых больших произведений Симонова на эту тему дала папанинская экспедиция, событие необычайное, героическое от начала до конца, вплоть до последних драматических эпизодов, связанных со спасением отважной четверки.

Центральный мотив «Мурманских дневников» — мотив товарищеского самоотвержения и взаимопомощи. Симонов отменно, со свойственной ему сосредоточенностью разработал этот мотив, передав его через чувство человека, охваченного нетерпением, тревогой, безумным беспокойством о товарищах, находящихся в беде, которых он шел выручать и не выручил, попав в беду сам. Чувство это полно живого драматизма, в нем есть та категоричность, которая не допускает даже мысли об ином поведении, чем самоотверженное, героическое поведение. Помогли во что бы то ни стало, помоги, рискуя жизнью, — таков моральный кодекс солдата, — и Симонов находит краткие, простые и сильные формулы, чтобы выразить его. В этой сфере он чувствует себя свободно, уверенно, здесь он поэт — не только по чувству, но и по выражению.

Мы хлеб последний отдаем,
Мы на бинты рубашку рвем, —
Вот что на языке своем
Мы честью воинской зовем,
И воинская честь страны,
Когда в беде ее сыны, —
Не знать ни сна, ни тишины,
Пока они не спасены.

.....
.....
Да, прямо скажем, этот край
Нельзя назвать дорогой в рай.
Здесь жестко спать, здесь трудно жить,
Здесь можно голову сложить.
Здесь, приступив к любым делам,
Мы мир делили пополам:
Врагов встречаешь — уничтожь,
Друзей встречаешь — поделись.
Мы здесь любили и дрались,
Мы здесь страдали. Ну и что ж?
Не на кисельных берегах
Рождалось мужество...

В самой форме этих стихов, лишенной каких бы то ни было украшений, есть энергия,

прямота, чисто военный лаконизм. Именно из этих поэтических элементов выработается впоследствии тот военно-ораторский стиль, который отличает некоторые стихи Симонова, написанные в наши дни.

В «Мурманских дневниках» Симонов дает не только факты мужества, но и своего рода философию мужества. Для Симонова сильный, мужественный характер — это идеальный характер. Он присущ человеку по самой его природе, вечно подвижной, не успокаивающейся на достигнутом, вечно устремленной вперед, — к новому и неизведанному. Человек Симонова — это всесветный путешественник, отважный испытатель, это упрямый искатель истины, это, идущий, а не остановившийся, нашедший и снова ищущий. Этот идеал жизни и характера Симонов формулирует кратко и обобщенно в небольшом стихотворении, открывающем его книжку, — «Стихи тридцать девять того года».

Всю жизнь любил он рисовать войну,
Беззвездной ночью наскочив на мину,
Он вместе с кораблем пошел ко дну,
Не дописав последнюю картину.
Всю жизнь лечиться люди шли к нему,
Всю жизнь он смерть преследовал жестоко,
И умер, сам привив себе чуму,
Последний опыт кончив раньше срока.
Всю жизнь привык он пробовать сердца.
Начав еще мальчишкой с Нью-Йорка,
Он в сорок лет разбился до конца,
Не испытав последнего мотора.
Никак не можем помириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не долечив, не долетев до цели.
Как будто есть последние дела,
Как будто можно, кончив все заботы,
В кругу семьи усестя у стола.
И отдыхать под старость от работы..

И дальше в цикле «Память» Симонов дает несколько портретов, несколько поэтических характеристик, иллюстрирующих его программу. Таково стихотворение «Старик» (Память Амундсена), однородное по теме с «Мурманскими дневниками», стихотворение «Мальчик», своеобразная эстафета дерзания, передающаяся от поколения к поколению, и очень поэтичное по сюжету стихотворение «Изгнанник», в котором образы мужественных дополняются новым и чрезвычайно важным мотивом — мотивом борьбы за отчизну и свободу. Рядом с образом победителя стихий, затеявшего вечный спор «с землей, водою и огнем», встает образ воина, борца за народное дело, рыцаря свободы. И здесь также главное и основное, что интересует Симонова, — это проблема характера. Он ищет то общее, что объединяет советских людей: участника папанинской экспедиции, венгерского революционера, сражавшегося и погибшего за республику в Испании (стих. «Генерал»), мальчика, «упрямого задирку», который завтра будет забираться в небо на неизведанной машине, старого бойца, идущего по первому зову родины умирать за

нее, — и находит это общее в их воле к борьбе, в мужестве, в силе духа. Все это разные проявления одного и того же характера. В этой портретной галлерее героев из «племени храбрых» мы находим произведение, которое должно было стать настоящим гимном мужеству, и, если бы удалось поэту, могло бы стать одним из значительных произведений советской поэзии. Мы говорим о поэме «Победитель», посвященной Николаю Островскому. Но поэма эта Симонову не удалась, и на первый взгляд неудача эта кажется необъяснимой. Поэзия здесь, казалось, сама шла в руки и именно та поэзия, которая была сродни Симонову. Однако путь к ней оказался здесь далеко не таким простым, как это можно было думать. Здесь следовало сделать большое и самостоятельное творческое усилие, пересоздать наново уже готовый поэтический сюжет. Симонов же ограничился тем, что переложил в стихи уже всем известное содержание жизни Островского. И еще одно весьма важное обстоятельство помешало осуществлению этого прекрасного замысла. В поэме заметно дал себя почувствовать недостаток мастерства, явственно обнаружилось несоответствие между поэтичностью замысла и сюжета и прозаичностью, художественной бедностью образа и стиха. Самостоятельность художественной темы и несамостоятельность, ученическая робость формы, убежденность и страстность чувства и — сплошь и рядом — сухость, рассудочность выражения, героические сюжеты и недостаточно энергичный для таких тем, вялый, негибкий стих — эти несоответствия вообще наблюдались в поэзии Симонова. Но можно было заметить и другое в его еще не установившемся, невыработанном стиле. Поэзия Симонова не поднималась до большого пафоса, но ей был чужд и ложный пафос, какая бы то ни было искусственность, экзальтация. Поэзия Симонова не была художественно оригинальной, и даже как будто не стремилась к оригинальности, но она не была и банальной. Ей чужда была какая бы то ни было краснота, поза, стремление выдавать себя не за то, чем она являлась в действительности. В действительности же она была еще неразвитой поэзией, не раскрывшей полностью своего собственного оригинального содержания.

4.

Чего же не хватало этой поэзии, имевшей такую ясную программу, столь ясно формулируемые цели и идеалы? Ей не хватало личного опыта. Поэзия мужества не могла слишком долго оставаться поэзией героических примеров и моральных образцов, она исчерпала бы себя в конце-концов, не получив подкрепления в личном жизненном опыте героя, от имени которого она выступала. Следует различать героически повествовательную линию в поэзии Симонова от личной, лирической. Первая была достаточно развита, ясна и определена, вторая была неразвита и неопределенна.

Поэзия Симонова рассказывала о сильном, мужественном характере, восхищалась им, воспевала его. Мы ясно видели, к чему стремится, что исповедует, чему хочет подражать герой Симонова, но оставалось не ясным — в какой мере его идеалы согласуются с его действительностью? Мы попытались искать ответа на этот вопрос в таких стихотворениях, как «Дорожные стихи» из книжки того же названия и в разделе «Из путевого блок-нота» в книжке «Стихи тридцать девятого года». Но стихотворения эти с их немудреной, наивной поэтизацией подвижности, легкости, дорожной свободы и беззаботности оказались так бедны содержанием, что мы не могли извлечь из них ничего сколько-нибудь для нас интересного. Поэзия командировочного быта — так можно определить всю эту группу путевых стихов Симонова; и даже юмор, к которому он прибегает в этих стихах, не может скрыть их бедности, узости и прозаичности.

Иначе обстоит дело в цикле стихотворений, озаглавленном «Соседям по юрте», — в том же сборнике «Стихи тридцать девятого года». Стихи эти представляют для нас сейчас особый интерес, ибо это, если можно так выразиться, предвоенные военные стихи. Через всю нашу поэзию конца тридцатых годов прошла полоса военной лирики, порожденной событиями на Дальнем Востоке, в Монголии, освободительными походами в Западную Украину и Белоруссию и Финской кампанией. Лучшими среди этих стихов были стихи Алексея Суркова, его «Декабрьский дневник» (Сборник «Это было на севере»), выразивший в наиболее простой и зрелой форме основной характер и направление нашей военной поэзии того времени. Это было направление по преимуществу лирическое, рисовавшее войну не в плане батальной героики, а в плане личном, со стороны ее участника, со всеми его переживаниями, впечатлениями и размышлениями, вызванными войной. Стихи Симонова из цикла «Соседям по юрте» принадлежат именно к этому направлению, и это, собственно, первое, заслуживающее внимания явление лирики в его поэзии. Симонов остается и здесь верен своей основной теме, но здесь эта тема поставлена на почву личной биографии и героя.

Стихи «Соседям по юрте» — это также своего рода дневник солдата, это военные будни, описанные глазами человека, втягивавшегося в особый, отрешенный от повседневного, привычного, быт войны. Важным и новым было прежде всего это ощущение отрешенности от жизни, которой ты жил еще совсем недавно, и которой продолжают жить все остальные люди, оставшиеся там, за границей фронта. Удивительным и новым было ощущение обыденности всего того, что происходит на войне и что вне войны казалось необычным, потрясающим и страшным.

Симонов рассказывает:

Мы влезали в окопы, пропадавшие
креозотом,
и пролитым в песок саке,

где только что наши
 кололи тех,
 и кровь не взошла еще на штыке.
 Мы напрасно искали домашнюю жалость,
 забытую нами у очага,
 мы здесь привыкали,
 что быть убитым —
 входит в обязанности врага.
 Мы сначала взяли это на веру,
 но вера вошла нам в кровь и плоть;
 мы так и писали:
 «если он не сдастся, —
 надо его заколоть!»

Так герой Симонова учился быть солдатом, усваивал не только навыки, но и психологию человека, дело которого — война.

В стихах «Соседям по юрте» ни разу не было сказано о долге, о верности, не было произнесено ни одной патетической фразы о героизме на войне. Симонов как будто хочет сказать: герой его — на войне, он солдат, следовательно, эти вещи уже не подлежат обсуждению. Героическое здесь встречалось ежедневно, было обыденным явлением.

Война — дело солдата. Это его реальность, его жизнь и, как у всякой жизни, у нее есть свои заботы, свои радости и печали.

Герой Симонова узнал и такую солдатскую заботу: тоску по дому, неотступное воспоминание о мирном, домашнем. И он не стыдится и не скрывает этой тоски. У него есть право тех, кто выполняет свой долг, кто неизменно стоит на своем тяжелом и опасном посту. Рассказывая в стихотворении «Дождь» об одной из таких мечтательных «домашних» минут на войне, Симонов говорит:

Нам нужно это ощущение, —
 Пусть малодушие, баловство,
 Но за него просить прощенья
 Не будем мы ни у кого.

Этот же мотив и в стихотворении «Деревья», в поэтическом строе, которого, как, впрочем, и во всем цикле «Соседям по юрте», можно уловить отголосок «киплагинговских солдатских баллад:

Но тот, кто давно не видел деревьев,
 не повернул головы,
 он только поглубже надвинул каску:
 — Весь день облака и ветра,
 опять эти рожи на горизонте!
 Опять бомбежки с утра.

И еще один традиционный мотив находим мы в этом цикле — тему разлуки с близкими. Исходный пункт здесь тот же, что и в других стихотворениях цикла. Война разлучает солдата с родными, он тоскует, скучает по жене, по любимой, но он воин, мужчина, и нужно принять эту тоску и разлуку, как положенное, как неизбежное.

Да, пускай улыбнется! Она через силу должна,

Чтоб запомнить лицо ее очень спокойным.
 Как охранный грамота, эта улыбка нужна

Всем, кто хочет привыкнуть к далеким дорогам и войнам.

Разлука с близкими для Симонова — это тоже испытание характера, тренировка мужества.

В одном из «Писем домой» он гордо заявляет:

Наше время еще занесут на скрижали,
 В толстых книгах напишут о людях тридцатых годов.

Удивятся тому, как легко мы от жен уезжали,
 Как легко отвыкали от дыма родных городов.

Как детские наивно звучат сейчас эти строки!

Да, герой Симонова был готов ко многому, научился многому, и, вместе с тем, как он был далек, этот молодой герой от того, что ему предстояло еще испытать и пережить! Впечатления войны, на которой он побывал, были глубоки, значительны, но они были не таковы, чтобы потрясти душу, оставив в ней свой след навсегда. Эта война была для Симонова как бы продолжением путешествия, трудным и опасным эпизодом в далеком пути. Впечатления войны и путевые впечатления здесь незаметно слились, батальная поэзия приобрела заманчивый оттенок путевой романтики. Легкий налет экзотики окрашивает весь цикл «Соседям по юрте». (Это особенно ясно в таком, например, стихотворении, как «Поездка на озеро Буир-Нур», или в заключительном, одном из лучших стихотворений цикла: «Семь километров северо-западнее Баян-Бурта»). Герой Симонова был солдатом, он узнал, как выглядит смерть на войне, он видел героев и сам мог стать героем, но он оставался еще юношей. Ему нравилась его увлекала и эта кочевая жизнь в пустыне, и мужественные, без слез, прощанья на вокзале, эти постоянные расставанья и встречи, и письма домой с намеками на опасность, которой он себя подвергает, и самая опасность, которой он же страшился, и был горд этим.

От этой юношеской романтики «далеких дорог и войн» поэзии Симонова предстояло перейти к суровому реализму и великому пафосу отечественной войны 1941 года.

5.

Поколение, к которому принадлежит Симонов, к началу Великой Отечественной войны было уже жизненно самостоятельным, участвовало уже в общественной жизни страны, определило уже свои трудовые интересы, творческие стремления, профессии. И, вместе с тем, поколение это было еще не вполне зрелым. В отличие от предшествующего, выросавшего в годы революции и гражданской войны, оно имело долгую и нормальную юность, долгую и нормальную учебу, и не имело достаточного жизненного опыта. Его гражданская биография только еще начиналась. В его жизненном опыте не было еще ни крупных событий, ни серьезных испытаний, тех, которые сразу и окончательно формируют человека, накладывая свой неизгладимый отпечаток на всю последующую жизнь. Поколение это, созрев для труда и

семьи, не созрело еще для истории. Но пришел час, когда история позвала его. Она позвала весь народ, молодых и пожилых, юных и старых, всех, кто способен носить оружие, и кто способен к труду ради родины и победы. Пришло время великой проверки для всех и время «суровой зрелости» для юных. Молодежь, которая еще недавно изучала историю своей родины по книгам, пошла на войну, которая решает судьбу родины на столетия, стала активным участником и создателем ее истории. До сих пор она отвечала лишь за себя, теперь она должна была отвечать за судьбу страны, и это чувство ответственности за историю и перед историей означает зрелость.

Вот это чувство личной ответственности перед историей, идея гражданского долга, оплачиваемого делом, а не только словом, пафос патриотического служения, идея Родины, выраженная со страстностью и убежденностью, — и составляют то новое, что находим мы в поэзии Симонова в дни войны. Прежде ко всем вопросам и явлениям жизни Симонов подходил лишь с одной стороны — с точки зрения воспитания мужества, подготовки характера. Тема эта выступала в его поэзии как идеальная, всеобъемлющая. В этом было своеобразие его поэзии, но в этом была и ее узость. Теперь тема мужества сама стала лишь одной из сторон большого, широкого содержания, которое захватила его поэзия. Эпоха ученичества, эпоха подготовки к свершению главного жизненного дела кончилась, наступила эпоха свершения. Герой Симонова, став участником Отечественной войны, дожидая главного часа своей биографии, слился своей личностью с этой войной, в ней поднялся до самой большой своей душевной высоты, до самого возвышенного гражданского момента своей жизни. И с этой минуты поэзия Симонова утратила свой специфически молодежный характер, теперь о стихах его следует говорить как о стихах, написанных молодым поэтом, но зрелым человеком.

Развитие Симонова как поэта в дни войны шло, однако, отнюдь не прямолинейно. Перечитывая сейчас стихотворения Симонова, написанные в первое время войны, и сравнивая их с предвоенными, приходишь к неожиданному и как будто не вяжущемуся со всем сказанным выше выводу. В первое время войны Симонов пишет не лучше, чем писал до войны, а хуже. Произошел как бы перерыв в развитии, линия, тянувшаяся из предвоенных стихов, оборвалась. Из прежней, облюбованной и облуманной, но ограниченной, специфической темы нужно было выйти к большим темам и вопросам, волновавшим всю страну, нужно было включиться в общую тему всей поэзии, и Симонов на первых порах потерялся со своими стихами в этом общем поэтическом хоре.

Такие стихотворения Симонова, как «Суровая годовщина», «Голос далеких сыновей», «Великое слово», «Слово моряка» ничем не выделяются из массы стихов, написанных в первые военные месяцы. Более того — среди этих стихов можно найти на ту же тему лучшие вещи, написанные с большим искусством, бо-

лее выразительные и яркие по форме, по слову. Симонов как будто вовсе утерял форму, перестал заботиться о ней, — неопределенная и бедная, она была не в силах выразить то значительное, что волновало поэта. Здесь достаточно привести один пример. Перед нами новогоднее стихотворение «Великое слово». В стихотворении этом развиты две темы. В первой его части поэт говорит об испытаниях и тяготах первого года войны и о той закалке, которую приобрели участники войны в этих испытаниях. Симонов пишет:

Все вынесших, ничто нас не согнет,
В нас мужество взлелеял походы,
В огне боев прожившим трудный год,
Нам этот год зачтется за три года.
Мы научились пламенно дружить
И слабодуше назвать изменой.
Мы научились жизнь свою ценить
И отдавать за дорогую цену.
Мы научились молча умирать —
Победы только кровью покупают,
Но если это смертью называть,
То что ж тогда бессмертием называют?

Казалось бы, здесь сказано все самое основное, тема исчерпана. По сути же дела она только названа. Поэт захотел охватить слишком много и дал несколько самых общих риторических формулировок, уместных и в другом стихотворении по тому же поводу.

Во второй части стихотворения поэт переходит к теме веры в победу:

Победа! — в дальнем Мурманске гремят...
Победа! — степь колышет под Ростовом...
Победа! — вот что нас соединит,
Всю нашу жизнь одним расскажет словом.
Как на мече, на нем соединим
Мы в дружной клятве крепнувшие руки.
Мы в эти дни навек сроднились с ним
И никогда не будем с ним в разлуке.
С победой старый год перешагнем,
С победой дальше ринемся мы в новом.
Как первым словом, год мы им начнем
И им же кончим, как последним словом!

Задача состояла здесь в том, чтобы для чувств и мыслей, общих всем, найти «необщее» в выражении, и поэт не сумел сделать этого.

В распоряжении Симонова был поэтический ресурс, который он мог широко использовать в дни войны. Это — героическая баллада, жанр, который он осваивал в своих предвоенных стихах. Вспомним его баллады на испанские сюжеты: «Рассказ о спрятанном оружии», «Рассказ о глотке воды», стихотворения «Старик», «Испанчик», «Поручик» и другие стихотворения повествовательного характера. Теперь в дни войны перед поэтом открывалось огромное множество сюжетов для стихотворных рассказов о мужестве, таких сюжетов, герои которых были ему хорошо знакомы, близки, чьи дела и подвиги были им глубоко прочувствованы.

Казалось бы, здесь мы могли ожидать от Симонова вещей, поднимающихся над средним

уровнем тех стихотворений, которыми изобилует наша поэзия в первое время войны. Но ожидания эти не оправдались. Фронтные баллады Симонова в художественном отношении—произведения мало значительные. Если в первой группе стихотворений бросалось в глаза отсутствие конкретного поэтического мотива, то в балладах мы видим обратное—отсутствие поэтического обобщения, мысли. Бедные лафосом, стихотворения эти бедны к тому же и мастерством. В стихотворениях «Секрет победы» и «Презрение к смерти» отсутствует основа баллады — сюжет. Вот что рассказано в одном из них («Секрет победы»): летчик-истребитель Николай Терехин вступил в бой с тремя вражескими бомбардировщиками. Настигнув первого, он сбил его несколькими пулеметными очередями. Два других успели уйти, беспорядочно сбросив бомбы. Терехин решил во что бы то ни стало сбить и этих, но тут выяснилось, что он расстрелял по первому самолету все патроны. Терехин решил итти на таран. Поднявшись над вторым «Юнкерсом», он обрушился на него, ударив краем крыла по хвосту. Со вторым было кончено, но нельзя было допустить, чтобы ушел третий, и Терехин с разбитым крылом догнал третьего и протаранил и его. В последний момент Терехин успел выдернуть кольцо парашюта. Мы здесь шли точно за рассказом, как он дан в балладе, а Симонов шел, повидимому, точно в своем рассказе за событием. Но событие, происходящее в жизни, не всегда выступает в форме готового художественного сюжета. Этот сюжет надо найти, открыть в событии, если хочешь дать не простое сообщение о нем, а художественное его изображение. Это следовало сделать и в данном случае. Симонов же, как и большинство авторов, которых нам приходилось читать, ограничился тем, что пересказал факты, уже известные читателю. Сказанное относится и к балладе «Презрение к смерти», не раскрывшей и малой доли того драматизма, который заключен в истории ее героя. Из трех баллад лишь одна — «Сын артиллериста» — обладает художественно продуманным сюжетом, и потому она наиболее интересна. Но и она не поднята до поэзии не только в слове, в тексте, поэтически однообразном, но прежде всего в обрисовке характеров, в образах героев.

Обнаженность действия в балладе, энергичный темп повествования не исключают, а, напротив, предполагают наглядность, картинность изображения. Но у Симонова нет и этой наглядности. Рассказ его сух, прозаичен, с ненужными подробностями в передаче самого действия и без нужных подробностей, создающих образное о нем представление. Вот один из моментов воздушного боя в описании Симонова:

Терехин пошел за первым,
Догнал его на лету,
Пристроился поудобней
К «юнкерсову» хвосту,
Всадил ему с маху очередь,
Одну и еще одну,

Чтоб черный корабль пиратов
Послать, наконец, ко дну.
Но, видно, был враг упорен,
Ко дну итти не хотел, —
Весь дымясь от пробоин,
«Юнкерс» еще летел...

Это самая заурядная проза, не требующая ни малейшего творческого усилия от ее создателя.

Во всей балладе заслуживает внимания только концовка, по-военному четко сформулированная боевая солдатская заповедь:

В чем наш секрет победы?
В том, чтоб упрямым быть,
В том, чтобы, как ни худо,
Назад ни на полшага!
И если уж думать о смерти,
То только о смерти врага,
У храбрых есть только бессмертье,
Смерти у храбрых нет.
Не хочешь смерти, будь храбрым.
Вот вам и весь секрет.

6.

Перелом в поэтическом творчестве Симонова в дни войны наступил с того момента, когда Симонов включил в поэзию свой личный опыт участника войны, стал самостоятельно разбираться в своих чувствах, мыслях и переживаниях, порожденных войной. Одним из таких сильных, цельных и самостоятельных по чувству стихотворений было стихотворение, посвященное А. Суркову, — «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». Стихотворение это чрезвычайно важно для понимания того переворота, который произвела война в душах тысяч и тысяч людей. Если бы нас спросили, в чем мысль этого стихотворения, какова его тема, в чем его пафос, какие чувства оно выражает, на все эти вопросы мы бы ответили одним словом — Родина. Да, именно так. Никогда так, как в дни войны, мы не понимали, что значит для нас это слово, что содержится для нас в этом понятии. В дни войны мы наново родились на своей земле, поняли ее в истинной ее сути, поняли, что это и наша суть, основа нашей души. Вот это наново пережитое чувство родины, как будто впервые открытое, живое, встающее во множестве то печальных и горестных, то счастливых и радостных, грустных и нежных, трагических и лиричных, но неизменно всегда дорогих сердцу образов, — вот это чувство и это понятие составляют содержание стихотворения Симонова.

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти поселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
Не знаю, как ты, а меня с деревенской,
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Не рассудком, а живым чувством понята
вдесь родина.

В этих строфах есть некрасовское, и это
неслучайно, как неслучайно то, что стихотво-
рение посвящено Суркову, поэту, который силь-
нее других почувствовал и выразил в своей
поэзии страдания народа в этой войне. Роди-
на — это народ, вот что открылось теперь
Симонову, открылось через страдание, через
боль и горе отступления. Поэт ощутил в эту
минуту острее, чем прежде, живее, чем когда
бы то ни было, связь свою с народом, с тем
великим, что носит имя России, и в этом чув-
стве был исход горю, здесь черпалось вдохно-
вение, которым проникнуты заключительные
строки стихотворения.

Нас пули с тобою пока еще милуют,
Но трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За русскую землю, где я родился.
За то, что сражаться на ней, мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

И еще одно открытие сделал Симонов и
нашел для него поэтичный, живой и удиви-
тельно верный образ. Мы говорили о сти-
хотворении «Родина». Вот в каком образе
она предстала перед ним теперь:

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,
Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изведал и узнал,
Ты вспоминаешь родину, такую,
Какой ее ты в детстве увидал.
Кусок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.
Вот, где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Как мало, не правда ли, и как бесконечно
много содержит в себе этот образ! У каждо-
го из нас есть эти «три березы», мы жили, рос-
ли рядом с ними, с равнодушием юности мы
покидали их, уезжали от них, жили в чужих
краях и городах и не подозревали, как они
много значат для нас. Родина — это земля,
где мы родились, это то коренное, почвенное,
что вошло в нашу душу прежде, чем мы на-
учились помнить себя. Мы поняли это теперь,
и об этом с живой простотой и непосредствен-
ностью говорят стихи Симонова.

Эту живую поэзию читатель почувствова-
л и в стихотворении «Майор привез мальчишку
на лафете», выделил и запомнил это сти-
хотворение из массы других, посвященных той
же теме. В стихотворении этом (в первом ва-
рианте оно названо «Воспоминание») расска-

зано лишь об одном впечатлении, но это одно
из тех впечатлений, которые делают юношей,
побывавших на войне, взрослыми.

Майор привез мальчишку на лафете,
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней,
Его везли из крепости, из Бреста,
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надежней места
Отныне в мире для ребенка нет.
Отец был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к пруди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.

Картина эта предельно лаконична. Худож-
ник, изобразивший ее на полотне, не мог бы
ничего ни убавить, ни прибавить в ней. Это
сама война, отразившая в одном, порожденном
ею образе всю глубину горя, причиненного
вражеским нашествием. Какие же чувства мог-
ла вызвать эта картина у бойца, у солдата,
наблюдавшего ее?

Вторая часть стихотворения, в которой С-
монов говорит об этих чувствах, слабее пер-
вой, она слишком многословна, расплывчата.
Но и несовершенное, стихотворение это живет
и делает свое дело, ибо, оно создано не отра-
женным свегом событий, которые видели и в
которых участвовали другие, а возникло из
пережитого, из личного опыта бойца, солдата,
знающего на деле, что такое война.

О войне можно рассказывать по-разному,
освещать ее с разных сторон, но есть вещи,
о которых может рассказать только поэзия.
Переживание самой битвы, чувство человека,
прошедшего сквозь смертный огонь, чувство
бойца в ту секунду, когда он должен отор-
ваться от земли и броситься в атаку, — нам
необходимо знать и об этом, ибо это также
опыт войны, психологический, душевный опыт,
обогащающий и воспитывающий. Симонов
правдиво и просто рассказал об этом в сти-
хотворениях «Атака» и «Пехотинец».

Казалось, чтобы оторваться,
Рук мало, — надо два крыла.
Казалось, если лечь, остаться, —
Земля бы крепостью была,
Пусть снег метет, пусть ветер гонит,
Пусть лежать здесь много дней.
Земля! На ней никто не тронет!
Лишь крепче прижмайся к ней,
Да, этим мыслям, ты им верил
Секунду с четвертью, пока
Ты сам длину им не отмерил
Длиною ротного свистка,
Когда осекся звук короткий,
Ты в тот неуловимый миг
Уже тяжелою походкой
Бежал по снегу напрямик.

Сколько громких слов о смелости слышим
мы от наших поэтов (да и у самого Симонова
есть эти слова), но вот перед нами обыкновенное,
массовое проявление этой смелости на войне, и

как убедителен в своей правдивой жизненности этот рассказ.

«Атака» и «Пехотинец» — это стихи, которые могли бы стать основой целого цикла, чрезвычайно интересного и нужного читателю. Очень жаль, что они остались лишь как отдельные зарисовки во фронтовом блок-ноте поэта.

Тема родины, так, как она дана в стихотворениях «А. Суркову», «Родина», выступила у Симонова, как тема лирическая. Но Симонов не ограничился лирической разработкой этой темы. Такое произведение Симонова, как «Убей его», показывает способность его к поэзии большого гражданского пафоса. С этого он, собственно, и начал в своих первых военных стихотворениях, но не справился, сбился на риторический стандарт и обратился к лирике, которая являлась для него, как и для многих поэтов, пишущих о войне, необходимой ступенью в овладении большой военной темой.

Стихотворение «Убей его» явилось не сразу. (Впервые оно было опубликовано на втором году войны, в августе 1942 года). Его нужно было выстрадать, пережить от первого до последнего слова. Чувства, высказанные в нем, должны были созреть, достигнуть той степени накала, когда не высказать их невозможно. Надо дать им исход, передать, внушить другому, чтобы они обожгли и его душу так же, как жгут твою. «Убей его» — одно из самых сильных стихотворений, написанных в дни войны. Влияние его на читателя было необычайно велико. Оно захватывало с первого слова, как может захватить только речь талантливого оратора, произнесенная в момент, когда за словом немедленно должно следовать дело, действие. Стихотворение это и было, собственно, речью, сказанной солдатом к солдатам. Читатель чувствовал, дело тут не только в силе выражения, нужно иметь право так говорить, как оказал Симонов:

Если немца убил твой брат,
Если немца убил сосед, —
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят,
Если немца убил твой брат, —
Это он, а не ты солдат.

Симонов не призывал, не заклинал, он сказал кратко, просто, как говорят в приказе.

Стихотворение это несколько необычно по своей структуре. Это своего рода поэтический силлогизм. Симонов доказывает, умозаключает, говорит ясно, стройно, логически последовательно, и, вместе с тем, нелегко найти в нашей поэзии другое произведение, исполненное такой целеустремленной, сосредоточенной в себе, захватившей всего человека страсти. Вот это соединение казалось бы несоединимых начал — логики и страсти, — характерное для произведений ораторских, и составляет поэтическое своеобразие стихотворения «Убей его».

Да, такая ненависть, какой продиктовано это стихотворение, может «двигать горами»,

ее хватит надолго, и для выражения ее недостаточно слов. Для нее нужны дела, только дело, действие может насытить ее. «Ненависть без дел мертва есть» — так можно выразить смысл сказанного Симоновым в этом стихотворении.

7.

В поэзии Симонова есть, однако, еще целый раздел, которого пока мы совершенно не касались. В дни войны в поэзию его прочно и глубоко вошла тема, которой прежде, в довоенном своем творчестве, он отводил второстепенную роль. Это тема любви. Почему же именно теперь, в суровое трудное время войны, тема эта приобрела такое значение в его поэзии? Помимо причин личного, биографического характера, здесь должны быть и есть причины иного порядка. Война необычайно драматизировала личную жизнь тысяч и тысяч людей, обострила, привела в состояние крайнего напряжения все наши чувства. Никогда так, как в дни войны, люди не чувствовали связь своего личного с общим ходом жизни, никогда еще личная тема не перелеталась так тесно с темой общей, общественной. Любовная лирика Симонова выросла на этой почве, и в той мере, в какой она вызвана войной и связана с войной, она представляет живой интерес для сегодняшнего читателя. С другой стороны, в поэзии этой нашел своеобразное выражение тот процесс роста, созревания, который мы проследили выше на материале стихов военных и публицистических. Война ускоряет этот процесс. Формирование характера происходит по всем линиям, все черты его обозначаются резче, определеннее, теряется юношеская мягкость, расплывчатость, но, вместе с тем, в его более четкой и определенной выразительности отражается более сложный, чем прежде, и более содержательный внутренний мир. Любовная лирика Симонова дней войны — это не юношеская поэзия. Она чужда и юношеского романтизма и сентиментальности, в которую так часто впадали наши молодые поэты в своей любовной поэзии. Это прямая, откровенная поэзия, в которой открыто выразилось и развилось то, что было заложено в данном характере. Каково же содержание этой поэзии?

Если говорить о ее специфическом личном содержании, то оно не ново. Тема лирического дневника «С тобой и без тебя» — это тема неразделенной любви.

На стороне героя здесь сильное, цельное чувство, захватившая его целиком страсть. На стороне героини — лишь внешнее, неполное и неглубокое чувство, оставляющее в душе героя глубокую неудовлетворенность. Сердце человека не может жить наполовину, безответность мучает его, и он не может не мечтать о подлинном, глубоком и безраздельном чувстве. Так рядом с поэтическим выражением страсти в дневнике Симонова чуть ли не с первых строк появляется мотив мечты о подлинном, о настоящем в любви.

И твой лениво брошенный
Взгляд, означавший искони:
Не я тобою прощенный,
Не я тобою исканный,
Я только так, обласканный
За то, что в ночь с порошено
За то, что в колод сказкою
Согрел тебя, хорошую.
И веришь ли, что странною
Мечтой себя тревожу я:
И ты не та желанная,
А только так, похожая.

Отношения между героем и героиней, как они обрисованы у Симонова, это не отношения взаимной преданности и доверия. Герой Симонова не хочет признать себя побежденным, он сопротивляется, борется за свое чувство, и минутами от озабляется, готов проклинать свою возлюбленную, он хотел бы освободиться от этого чувства, владеющего им как наваждение.

Пусть прокляну впоследствии
Твои черты лица, —
Любовь к тебе — как бедствие,
И нет ему конца,
Нет друга, нет товарища,
Чтоб среди бела дня
Из этого пожара
Мог вытащить меня.

Но при всем том герой Симонова любит. А тот, кто любит, не может не возвышать, не идеализировать свою любовь. И. Симонов делает такую попытку идеализации своей героини. В лирический дневник, в соответствии с характером героя, смелым и самостоятельным, проникает элемент полемики, защиты своей любви от общественного мнения, от «людского суда». Целая группа стихов в дневнике проходит под знаком этой полемики. Полемично уже одно из первых стихотворений цикла: «Если родилась красивой», в котором Симонов защищает свою героиню от «завистливой толпы», всегда готовой приписать красоте порок. Полемично и следующее стихотворение: «Я верно был упрямер всех». Основной мотив его — это утверждение любви-страсти, чувственной земной любви.

Симонов как будто бы ищет оправдания, реабилитации чувственной любви. Он сам создает позицию для спора, вводя моральный критерий, доказывая своему воображаемому противнику, что такая любовь честнее.

Я знал — честней девичьих снов,
Лукавых слов честней
Нас приютивший на ночь кровь,
Прямой язык страстей.

Симонов упорно держится этой позиции и в других стихотворениях цикла. Полемика продолжается и в стихотворении «Если бог нас своим могуществом», и в поэтичном, смелом по теме и образу, стихотворении «Да, я люблю тебя еще сильнее», и в подчеркнуто эротическом — «Над черным иосом нашей

сумбарины». Стихотворения эти построены все на том же противопоставлении «прешного» — «безгрешному», «земного» — «небесному».

На небе любят женщину от скуки,
и отпускают с миром, не скорбя...

Защищая свою героиню от нападок моралистов, Симонов, сам не замечая того, приходит, в конце концов, к очень бедному, не удовлетворяющему самого поэта выводу. Она честна, и с ней нескучно — вот, собственно, все, что он может сказать в оправдание своей героини. Не мало ли? Симонов и сам чувствует, что мало, и это несколько беспокоит его. Его беспокоит вообще вся проблема в целом, но он не хочет отступать, и в стихотворении «Мне хочется назвать тебя женой» сам становится в позицию нападающего. Стихотворение это (кроме заключительных строк, подлинно лиричных, серьезных и глубоких по чувству) звучит, прямым вызовом установленному, общепринятому.

Чем вызвана эта полемическая заостренность лирического дневника Симонова, этот крен в сторону чувственного в его поэзии? Ответ на эти вопросы мы находим у самого Симонова. Для этого достаточно перечитать его довоенные юношеские произведения, посвященные теме любви. Написанная в 1938 году любовная поэма «Пять страниц» и главы из поэмы «Первая любовь» удивляют полным отсутствием как раз именно того чувства, о котором они трактуют, — любви. Это сухая, рассудочная поэзия. «Пять страниц» — это рассказ о том, как остыла любовь двух молодых людей, лишь недавно поженившихся. Молодой человек, герой этой поэмы, спокойно и рассудительно анализирует причины охлаждения. От лирики здесь — лишь налет грусти, сожаления о несбывшемся. Главы из поэмы «Первая любовь» (кстати сказать, слишком многословные, растянутые, написанные в каком-то унылом тоне, без всякого поэтического воодушевления) — вариант той же темы. Это история неосуществившейся любви, которая на деле оказалась, собственно, не любовью.

Здесь женщина, с которой слишком долго
Они дружили, обманув себя,
И вдруг сошлись, не разобравшись толком,
Скорее сострадав, чем любя.

Тому, кто перечитает сейчас эти произведения, многое станет ясно в лирическом дневнике. «С тобой и без тебя» — это своеобразная реакция на прежнюю сухость и рассудочность, вызванная новыми чувствами и переживаниями. Теперь Симонов делает крен в другую сторону, и в некоторых случаях, мы сказали бы, теряет меру. Так, например, мы посоветовали бы Симонову не афишировать стихотворение «Пусть нас простят за откровенность». Раздраженный тон этих стихов (опять вызов и полемика) отнюдь не способствует художественному впечатлению, которое должны оставлять всякие стихи, какой бы теме они ни были посвящены.

Однако возвратимся к дневнику и к теме защиты героини. Мотив «людского суда», «клеветы» проходит буквально через весь цикл.

Нам чрезвычайно imponирует рыцарски благородное отношение героя Симонова к его «даме сердца». Он готов защищать ее от любых обвинений и нападок — и это похвально. Но почему так беспокоит его «людской суд»? Откуда эта настойчиво повторяющаяся тема «суда», «сплетен», «клеветы»? До сплетен и клеветы вообще не снисходят, а что касается «суда», то, если люди любят друг друга, кто же посмеет помешать их любви? Кто «осудит» у нас любовь? Нет, очевидно, дело здесь в самой любви, во внутренних отношениях героев. Они неблагополучны, в них есть трещина, та скрытая, глубокая неудовлетворенность, о которой мы говорили в самом начале. И ее-то хочет преодолеть герой Симонова.

Теперь мы ясно представляем себе отношения между героями, так, как они сложились у Симонова «до июня». Война драматизировала их, придала им новую остроту, внесла в личную, любовную коллизию такие темы и мотивы, которые придали ей более эмоциональное значение. Тема неразделенной любви превратилась в лирическом дневнике Симонова, по существу, в другую тему. Тоска по верности — так можно было бы назвать ее. Поэт раскрывает, как испытания войны очищают и облагораживают личные отношения людей.

Разлука с любимой! Полная невысказанной печали и тайных надежд минута «солдатского прощанья», — в дни войны ее пережил не только герой Симонова, ее пережили все, кто расставался со своей невестой, женой, возлюбленной. Что бы ни было прежде, но теперь, в дни войны, все стало по-иному, все изменилось:

Такой я раньше не видал
Тебя до этих слов разлуки:
«Люблю, люблю...» Ночной вокзал,
Холодные от горя руки.

И это чистое воспоминание, «вкус поцелуя на шинели», эту «боль сведенных на шею рук» — герой Симонова уносит с собой на войну. Это его реликвия, его сердечная защита. Так возникает второй раз в лирическом дневнике тема «защиты», но уже совсем в ином плане — глубоко жизненном и подлинно лиричном. Любовь и верность возлюбленной незримо защищают солдата на войне, они поддерживают его в тяжкую минуту, они увеличивают его силы, воодушевляют и подбадривают его. Верность возлюбленной хранит от пули врага — гласит солдатская примета, и Симонов в ряде стихов разрабатывает этот поэтический мотив. Это основная тема стихотворения «Я не помню сутки или десять», отлично выполненного солдатского романа.

Может, врут поверья, кто их знает,
Но в Одессе люди говорят:

Тех, кого в России вспоминают,
Пуля трижды бережет под ряд.

Этой теме посвящено и прекрасное стихотворение «Когда на выжженном плато». Образ любимой сопровождает солдата повсюду на страдном пути войны. И в этой незримой близости сердец, в этой силе чувства, углубленного и величественного во сто крат опасностью и разлукой, — глубокая правда и глубокая поэзия. Симонов понял и почувствовал эту поэзию. Прочтите стихотворение его «Я, перебрав весь год, не вижу». Оно родилось из чистого поэтического источника, и оно останется в нашей поэзии наряду с лучшими военно-публицистическими стихотворениями военных дней. Поэт вспоминает в нем о прошлом, о лучших минутах своей любви. Но эти воспоминания тускнеют перед одним недавним:

И все же не тогда, я знаю,
Ты самой близкой мне была.
Теперь я вспомнил: ночь глухая,
Обледеневшая скала...
Мы к полночи дошли и ждали.
По грудь зарытые в снегу.
Огни далекие бежали
На том, на русском берегу...
Теперь я сознаюсь в обмане:
Готовясь умереть в бою,
Я все-таки с собой в кармане
Нес фотографию твою.
Она под северным сияньем
В ту ночь казалась голубой,
Казалось, что сейчас мы встанем
И об руку пойдем с тобой.
Казалось, в том же платье белом,
Как в летний день снята была,
Ты по камням обледенелым
Со мной невидимо прошла.

Это и есть подлинная лирика войны. Но наряду с этими поэтическими трогательными, ничем не замутненными в своем лирическом звучании строфами и стихами, в лирическом дневнике то там, то здесь прорываются тревожные горькие ноты. Верность! Ее утверждает теперь Симонов, за нее борется, ее добивается. Он вглядывается в душу своего героя, — не огрubiла ли ее война? Нет, чувство его все так же неизменно и цельно. Более того, он, демонстративно отрицавший «чистоту» и «целомудрие», сам ищет теперь этой чистоты, бережет ее в своем чувстве. Вот прекрасные стихи, в которых Симонов говорит об этом:

Как-раз от горя, от того,
Что вряд ли вновь тебя увижу,
В разлуке сердца своего
Я слабодушьем не унижу.
Случайной лаской не согрет,
До смерти не простясь с тобою,
Я мных губ печальный след
Навек оставлю за собою.

Да, герой верен. Но героиня? Выдержит ли и ее любовь испытание разлуки? И вот тут-то возникает мучительное, неразрешимое протча-

воречие. Симонов должен утверждать теперь то, ратовать за то, что он только-что сам отвергал и отрицал. Герой его, став солдатом, получил теперь новое право на преданность и верность. Симонов чувствует, сознает это и заявляет об этом в своих стихах:

И я хочу, чтоб каждый день,
 Чтоб каждый час и каждый бой
 За мной ходила ты, как тень.
 Чтоб ты со мной делила хлеб,
 Делила горести до слез,
 Чтоб слепла ты, когда я слеп,
 Чтоб мерзла ты, когда я мерз,
 Чтоб страхом был твоим — мой страх,
 Чтоб гневом был твоим — мой гнев.
 Мой голос на твоих губах —
 Чтоб был, едва с моих слетев.

Не просьбой, не мольбой звучат эти строки в стихотворении «Когда на выжженном плато». Здесь со страстью и силой выказано требование а не безраздельного, верного чувства. На войне герой Симонова на собственном опыте понял то, чего прежде не понимал, или, быть может, понимал, но не хотел признаться в этом. Нет любви без взаимных внутренних обязательств и требований долга, а если есть, то это не любовь.

Тоскуя о преданности, герой Симонова не хочет все же «обрекать на верность» свою возлюбленную. Точнее сказать, не может, ибо ему ведь «не давали обещанья любить», и он прославлял и поэтизировал эти отношения. Но почему же так мучает его мысль о неверности? — А его это мучает и не может не мучить, должно мучить, ибо человек нуждается в подлинной человеческой любви, и когда он идет на войну, когда он участвует в смертном бою, он должен знать, что есть прочное, настоящее в его личной жизни. Мало сказать — «жди меня», надо быть уверенным, что тебя ждут.

Может быть, именно потому, что Симонов выстрадал свою идею верности, он сумел соз-

дать такое страстное, сильное стихотворение на тему о женской преданности воину, солдату, как «Жди меня». «Жди меня» — написано от имени героя-мужчины. Это письмо с войны, обращенное ко всем женщинам, которые ждут. Все стихотворение представляет собой расчлененку одной только этой фразы — «жди меня». Ждать — это значит быть верной своему чувству, быть терпеливой и стойкой, не отчаиваться, не терять надежды, не забывать ни на мгновение о любимом своем, верить в его силы и его мужество. Вот что значит ждать, говорит стихотворение, и в таком ожидании великая сила и великая поддержка воину.

Как я выжил, будем знать
 Только мы с тобой, —
 Просто ты умела ждать,
 Как никто другой.

«Жди меня» — вот настоящая программа любовной лирики дней войны. Недаром стихотворение это получило такое распространение, такое широкое признание в народе.

Так всеми обстоятельствами жизни героя на войне, всем своим личным, душевным, эмоциональным опытом, приобретенным в это трудное время, когда испытывалась прочность и качество всех человеческих чувств, подведен был Симонов к тому, чтобы выдвинуть и в любви высокую и благородную идею верности.

Любовная лирика Симонова не обладает цельностью. Лирический дневник «С тобой и без тебя» — противоречив. В нем борются различные тенденции и устремления. Однако это реальные, живые, противоречия и поэт говорит о них в стихах своих открыто, смело, с мужественной прямоотой. И в этой открытой, прямой постановке вопроса, в силе, страстности и целеустремленности выражаемого поэтом чувства то единство характера, которое мы наблюдали в поэзии Симонова на протяжении всего ее развития.

В. МАЯКОВСКИЙ И ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Н. КАЛИТИН



В русскую литературу Маяковский вошел прежде всего как крупнейший художник-новатор. Смелый реформатор поэтического языка, создатель новой ритмики, новых жанров, Маяковский расширил содержание поэзии, обогатил ее новыми интонациями и образами. Смелость и решительность, с которыми сокрушал он считавшиеся неизгладимыми поэтические каноны, казались многим его современникам чуть ли не вызовом всему искусству прошлого, чуть ли не отрицанием всего многовекового пути русской литературы. Сам поэт в ранний период творчества, в пылу полемического задора, разжигаемый ненавистью к миру «жирных и сытых» и к их искусству для избранных, оторванному от жизни и борьбы, позволял себе иной раз высказывания, в известной мере подтверждавшие подобные предположения. Но, конечно, ничего не могло быть более ошибочного, как попытки противопоставить поэзию Маяковского творчеству его великих предшественников, рассматривать его новаторство, как отрицание веками складывавшихся традиций русской литературы. Творческий путь Маяковского «служит, напротив, ярким образцом глубокого и вдумчивого постижения богатейшего опыта русской литературы, верности лучшим ее заветам, самому духу русской культуры, русского искусства, ибо путь русской литературы всегда был отмечен смелыми дерзаниями, борьбой с застывшими догмами и формами.

Не те ли самые упреки, которые сыпались на автора «Ничего не понимают» и «Облака в штанах», обращались по адресу Державина, позднее преследовали Карамзина, обрушивались на Пушкина? Разве меньшую, чем Маяковский, реформу стихосложения осуществил Ломоносов, разве меньшим новаторством отмечено все творчество Пушкина? Вспомним, как ополчались на Некрасова представители эстетической критики за введение в поэзию «низижних» тем, за «опрошение» поэтического языка. А чеховская и горьковская драматургия, а поэтика символистов — ведь все это в свое время было предметом не менее горячих споров и рассуждений об

отрицании традиций, чем первые литературные выступления Маяковского, вокруг которых было поднято столько шума.

Но как Пушкину и Некрасову, как Чехову, Горькому и Блоку их новаторство не мешало оставаться верными самому духу русской литературы, точно так же и Маяковский был убежденным последователем и хранителем лучших ее традиций, и в его творчестве они нашли яркое воплощение.

Отличительным признаком русской литературы всегда была глубина патриотического чувства, горячая вера в Россию, в народные силы. От гениального «Слова о полку Игореве», этого страстного призыва к объединению Руси для борьбы с врагом, от народных былин и героических песен и повестей до пушкинской «Полтавы» и «Медного всадника», до бессмертной эпопеи Толстого и лучших произведений советской литературы, легко проследить эту традицию в творчестве всех русских писателей и поэтов.

Патриотическая тема в русской литературе раскрывалась не только в лирических признаниях и образах, рожденных горячей привязанностью писателя к своей земле, ко всему родному, русскому, к природе, языку, народным обычаям и песням, к родной истории, — но и в многочисленных раздумьях о судьбах России, о ее исторических путях, ее будущем.

И эти раздумья, порой мучительные и противоречивые, всегда были согреты горячей уверенностью в торжестве свободы и правды, верой в свой народ. «Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатью, когда есть место, где развернуться и пройти ему?» — восклицал Гоголь в своей гениальной поэме.

Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную.
Вынесет все, что господь ни пошлет.
Вынесет все, и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе. —

писал Некрасов в «Железной дороге» — и миллионы русских людей повторяли эти строки.

«Товарищ, верь, — взойдет она — звезда планетельного счастья», — эти слова Пушкина могли бы быть поставлены эпиграфом и творчеству подавляющего большинства русских писателей и поэтов, хранивших в душе ту же святую веру.

В поэзии Маяковского патриотическая традиция русской литературы находит яркое и сильное выражение. Патриотическая тема занимает в его творчестве основное, определяющее место. Непосредственно этой теме посвящены десятки его стихотворений, лучшие страницы поэм; этой темой вдохновлено наиболее глубокое творение Маяковского, поэма «Хорошо!», произведение, которое он сам называл программным.

До революции патриотическое чувство мучительной болью отзывалось в сердце поэта. Он видел любимую страну изнывающей под игом самодержавия, он с гневом писал о тысячах могил, «которыми «Россию выгорбил мохарх», о страданиях «народных тысяч», муках «безъязыкой улицы», которой «нечем кричать и разговаривать». Переключаясь с лучшими строками Некрасова, великого певца «мести и печали», Маяковский уже после революции, в поэме «Владимир Ильич Ленин» дал исключительное по силе и глубине лирического чувства изображение старой России, скованной цепями рабства и нищеты. Но так же, как и его великие предшественники и его великий современник Горький, Маяковский непоколебимо верил в неизбежное наступление дня свободы, рисовал в своих мечтах то время, когда «Россия сердце свое раскроет в пламенном гимне». Он называл себя предтечей грядущего дня освобождения, с неподдельной искренностью и силой говорил о своей готовности отдать народу все горение сердца:

А я у вас — его предтеча,
я — где боль, везде,
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте.

По-инному звучал голос Маяковского-патриота после революции. Это был гордый гимн новой жизни, славословие прекрасной страны и ее народа, полного творческих сил и дерзаний. Влюбленный в бесконечную ширь родной земли, в ее народ и культуру, в ее язык и песни, поэт впервые смог говорить о родине не с чувством боли и гнева, а радостным, полным голосом. И как ни пытается он порой за внешним подтруниванием над самим собой, над собственной «сентиментальностью» скрыть лирическое чувство, оно окрашивает любое из его обращений к родной природе, к родному прошлому, к людям своей страны. Он любит-ся и не может налюбоваться ее просторами, разметнувшимися «от Тавриза до Архангельска», ее бесконечной ширию, которую «не вымчать и перу». Его одинаково пленяет и «сто-летняя зелень зигзагов Кремля» в старинном приволжском городе, и «серебряный Дон»,

сверкающий серебристой лентой в «хлебной охре» богатых южных степей, и русский лес в чудесном зимнем уборе («Лапы елок, лапки, лапушки. Все в снегу, а теплые какки»). «Даже чуть зарусофильствовал от этой шири» — восклицает он в одном из стихотворений, и сквозь внешнюю иронию этого признания пробивается горячее чувство любви и гордости.

В русской поэзии есть мотив, в котором с особенной силой раскрывается тема родины, тема России. Это тоска по родной земле, властно охватывающая русского человека на чужбине.

«Русь! Русь! Вижу тебя из моего чудного прекрасного далека, тебя вижу.. Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая тайная сила влечет к тебе?» Это едва ли не самое сильное и волнующее во всей нашей литературе гоголевское обращение к родной земле родилось вдали от ее городов и полей, в разлуке с ней. Вдали от родины рождались и страстные признания Некрасова, проникновенные страницы тургеневских повестей и романов, обращенные к России, горячие высказывания Герцена, Огарева. И в наши дни в стихах Маяковского с новой силой прозвучал этот мотив, новыми интонациями и переживаниями обогатилась знакомая тема. Как много силы и чувства вложено поэтом в заключительные строки его «Прощания». «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва!» Какой страстной привязанностью ко всему родному, русскому дышит от первой до последней строки его «Еду»!

Засвистывай,

трись,
врезайся и режь
сквозь Льежи

и об Брюссели.

Но нож

и Париж,

и Брюссель,

и Льеж

тому,

кто, как я, обрусели.

Сейчас бы

в сани

с ногами —

в снегу,

как в газетном листе б..

Свисти,

занося снегами

меня,

прихерсонская степь..

— Вечер,

поле,

огоньки,

дальняя дорога,

сердце рвется от тоски,

а в пруди

тревога.

Патриотическая тема в творчестве писателей прошлого неизбежно включала в себя и борьбу с теми силами, которые сковывали народ. Любовь и веру русская литература проповедывала «враждебным словом отрицания». Социалистический реализм, под знаком которого

развивается советская литература, принес на смену горькой правде отрицания торжественную и радостную правду утверждения новой жизни, новых человеческих отношений, расцветающих в молодой советской России. Именно поэтому, то ощущение исторических перспектив, та устремленность вперед, которые всегда были одним из отличительных признаков русской литературы, в творчестве советских писателей выражены с большой силой. И в первую очередь это относится к поэзии Маяковского.

Маяковский не устал говорить о том, как «прекрасна и удивительна» жизнь его цветущей родины, какое счастье иметь право сказать: «я — гражданин Советского Союза». Его не пугала огромность задач, серьезность тех трудностей, которые предстояло преодолеть народу в борьбе за восстановление разрушенного войной хозяйства, за создание новых городов, новой промышленности, новой культуры. «День наш тем и хорош, что труден», — убежденно заявлял Маяковский и, прославляя этот день, воспеывая упорством и энергией советских людей, он с еще большим воодушевлением говорил о завтрашнем дне, во имя которого идет борьба сегодня, о сияющих даях будущего, свет которого уже озарял жизнь его современников.

Восторгаясь просторами своей земли, ее буйным выветрением и мощью, поэт в то же время пристально смотрит вперед в еще более чудесное будущее:

Отечество
 славлю,
 которое есть,
 но трижды, —
 которое будет, —
 восторженно восклицает он, уже воочию видя, как «планы, что раньше на станциях лбов задерживал нищенства тормоз, сегодня встают из дня голубого, железом и камнем формьясь».

Маяковский был непоколебимо убежден, что его народ справится со всеми опасностями, преодолеет все преграды, стоящие на его пути:

Я знаю —
 город
 будет,
 я знаю —
 саду
 цвeсть,
 когда
 такие люди
 в стране
 в советской
 есть!

Признаваясь, как дорого его сердцу патриота «планов наших промадь», как пленяют его «размаха шаги саженьи», Маяковский был непоколебимо убежден в осуществимости этих планов, ни на минуту не сомневался в могучей всепреодолевающей силе русского размаха и, любовно ободряя свою молодую республику, мчащуюся «вперед паровозом труда», не устал звать ее к новым дерзаниям, к новым победам.

В его стихах приобретает новые очертания образ Родины-матери, образ России, прекрасной женщины, украшающий русскую поэзию. Преданная любовь к отчизне соединяется у Маяковского с мужественной заботой о ней, с отеческой лаской и нежностью. Во всем обаянии прекрасной и сильной юности встает в его произведениях цветущая советская страна, неудержимо стремящаяся вперед. «Другим странам по сто. История частью гроба, а моя страна — подросток, твори, выдумывай, пробуй!» — восклицает поэт, любясь своей молодой, цветущей землей.

Радостное ощущение непрестанного движения вперед, грандиозности и величия перспектив заставляло поэта с особенной настойчивостью говорить о необходимости защищать наше сегодня и наше завтра от любого врага, быть готовыми «встать, штыки оцетинивши, с первым приказом: «Вперед!»

И всю силу своего гнева, все пламя страсти обрушивал он на тех, кто пытался посягнуть на наше молодое и светлое счастье, на юность и цветенье нашей отчизны, — языком пожаров, словами пуль и оспротами штыков призывал он разговаривать с врагами.

Великие русские писатели всегда гордились той освободительной ролью, которую играл русский народ в судьбах Европы, всегда были убеждены в дальнейшей еще более величественной и почетной роли России в истории человечества.

..... в бездну повалили
 Мы тяготеющий над царствами кумир
 И нашей кровью искупили
 Европы вольность, честь и мир, —

писал Пушкин об историческом подвиге России в 1812 году. «Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году — стоящую во главе образованного мира, дающего законы и науке, и искусству, и принимающего благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества.» — восклицал Белинский больше ста лет тому назад. Эта мысль о России, как светоче культуры и прогресса, как олицетворении всего передового и прекрасного, была бесконечно близка Маяковскому. Лучшие строки его, обращенные к отчизне, проникнуты чувством национальной гордости, отчетливым сознанием ведущей роли России в дальнейшей истории мира

И я,
 как весну человечества,
 рожденную
 в трудах и в бою,

пою
 мое отечество,
 республику мою! —
 писал Маяковский в «Хорошо!». И в дни Великой Отечественной войны с кровавым фашизмом, пытающимся свергнуть весь мир в страшную мглу средневековья, нас особенно волнуют эти слова поэта, нам особенно близок этот образ России — весны человечества, раз-

гоняющей яркими лучами тюремный мрак, которым окутали фашистские палачи жизнь миллионов людей. В этих строках поэт сказал, как уже о живой и прекрасной реальности, о том самом, что в пророческих словах Белинского звучало страстной, убежденной, но тогда еще далекой мечтой.



Лев Толстой писал когда-то, что главным героем его произведений является правда. Это герой, говорил великий писатель, «которого я люблю всеми силами души, которого стараюсь воспродублировать во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен».

Принцип жизненной и художественной правды был отличительным признаком творчества русских писателей. И когда мы говорим о русской литературе, как искусстве высокой правды, то речь идет не только о ее реализме в собственном смысле слова, но только о той способности ее «потрясать души верным изображением жизни», о которой с восхищением говорил Белинский. Для всей русской литературы, от ее истоков до наших дней, характерно благородное стремление к высшей человеческой правде, и именно верность этому стремлению делала творчество наших писателей молучей общественной, революционной силой. На знамени русской литературы всегда было начертано великое слово «гуманизм», она всегда звала к борьбе и подвигу во имя высоких общечеловеческих целей, прославляла облагораживающую силу труда, бичевала пассивность, узкий индивидуализм. Обличая и отрицая все темное, античеловеческое, рабское и грубое, русские писатели утверждали любовь к человеку, достоинство личности, конечное торжество разума и свободы над мраком и деспотизмом. Даже самый высокий моральный уровень героя еще не решал вопроса о положительном отношении к нему автора и читателя, если этим моральным качествам не соответствовали столь же высокие гражданские черты, если герой не был социально полноценным человеком. Вспомним пушкинского Дубровского и лермонтовского Вадима, вспомним Гришу Добросклонова из Некрасовской поэмы или «новых людей» Чернышевского, в которых так пленяет высокое сознание общественного долга, ответственности в борьбе за счастье человечества. Требование «действенного добра» определяет поведение любимых героев Тургенева, гуманистическим началом проникнуто все творчество Толстого и Достоевского, в творческом труде и служении людям рисуетя человек будущего Чехову. В чудесном образе Данко с огромной силой воплотил великий писатель-гуманист А. М. Горький идею служения человечеству, борьбы за его счастье, и этой идее оставался он верен на всем протяжении своего творческого пути.

Возвышенные традиции жизненной и художественной правды, активного гуманизма, моральной чистоты и социальной устремленности, характерные для творчества русских пи-

сателей, полностью восприняты Маяковским. Так же, как и Горький, Маяковский выступил как представитель угнетенных масс, как хода-тай за толпы «народных тысяч». От лица «го-лодных, потных и покорных» бросал он свои проклятия в лицо угнетателям, и, подобно горьковскому Данко, лирический герой его поэмы готов был отдать народу свое сердце:

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю, —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая!
и окровавленную дам, как земля.

Трудно, пожалуй, назвать другого поэта, в творчестве которого с такой же силой, как у раннего Маяковского, звучал мотив страстной тоски по человечности, по настоящим людям

Слушайте ж:
все, чем владеет моя душа,
а ее богатства пойдите смерьте ей! —
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,
коленипреклоненных соберет мировое вече. —
все это — хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.

Маяковский давно мечтал о прекрасном и сильном человеке, о полноценной личности, о «невиданной душе». В лирических признаниях ранних «тихотворений», в поэмах «Облако в штанах», «Война и мир» он говорил о пленительных чертах этого человека, о «золотых россыпях» человеческих душ, которые еще скрыты под трявью и копотью, но уже скоро засверкают светом, затмевающим солнце. Он непоколебимо верил, что уже недалеко то время, когда «люди родятся, настоящие люди, бога самого милосердней и лучше» и, заканчивая свою поэму о войне картиной светлого мира, шоаарившегося на земле, убежденно восклицал:

И он
свободный,
ору о ком я,
человек —
придет он,
верьте мне,
верьте!

Настойчивым стремлением увидеть черты «настоящего человека» воплощенными в людях Советской страны, проникнуто все послереволюционное творчество Маяковского. Так же, как и великие писатели прошлого, беспощадно обличавшие пошлость и низость, грязь и ложь, Маяковский обрушивался в своих произведе-

ниях на все темное и грубое в быту и в сознании людей, безжалостно изобличал человеческую «дрянь» и «дряццо», звал к чистоте и осмысленности человеческих отношений. Лирический герой его стихов и поэм пленяет своей силой жизнеутверждения, серьезностью отношений к миру и людям.

В лучших поэмах и пьесах, в десятках стихотворений Маяковский не уставал бичевать узкий эгоизм, стремление уйти от общего дела и борьбы в гущу тихих мещанских «роздыхов, под цветочки, на реку». Идеалом его были люди, готовые «сердце отдать временам на разрыв», люди, верные высокому долгу служения своей стране и ее народу, верные прекрасным гуманистическим принципам. Именно эти черты воспевает Маяковский в поэмах «Хорошо!», «Владимир Ильич Ленин», в таких стихотворениях, как «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» и др. И говоря о тех людях, которые в полной мере вкусят «сладость огромных ягод», созревающих на цветах, возвращаемых сегодня, поэт рисовал их отношения, их моральный облик как идеал высокой человечности, как воплощение высоких принципов свободы, равенства, нравственной чистоты и силы:

Чтобы не было любви — служанки
замужеств,
похоти,
хлебов,
Постели прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,
который горем старящ,
не христардничать, моля.
Чтоб вся
на первый крик:
товарищ! —
оборачивалась земля.
Чтоб жить
не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
в родне
отныне
стать
отец,
по крайней мере, миром,
землей, по крайней мере, — мать.

В этих строках, так же как и в десятках других, лучший талантливый поэт нашей эпохи перекликается с наиболее яркими высказываниями великих писателей России, обращенными к будущему, к «новым людям», к новым человеческим отношениям, за торжество которых неустанно боролась и борется русская литература.



Огромная воспитательная роль литературы, могучая сила художественного слова всегда отчетливо сознавалась нашими писателями. От Державина и Пушкина, до Горького и

Маяковского, лучшие писатели и поэты русского народа не устали всеми доступными им средствами утверждать и проповедывать активную, действенную роль литературы, бороться за ее высокую идейность, требовать от писателя самоотверженного служения народу.

Высокий пафос общественного служения, граничавший порою с прямою жертвенностью, активное участие литературы в общественной и политической жизни страны, глубина и сила гражданских чувств, — все это позволяет говорить об активнейшей роли русской литературы в борьбе за освобождение народных масс, за наиболее полное развитие всех возможностей и сил народа. Образом поэта-трибуна, поэта-глашатая вдохновлены строки таких шедевров русской поэзии, как «Пророк» Пушкина и «Пророк» Лермонтова;

Будь гражданин! Служа искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей любви, —

обращался к поэту Некрасов, и эта высота гражданского сознания, это ощущение ответственности перед народом, перед родиной характерны для лирического героя Некрасова в такой же степени, как и для героев других русских поэтов и писателей.

Поэзия Маяковского является одним из наиболее высоких образцов этой гражданственности, этого пафоса общественного служения. Яркой печатью жертвенности отмечено все его раннее творчество, в особенности такие произведения, как трагедия «Владимир Маяковский» и поэма «Война и мир». всю свою звонкую силу поэт отдал Маяковский атакующему классу, и каждая строка, написанная им, служила народному делу, вала к бою и труду, воспитывала, зажигала, Маяковский является продолжателем гражданской, политической лирики Рылеева, Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Даже самые личные, самые интимные высказывания приобретали в стихах Маяковского глубокий социальный смысл, а любое стихотворение, посвященное социальной тематике, дышало горячим чувством человека, говорящего о самом близком и дорогом. Напомним хотя бы решение любовной темы в его стихах и поэмах: горячие признания «Облака» и «Человека», заключительные строки «Про это», взволнованную исповедь стихотворения «Домой» («Я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви») или, с другой стороны, проникновенный лиризм самых, на первый взгляд, эпических страниц его «Хорошо!» или поэмы о Ленине.

Продолжая лучшие традиции гражданской поэзии, Маяковский утверждал и укреплял их не только содержанием своего творчества, но и многочисленными поэтическими и публицистическими выступлениями, в которых непосредственно формулировал свое кредо поэта-трибуна, поэта-гражданина. Борьба за правдивое, высокоидейное искусство определила содержание таких значительных произведений Маяковского, как вступле-

ение к поэме «Во весь голос», «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», не говоря уже о десятках других стихотворений, лирических отступлений в поэмах, высказываниях на диспутах и т. д.

Маяковский умел ценить огромную силу художественного слова, которое он называл «полководцем человеческой силы». Это ему принадлежат ставшие крылатыми слова «песня и стих — это бомба и знамя». И тем настойчивее звучало всегда его требование и к себе, и к товарищам по поэтическому оружию — подчинять творчество единой великой цели, за которую боролся народ. Он решительно утверждал роль поэта, как «водителя и одновременно слуги» народа, как учителя жизни, приоткрывающего зивесу над будущим, зовущего массы вперед.

У нас
поэт
описет
а надо
рваться
в завтра,
чтоб брюки
трещали
в шагу, —

событья берет —
вчерашний гул,
из канареек,
чижик вы, мусье,
и дрозд.

птица
в человечесий рост.
Вы, мусье,
из канареек,
чижик вы, мусье,
и дрозд.

писал Маяковский, привлекая наиболее ошугимый, конкретный образ для передачи своей мысли. И разве в этом плане не переждкается он снова с Пушкиным, Лермонтовым и Некрасовым, Чеховым и Горьким, чье творчество было именно таким устремлением вперед, разве не звучат эти призывы, как продолжение мыслей Белинского и Чернышевского о роли искусства в развитии общества? В борьбе с отвлеченным эстетизмом, с «чистым искусством», которая играла такую большую роль в развитии русской литературы, Маяковскому принадлежит одно из самых почетных мест.

Столь сильно было для Маяковского сознание своей ответственности перед народом, столь велико значение, которое придавал он искусству, как «прозному оружию», что для него никаких сомнений не вызывал ответ на вопрос, может ли поэт «стать на горло собственной песне», если она уводит его в сторону от основной задачи искусства — «вырвать радость у грядущих дней». В этом добровольном подчинении своего творчества общечеловеческим целям для него не было ничего искусственного.

Маяковский горячо ополчался на всех «чирликающих» и «пилликающих», кто в кругу узеньких тем, воспеая «барышню и любовь, и цветочки под росами», забывал о высоком назначении поэта.

«Быть поэтом теперь — значит, мыслить поэтически, а не щебетать по-птичь мелодическими звуками. Чтоб быть поэтом, нужны не презы праздношатающей фантазии, не выписные чувства, не нарядная печаль: нужно могучее сочувствие с вопросами современной действительности. Поэзия, которой

корни находятся в прихотях, скорбях или радостях самолюбивой личности, носящейся, как журица с яйцом, с своими прекрасными чувствами, до которых никому нет дела, такая поэзия вместо внимания заслуживает презрения».

Эти слова принадлежат Белинскому. Но разве не те же самые требования предъявлял к поэзии Маяковский, разве не теми же эпитетами («птичий», «праздношатающийся», «чувства, до которых никому нет дела») клеймил он творчество «кудреватых Мудреек» и «мудреватых Кудреек», оторванное от жизни, уводящее в сторону от борьбы? «Бросьте вы поэта корчить». — заявлял он в одном из своих стихотворений, обращаясь к «златошерстому барашку», гордому своей «связью с музами»:

Вы,
над облаками рея,
птица
в человечесий рост.
Вы, мусье,
из канареек,
чижик вы, мусье,
и дрозд.

И говоря о подобных представителях «болоночьей лирики», он прямо заявлял, что «на их лирический вздор смешно смотреть, настолько этим занимается легко и никому кроме супруги неинтересно».

Поэзию Маяковский рассматривал прежде всего, как большой и почетный труд и так же, как и крупнейшие поэты прошлого, с негодованием говорил о тех, кто считал возможным заниматься ею между прочим, кто видел в ней простую забаву, развлечение.

И именно потому, что все свое творчество, «до самого последнего листка», Маяковский отдавал народу, не существовало для него, как и для его великих собратьев по искусству, большей радости, чем «быть понятым родной страной», быть нужным ей, чувствовать себя «заводом, вырабатывающим счастье»; не было для него более дорогой награды, чем народное признание, и мечтой его было, «чтоб сверхставками спеца получало любвищу сердце». И когда, ставя знак равенства между поэтическим и любым другим трудом, Маяковский требовал, чтобы работа поэта «планировалась» и осуществлялась по заданиям «завкома», — то не о снижении роли поэзии говорил он, а об оценке ее в соответствии с критерием, самым высоким для человека нашей эпохи.

Пушкин в «Евгении Онегине», в стихотворении «Вновь я посетил», в «Памятнике» с глубокой проникновенностью и светлым чувством говорил о будущих поколениях. Он питал сладкую надежду, что они с признательностью вспомнят поэта, который «чувства добрые лирой пробуждал», славил свободу в жестокий век насилия и произвола. Подобно Пушкину, Маяковский в своем поэтическом завещании, во вступлении к поэме «Во весь голос», обращаясь к потомкам, напоминал о том труде и напряжении, в которых выковывалось счастливое будущее человечества, и, протягивая им руки через века, заявлял о великом счастье

поэта сознавать, что он тоже боролся за это будущее, что его стих войдет в него «весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима».

Выводы

Творчество крупнейших русских писателей всегда было глубоко народным. Верное зеркало русской жизни, русской души, наша литература отражала самые заветные, сокровенные мечты и чаяния народных масс. Обращаясь к массам, литература выступала от их имени. Белинский и Добролюбов всегда подчеркивали, что подлинная народность произведения искусства заключается не во внешнем воспроизведении подробностей народного быта, не в копировании деталей и подлаживании под простонародный говор, а в верности писателя самому духу народной жизни, в умении глядеть на мир «глазами своей национальной стихии, глазами всего народа» (Белинский).

Печатью подлинной народности, демократизма отмечено и все творчество Маяковского.

Нет тем высоких и низких, есть темы нужные и ненужные, — любил говорить он; настоящий революционный поэт, — утверждал он, — пишет не только о революции, но для революции, — и верность Маяковского этим принципам сообщала каждой написанной им строке ту злободневность и действенность, которые ярко свидетельствовали об умении поэта отразить важное и насущное в жизни его страны, проникнуться чувствами, мыслями и стремлениями народных масс. В первую очередь к этим массам, к миллионам обращался Маяковский со своими произведениями. И по содержанию, и по интонационному строю, и по форме они, как известно, рассчитаны на широкую аудиторию, на чтение с эстрады, с трибуны; ораторско-декламационное начало пронизывает подавляющее большинство их. Но ни стремление быть верным выразителем мыслей и чувств народа, ни огромность и малая поэтическая искушенность аудитории, которой адресовались его стихи, ничто не заставляло Маяковского снижать уровень требований к поэзии, приравнивать ее ко вкусам и требованиям так называемого среднего читателя, — и в этом еще одна из иллюстраций его верности лучшим традициям русского искусства. Народность поэзии Маяковского никогда не оборачивалась дешевой простонародностью, демократизм ее отнюдь не означал подлаживания поэта под мешанские вкусы. Отвечая на упреки в непонятности его стихов народным массам, поэт утверждал, что поэзия — это не легкое развлечение, что усилия, потраченные на понимание «неясного», всегда окупаются сторицею, если речь идет о подлинно поэтическом произведении. «Наша задача не в опрошении, а в охвате всей сложной культуры», — говорил он, и все его творчество было яркой иллюстрацией этой мысли.

Характерно, что при всем своеобразии рит-

мической и синтаксической структуры стиха, при всей новизне лексики, смелости метафор, поэзия Маяковского, также как и поэзия Пушкина, Лермонтова, Некрасова, всеми корнями уходила в глубины народного творчества, черпала из него и образы, и сравнения, и ритмический рисунок. Как часто и как охотно обращается он к народной песне, частушке, поговорке, речитативу, как много в его стихах подлинно народных оборотов речи, фольклорных образов. Десятки обращений к народной песне встречаем мы в поэмах «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!»; редкое стихотворение Маяковского обходится без сочного каламбура, без меткого словца, подслушанного в народе и умело включенного в поэтическую ткань произведения.

Великолепный знаток народной лексики, тонкий ценитель и ревнитель «речи точной и нагой», Маяковский всегда боролся за чистоту русского языка. Свой народ он с гордостью называл языктворцем, и его собственное новаторство в области лексики всегда исходило не из произвольных побуждений, а шло «сообразно общим законам рождения слов».

«Товарищи юноши, взгляд на Москву, на русский держите уши», — восклицал поэт в стихотворении «Нашему юношеству», и вся его работа над стихом всегда протекала под лозунгом «сделать язык русским». Не потому ли так много теряют стихи Маяковского в переводах, что даже самый квалифицированный переводчик не в состоянии передать всё своеобразие, все нюансы поэтической речи Маяковского, построенной на широчайшем использовании особенностей русского языка, на непереводаемых каламбурах и остротах, звучащих только по-русски.

Маяковскому была исключительно близка и дорога мысль о тесной связи этапов русской культуры, об исторической преемственности в общественном и культурном развитии его страны. «Как живой с живыми», говорил он со своими великими предшественниками, Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым, как живой к живым обращался он и к потомкам. В великих людях прошлого Маяковский всегда видел своих современников. «Я люблю вас, но живого, а не мумию», — восклицал он, обращаясь к Пушкину, и в творчестве гениального поэта, как и других крупнейших русских художников слова, он умел находить и ценить непреходящую свежесть и силу, пленяющие сегодня так же, как и сто лет назад.

К Маяковскому полностью применимы слова Гете: «Тот, кто верен своему времени, легче других добивается бессмертия». Поэт, чье творчество самым тесным образом определялось событиями сегодняшнего дня, был связан теснейшими нитями и с прошлым, и в особенности с будущим, ибо в сегодняшнем дне Маяковский с одинаковой силой ощущал и великое дыхание прошлого, подготовившего этот день, и прекрасные очертания будущего, «прораставшего» на глазах поэта.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О МАЯКОВСКОМ

Н. ВЕНГРОВ



I

В литературном, артистическом подвальчике «Бродячая собака» двадцать пятого февраля 1915 года Маяковский читал стихи о пьяном разгуле в тылу. В шумном скандале, поднятом шумящей и пьющей публикой, раздавался спокойный голос Горького. Он сказал несколько слов о футуристах.

Широкая молва, пресса и сами футуристы, сохранили из этой маленькой речи Горького лишь несколько слов. Футуристы по-своему использовали это известное выступление Алексея Максимовича, где впервые публично он заявил о своем отношении к Маяковскому.

На углу Кронверкского у квартиры А. М. Горького, на круглой тумбе еще висела большая афиша вечера футуристов, с супрематическим рисунком художника К. Малевича: огромный черный круг, подчеркнутый черной жирной полосой.

— Трамвай, проходя, будут морды на афишу заворачивать, — объяснил художник.

Сверху кричал эпиграф, крупно, во весь голос: «В них что-то есть. М. Горький».

— Экие озорники — курьезны дети! — с добродушной укоризной покачал головой Алексей Максимович, показывая мне на афишу. Я передал ему приглашение приехать к моей приятельнице, художнице Любовиной, у которой он уже бывал со мной. Там Маяковский должен был читать по рукописи новую свою вещь — «Флейта-позвоночник».

— Приеду, — коротко согласился Алексей Максимович.

В мастерской художницы собралось много народа. Маяковский приехал с Бриками и Виктором Шкловским, М. Матюшкин, футурист-композитор, приехал с Екатериной Низен и доктором-футуристом Н. Кульбиным. Эстетствующий философ Виктор Ховин, молодые поэты Рюрик Ивнев и А. Толмачев, пианистка Ирина Миклашевская, танцовщица Доринская, — собирались друзья и почитатели поэта. Горький приехал с А. Н. Тихоновым.

У большого, во всю стену, окна мастерской стоял Владимир Маяковский, с неизменной па-

пиросой в углу рта. Он мял в руках сверток рукописи, видимо, волнуясь. В углу, облокотясь на роуль, склонился Алексей Максимович, в длинном черном сюртуке, стриженный ежиком.

Маяковский начал с высокой ноты:

«Милостивые государи и милостивые государины!»

Стихам он хотел предпослать небольшое слово о футуризме. Густой голос его сразу наполнил комнату, и в просторной мастерской стало тесно.

Маяковский правильно говорил о своих вещах: «Они, — как автомобиль в гостиной!»

И вдруг, после первой фразы, Маяковский смолк. Прошла томительная пауза. Поэт пытался начать заново. И опять смолк. Пауза повторилась.

— Не могу! — сказал Маяковский и отвернулся к окну.

Выводя поэта и своих гостей из неловкого положения, хозяйка жестом пригласила в соседнюю комнату к чаю. Маяковский что-то чертил ногтем по инею на стекле. Дружески обняв его, Любовина в чем-то тихо убеждала Маяковского.

— У него на глазах слезы, — изумленно прошептала она мне, проходя мимо.

После чая, в мастерской, Маяковский кратко и выразительно объяснил:

— Привык, когда гнилые яблоки и бутылки летят на эстраду, а тут читаешь, как в теплую вату. Нету сопротивления.

И он начал чтение поэмы. На этот раз он дочитал ее до конца с тем высоким трагическим пафосом, который отличает его первые вещи. Образы его, напряженные строки и отдельные слова, забытые накрепко в концах интонационных периодов, ошеломляли. Потрясал пафос человечности поэмы «в эти дни зверства и торжествующего скотства». Так писал Алексей Максимович об этом времени в письме своем к Ромен Роллану.

Говорили о поэме взволнованно, как говорят о настоящем в искусстве. Маяковский стоял, опираясь на переплет заиндевевшего окна.

— Здрóво, — тихо сказал Алексей Максимович, — сильнó.

И как-то бчком подойдя к Маяковскому, пожал ему руку. Вскоре он уехал.

Через несколько дней Алексей Максимович говорил:

— Буян, а талантлив-то как, молод как! И робок, совсем как девушка. Все его дерзость от неуверенности в себе. Настоящий он. Большой поэт.

В личной библиотеке Алексея Максимовича хранится первое издание «Флейты-позвоночника». Рукой поэта на титульном листе написано: «Алексею Максимовичу — с нежной любовью — Маяковский».

Вычеркнутые цензурой строки поэмы любовно вписаны в этот экземпляр одним из его друзей.

...«Облако в штанах». Рассказывали, что окололитературные дамы стеснялись произносить вслух при приказчике название этой гремевшей по литературному Петербургу оранжевой книжечки, сплошь покрытой точками цензуры.

Алексей Максимович прочел мою рецензию о поэме Маяковского, написанную для «Летописи».

Недавно один из исследователей высказал предположение, что Алексей Максимович, знакомясь с рецензией, вероятно, ослабил в ней места, где говорилось о нарочитости и надуманности отдельных строк вэци Маяковского.

Я могу заверить исследователя в обратном: Алексей Максимович давал указания, чтобы обязательно были отмечены недостатки в отдельных строках и строфах поэмы Маяковского.

— Происходят они от молодого буйства и озорства, от крикливости, — так говорил тогда Алексей Максимович.

Положительный отзыв в «Летописи» о поэме Маяковского, выступавшего тогда в буйных рядах футуристов, был фактом большого принципиального значения. В редакции шли споры.

В секретариате над столом склонился Алексей Максимович. В руках у него были гранки рецензии. Рядом стоял Суханов. Он возражал против ее публикации, тихо, но твердо говорил о неуместной хвале футуризму на страницах «Летописи».

— Слышал я это уже, — улыбался Алексей Максимович, — слышал. А все-таки мы печатаем. Поймите, нужно это, — убеждал он, — мимо талантливых вещей нельзя проходить молча. Неправильно это.

Черносотенное «Новое время» раздраженно откликнулось на рецензию: Горький разрешает хвалить хулигана-футуриста в своем журнале...

Алексей Максимович с усмешкой показал мне вырезку из газеты, радуясь тому, что в «Летописи» и рецензии стреляют, попадая в цель.

...Маяковский стал бывать в «Летописи» в редакционные дни осенью 1916 года.

В журнале к этому времени, в отделе критики и библиографии, работали уже ближайшие его друзья. Их привел Владимир Владимирович. Участие их в «Летописи» вызвало острые возражения со стороны части редакции и неко-

торых ее сотрудников. Дело доходило до отказа отдельных из них продолжать работу в журнале. Но Алексей Максимович был тверд: рецензии появлялись на страницах «Летописи».

Я отчетливо помню Маяковского в куртке с меховым воротником, с толстой тростью в руке, шагающего по редакционной комнате. Иногда он дружески сидел около Галины Константиновны, секретаря редакции.

В начале 1917 года Маяковский читал в «Летописи» отрывки из «Войны и мира».

В продолговатой комнате, с окнами полукругом, разместились работники редакции и ближайшие друзья поэта.

Алексей Максимович сидел в глубоком кожаном кресле у окна, облокотясь на колени, и курил. Издали казалось, что он внимательно разглядывает пол. Только изредка вскидывал он глаза на поэта, слегка шурясь от синего дыма папиросы. Пафос поэмы, ее предельная искренность, ее резкая антиимпериалистическая направленность и глубокая человечность были близки Алексею Максимовичу. Эта замечательная вещь Маяковского родилась из творческой дружбы великого писателя и молодого поэта, возникшей в 1915—1916 гг.

Маяковский читал III главу поэмы. Его слушали так, как слушают беспощадную правду, воплощенную в словах большого художника. Напряженно слушал поэт и Алексей Максимович. Отдельные трагические детали поэмы туманили слезами его глаза.

Много времени спустя, возвращаясь к чтению «Войны и мира», Алексей Максимович говорил:

— А все-таки так нельзя, телеграфным столбом по нервам: «В вагоне на сорок человек четыре ноги». Это надо бы как-то потоньше сделать. Не в лоб, еще сильнее будет. Я ему говорил, но упрям же он до чего! Талантливый дьявол!

...В июле 1917 года Алексей Максимович принимал участие в руководстве культурно-просветительным отделом петроградской городской думы, а М. Ф. Андреева была директором Народного дома. Видимо, в связи с этим у Алексея Максимовича возник замысел создать народное театральное обозрение — революционное «ревью».

К работе над этим обозрением Горький привлек группу молодых поэтов и, в первую очередь, Маяковского.

«Реву в 4-х действиях» — немедленно перевел Маяковский на свой язык французское «ревью». Не ручаясь за точность, я припоминаю, однако, первые строфы песни героини этого «ревью». Рассказывая по просторной стеловой Алексея Максимовича, Маяковский стал напевать их низким своим басом:

— Любила меня мама, обожала,
Парижа гуляющую дочь,
Но в Питер за солдатом я сбежала
В февральскую вьюжную ночь.

Далее следовал известный припев из марсельезы: «Allons, enfants»...

А кончалось это сложное музыкальное построение неожиданной строфой на мотив —

«Ехал на ярмарку ухарь-купец»:

— Ешь ананасы и рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй!

Строки эти появились в печати в однодневном сатирическом журнале «Соловей».

Маяковский вспоминал впоследствии, как он сочинил это двустишие в такт какой-то «разуклабистой музички».)

«Ревю» не состоялось. Но эта строфа зажила своей жизнью в революционном народе. И Маяковский особенно ценил ее потому, что с нею шли матросы в Октябре на штурм к Зимнему.

У Маяковского в бумагах сохранилась запись о начале работы над «Мистерией Буфф», помеченная августом 1917 года. Это позволяет утверждать, что «Мистерия Буфф» в своей идее и жанре родилась из горьковского неосуществленного замысла создать революционное обожрение.

...Я не могу уже точно установить, когда Владимир Владимирович подарил мне эти листы третьей корректуры поэмы «Война и мир».

На пожелтевших от времени серых страницах сохранился отчетливый штамп: «Типография издательства «Парус», 31 окт. 1917».

Рукой поэта, синим карандашом, решительно перечеркнуты заключительные строки четвертой части поэмы:

— Пусть одни проклятья привык реветь —
Забудьте!

Умер я,

Отвратительный и грубый!

Отныне некому и не на кого выкрикивать
в славословьи сложенные губы!

Видю

Нового солнца лучи.

С тела на тело!

И вот я светлых гор достиг.

Слышите —

Как с неба голос звучит:

Имя человецье несите в гордости.

Славься, человек!

Славься, сияние новых весен!

Вся вселенная со всеми живыми радуйся!

Знаменитое горьковское — «Человек — это звучит гордо» — прозвучало еще раз великолепной строкой Маяковского:

— Имя человецье несите в гордости!

Славься человек!

Но все эти шестнадцать строк, в сущности, пересказывали смысл знаменитых горьковских слов о человеке. Маяковский, видимо, и вычеркнул поэтому их из последнего варианта своей поэмы. В пятой части его поэмы появились новые строки, по-новому раскрывающие образ торжествующего человека:

Большими глазами землю обводит
человек.

Растет,

Главою гор достиг.

Мальчик

в новом костюме,

— в свободе своей —

важен,

даже смешон от гордости.

Маяковский упорно работал над своими произведениями. Даже в последнюю минуту, перед печатью, в третьей корректуре, он вновь и вновь выверял каждую строфу, каждую строку, каждое слово.

И здесь, на этих пожелтевших листах третьей корректуры, он уточнял, усиливал интонации, убирал лишние слова.

Было набрано:

Россия —

Песни тебе

Возносит в пламенном гимне!

Исправлено:

Россия

Сердце свое

Раскрыла в пламенном гимне!

«Тушами на штык навешаны материки» — писал раньше Маяковский, показывая грандиозную панораму войны.

«Тушами на штыках материки» — исправляя поэт, придавая стихотворной фразе резкую стремительность и силу.

Вычеркнутые Маяковским строки поэмы не увидели света при его жизни. Но строки эти дороги нам, как еще одно убедительное свидетельство творческой близости Владимира Маяковского и Горького.

II

За фанерной перегородкой, в узенькой комнатенке, похожей скорее на какую-то незаделанную щель, чем на кабинет редактора, стоял письменный стол и один стул. Двоим разминуться здесь было нелегко. Потолок был низким в этой мансарде, где помещался Отдел детской и юношеской литературы Госиздата. И все-таки в этом тесном убежище всегда было весело и даже как-то просторно: в детскую литературу шли новые люди, спорили художники, у редакторов было много хлопот с новым, горячим автором.

Помню, незадолго до прихода на эту мансарду новых людей, — в темном коридорчике, в пыльном углу сидел мрачный Сергей Есенин.

— Эти чортовы бабы не печатают моего «Петьки-комиссара», — со слезами в глазах говорил Есенин. — И, подумай, —

Лес все хорошеет,

Ели все игольчей,

На коровьей шее

Плачет колокольчик, —

а они говорят: «Неправильно! Так по-русски не пишут! И Петька мой — невыдержанный». Ну, пусть учат меня коммунизму, пусть, — но чтоб меня, Сергея Есенина, обучали эти бабы русскому языку!.. — патетически восклицал Есенин, явно не в себе.

Мы защищали «Петьку-комиссара» от «ревнителей» русской прагматики, мы звали поэтов к детям. Равнодушная детская литература доживала свой нудный век..

...В первый раз мы позвали Маяковского, когда шел спор о «производственной» книжке. Я не знаю, кто первый пустил этот удивительный

в литературе термин. Однако он не отпугнул от нас Маяковского. Более того. Маяковский внимательно слушал, и мне даже показалось, что разговор с поэтом о «производственной литературе» чем-то понравился Маяковскому. Он согласился сделать «производственную» книжку, — книжку о том, как делают игрушечного коня. Так родился «Конь-огонь».

Производственный процесс был показан, скажем прямо, не очень точно. Но книжка вышла настоящая, детская и, что самое важное, — «подлинный Маяковский».

Сын отцу
твердил раз триста,

За покупкою коня:
— «Я расту кавалеристом, —
Подавай, отец, коня!»

О чем же долго
думать тут?

Игрушек
в лавке
много вам.

И в лавку
сын с отцом идут

Купить
четвероногого..

И для художника этой неожиданной книжки, Лидии Поповой, и для маленького его читателя, и для нас, — была она веселой радостью. Особенно тогда, когда Маяковский читал нам ее вслух вполголоса, в Отделе. Во весь его голос читать книжку в маленькой комнате было немьслимо.

Я не помню уже точно, что не понравилось нашему редактору, женщине сурового педагогического нрава. Только у них с Маяковским вышел значительный, колющий разговор. Рукопись уже была сложена вчетверо и гневно заперта Маяковским в карман. С трудом успокоил я грозного поэта, и стихи прямо пошли к художнику на иллюстрацию.

..На столе в Госиздате лежала стопка новеньких книжек из-за границы, — ярких, многоцветной печати, на замечательной бумаге, в нарядных переплетах. Вместе с Маяковским мы разглядывали эти новинки детской литературы на английском, французском, немецком, японском языках.

Среди них выделялась немецкая книжка для дошкольников.

Сытый самодовольный лавочник, с заплаканными глазками, чавкающими губами, красным в складку затылком, — вылезал из этих дешевенких картинок. Кем быть, к чему готовиться в жизни, о чем мечтать ребенку — об этом многоцветно рассказывала эта пошлая книжечка. Она учила этому ребенка бездарными стихиками и картинками. Кафельная кухня с розовыми сосисками в кастрюле, плюшевая гостиная с гарнитурчиком и пианино, голубая девица, штопающая носки.. Безыменные стишки воспевали прелесть работы у банковской конторки: здесь резали купоны и смачно щелкали счеты. Кончался этот кодекс лавочной морали картинкой без стихотворной подписи. Она говорила сама за себя: за столом сидел лавочник, вышедший в люди, — толстая золотая цепочка на жилете, крах-

мальный воротник, туго подпирющий быкомасую морду. На столе — тугие пачки кредиток. Одна из них, распечатанная, — отодвинута в сторону. Он считал, он трудился. Вытуженный лакей подает на блюде горячей завтрак. В окно видны дымящиеся трубы завода.

Маяковский перелистал еще раз книжку.
— Мм-да! — протянул он. — Густо, ничего не добавишь. Сделано, как им надо! Он понял, почему я просил его зайти, — кем быть по-советски — это надо сделать!

Он посмотрел в записную книжку, что-то записал и добавил:

— Через три недели принесу. Договор потом.

Он протянул мне большую, сильную руку и вышел, наклонившись, из низенькой двери.

Маяковский по-своему понимал педагогику советской книги для детей. Он не отказывался от нужной дидактики. Его убедительные янтонации, добротная рифма, точный эпитет, крепкая, стихотворная строфа, — не раз служили делу коммунистического воспитания.

Маленькие ребята, с его голоса, знали — «Что такое хорошо, что такое плохо».

Шутники утверждали, будто Маяковский писал это о синих чулках из Главсоцвоса:

Если мальчик любит трую,

Тычет
в книжку
пальчик,

Про такого
пишут
тут —

Он —
хороший мальчик!

Может быть, так и было. Но умная детская книжка Маяковского сделала свое хорошее дело.

Мир зверей, любимый детьми, открывали другие веселые страницы Маяковского — «Что ни страница, то слон и львица».

Старшие ребяташки узнавали от неистощимого на выдумки поэта — «Про моря и про маяк».

«Прочти и катай в Париж и Китай!» — громко звал Маяковский своих маленьких друзей в занятную свою географию:

— Начинается земля,
как известно,
от Кремля!

Он наставлял их, учил любви к своей родине и ненависти к врагу, показывал мир. С его песней шли ребята в стрелковые кружки и санитарные звенья. Отряды юных разведчиков распевали по всей стране:

Когда война-метелица
Придет опять,
Должны уметь мы целиться, —
Уметь стрелять!

Высокий, он присаживался перед ребятами на корточки. Так удобнее было разговаривать. Он говорил с ними вполголоса, чтобы не оглушить их. Но говорил, не меняя своих интонаций, своей стихотворной фразы, точно рассчитанной на определенного слушателя.

...Я чуть запоздал на работу, меня встретил старший секретарь и предупредил:

— У нас — Владимир Владимирович. Принес — «Кем быть». Читал вслух, разругался в дым с редактором. Ему сделали сразу несколько замечаний.

Маяковский сидел сбоку на моем столе, зажав ногами палку. В руках у него была рукопись, напечатанная на машинке. Он читал ее вполголоса, видимо, еще раз проверяя звучание отдельных строк.

— Надо приходиться на работу во время, — строго встретил меня Маяковский. — Никто не обязан тратить время на ожидание!

Я просил извинить меня, объяснив причину задержки.

— Принесли, Владимир Владимирович? — протянул я руку за рукописью.

— Ничего не дам, пока не уберете свою педагогшу. Зовите ее сейчас же сюда, — рычал Маяковский. — Я натяну на нее синий чулок. Чтобы не задохлась, мы ей прорежем дырочки для губок. Пусть так и ходит на работу. Пусть сразу все знают, кто такая!

С трудом удалось мне успокоить Владимира Владимировича. Медленно светлея у него глаза, карие, потемневшие от тьмы. Через несколько минут мы вместе читали его новую книжку, великолепный его ответ немецкому лавочнику — кем быть советским детям. Мы спокойно договорились об исправлениях, — он внес их тут же в рукопись.

Маяковский любил это свое детище. В новом издании он еще раз проверил каждую строчку.

— Как живете? Как животик? — здоровался Маяковский при встрече.

Он читал эти стихи в Центральной детской библиотеке, у ребят в Парке Культуры. И голос его заслонял подчас для ребят смысл его стихов, образы их, — настолько удивителен был детям этот неповторимый голос.

Одна девочка рассказывала мне:

— Мы собрались слушать Маяковского в огромном-преогромном кино. Оно называется «Колосс». Ребят было, наверное, две тысячи. Мы его ждали. А пока — все громко разговаривали. Можете себе представить, какой шум стоял в зале. Потом пришел Маяковский. Сразу стало тихо. Он начал читать стихи, и всем показалось, что он говорит громче, чем все две тысячи ребят вместе.

...Уже надо было ехать в Ленинград, сдавать в печать журнал «Еж», майский номер. а стихов о Первом Мае не было.

«Еж», свой ежемесячный журнал, — из первых букв этих двух слов и родилось его «загадочное» название, — любили ребята. Это мы знали по тысячам писем. В кропотливую работу над каждым номером вкладывали много любви и талантливого умения и С. Маршак, и Д. Шварц, и Б. Житков, и В. Лебедев, и многие, многие другие. Выйти к детям в праздник без песенки — было невозможно. Стихи, имевшиеся в редакции, не годились.

Сверкал весь в солнце мартовский день, звонко болтала капель у крыш, а я, ответственный редактор «Ежа», шел по веселой улице, озабоченный псеудачей.

Вдруг из-за угла, в толпе, появился Маяковский. Он шел навстречу мне крупным шагом, расталкивая прохожих, думая о чем-то своем. На смуглом его лице играли отсветы солнца от луж, он шурился от сильного света, по губам его скользила чуть заметная улыбка.

— Вы не знаете, как я рад, что встретил вас, — бросился я к Маяковскому. — Вызовите нас, ради бога! Вы — один можете!

Может быть, его радовало весеннее солнце или шумные брызги, которые быстро разбегались в стороны из-под больших, крепких его ног.

— Позвоните завтра в одиннадцать часов утра. Попробую сделать. «Ежику» без первомайской песенки действительно нельзя, — не медля согласился Владимир Владимирович. И тут же другим, каким-то нарочито деловым голосом добавил:

— Я сделал стихи, а вы сейчас же пришлите деньги. На дом. Сколько у вас платят за строчку? Меньше пяти рублей даже с «Ежика» не возьму. И помните уговор — деньги сейчас же.

В этой подчеркнутой деловитости — заказ к двенадцати часам утра, пять рублей за строчку, деньги на дом, — мне всегда чудились грубоватые черты маски, которой Маяковский прикрывал незащищенное свое лицо поэта. Он не любил, ведь, денег. Не знал им, как говорится, счета. И, однако, всегда подчеркивал свою деловитость в денежных расчетах, принципиально подчеркивал, как расчетливый ремесленник.

Ровно в одиннадцать часов утра наавтра я позвонил Владимиру Владимировичу.

— Слушу, — ответил мне знакомый бас. — Берите карандаш и записывайте:

...Весна сушить развесила
свое мытье.

Мы молодо и весело
идем!

идем!

идем! —

внятно диктовал Маяковский.

И в этой весне, которая развесила сушить свое мытье, в этой радующейся улице, умытой весной, — я чувствовал вчерашний солнечный день и звонкую, как весну, ребятню — большим и настоящим другом ей был Маяковский.

— Прочтите мне, — попросил Владимир Владимирович.

Я прочел ему записанные стихи, выделяя голосом слова в отдельные строки.

Я горячо благодарил его за помощь журналу. — Всегда готов! — пробасил Маяковский. Он проверил еще раз по телефону знаки препинания и сказал:

— Называется — «Майская песенка». Так и печатайте. Только смотрите сами, чтобы не напутали в печати. Рассержусь, если наврете. И сейчас же, курьером, тоните мне шестьдесят рублей. В двенадцать придет пращка, а у меня нет денег. Помните уговор.

НЕСКОЛЬКО ИЛЛЮСТРАЦИЙ К АВТОБИОГРАФИИ МАЯКОВСКОГО

В. КАТАНЯ

★

ВО ДВОРЦЕ КШЕСИНСКОЙ

Автобиография Маяковского «Я сам» была написана осенью 1922 года для двухтомного собрания сочинений «13 лет работы».

Весной 1928 года для I тома десяти томника, выпускаемого Госиздатом, поэт дополнил ее и довел до 1928 г.

В ней есть немало неточностей, начиная хотя бы с года рождения. Маяковский предлагает читателю на выбор две даты — 7 июля 1893 г. или 7 июля 1894 г. Впрочем, он в первых же строках предупреждает читателя, что «свободно плавает по своей хронологии».

Но есть в автобиографии и даты скрупулезно точные, события, отмеченные несколькими скупыми словами, но датированные с такой точностью, о которой всегда мечтает биограф.

Как пример «свободного плавания по хронологии», можно взять следующую строчку, стоящую под рубрикой «18-й год»:

«Заходила в Пролеткульт к Кшесинской».

Если, исходя из самого текста, уточнить эту дату, то выйдет — во второй половине 1918 года. (Всю первую половину, январь — июнь, как Маяковский сам говорит об этом в автобиографии, он провел в Москве).

Но это неверно. Мы имеем сейчас возможность не только поставить эту строчку на место, но и расшифровать слова, ее составляющие.

Только ко времени до июля 1917 года и могло относиться посещение Маяковским дворца Кшесинской, и так это в действительности и было.

Выяснилась даже точная дата. 22 мая (4 июня) 1917 г. Маяковский участвовал в совещании поэтов, беллетристов, художников и музыкантов-интернационалистов, созданном Обществом пролетарских искусств. (Дата установлена по неопубликованному письму О. И. Лешковой к худ. Ле Дантю от 25 мая 1917 г. и по извещению в газете «Правда».)

Общество пролетарских искусств — это не Пролеткульт, это — предистория Пролеткульта. Это была первая, очень слабая попытка

объединить революционно настроенных писателей и художников вокруг партии. Сделано это было очень неумелыми руками и не дало почти никаких результатов.

22 мая было второе по счету собрание общества. На первом организационном собрании присутствовала только небольшая группа учредителей, которая поручила поэту Бальмонту оформить кредо общества. Был ли на этом первом собрании Маяковский, мы не знаем. Нечто, написанное Бальмонтом, не удовлетворило учредителей и текст декларации отослали автору обратно с просьбой сделать «порадикальнее». Пока что второе собрание, на котором, по словам Лешковой, кроме Маяковского присутствовало около двух десятков дилетантов и только два профессионала — один художник и один певец, — занялось текущими задачами и делами.

Горячие споры вызвал вопрос об установлении «классовой сущности искусства». Спорил долго. Наконец «предложено было, — пишет Лешкова, — исходить из партийности авторов... По словам одного из выступавших членов общества, — не состоять в партии это просто мелкое упрямство: в каждом районе есть комитет партии, — походи и запишись. Во время обсуждения этого вопроса В. В. Маяковский, очень недовольный собранием, взял слово и кратко, сжато и строго по существу сказал, что удивляется тому, что говорят о формальной партийности и не думают вовсе ни о роде дарования, ни о мировоззрении авторов, а это вернее могло бы гарантировать годность произведений для пролетариата. В тоне В. В. сквозило раздражение из-за необходимости говорить языком азбучных истин... В. В. встал из-за стола и начал в раздражении ходить по комнате. Через несколько минут, когда собрание приняло беспокойный характер, председательница Богдатева сказала шагающему В. В.: «Маяковский, сядьте, вы мешаете работать». Маяковский остановился, но не сел, а ударил дверь сильным движением, вышел в сад и стал ходить взад и вперед по дорожке. Через некоторое время он вернулся, но уже не сел за стол, а уселся поодаль в стороне и продолжал наблюдать с сердитым

видом.. Тем временем обсуждался вопрос о необходимости ограждения пролетариата от буржуазного искусства... Были попытки исходить из происхождения автора, из сюжетов, из изображаемой среды... Вопрос о том, что же делать с классиками,—остался нерешенным. Сидя в стороне, В. В. слушал все это с ироническим любопытством, потом встал и, махнув рукой, ушел с собрания, не дождавшись его окончания».

В сложной литературно-политической обстановке 1917 года поиски профессиональной общественности для такого человека, как Маяковский, были особенно нелегки. Ее нужно было не столько искать, сколько создавать.

С первых же дней февральской революции Маяковский принимал активнейшее участие во всех попытках профессионального объединения людей искусства, выступал на митингах художественной интеллигенции, воевал против попытки создания буржуазного министерства искусств, входил во Временный комитет уполномоченных Союза деятелей искусств и даже представлял в нем от московских художников.

И вот еще за тем же самым — «заходил в Пролеткульт к Кшесинской»...

ТОЧНАЯ ДАТА И ТОЧНАЯ ФРАЗА

Вторая иллюстрация к автобиографии относится также к 1917 году. Это — пример не из «свободного плавания по хронологии», а наоборот, — предельной хронологической точности.

В главе «Август» (1917) Маяковский пишет: «Россия понемногу откренцывается. Потеряли уважение. Ухожу из «Новой жизни».

Проверить последнюю фразу по библиографии очень нетрудно. Действительно, в августе 1917 г. (9-го и 13-го) были напечатаны последние вещи Маяковского в этой газете — стихотворение «К ответу» и 3-я часть поэмы «Война и мир». Но почему Маяковский, упомянув о своем «уходе» из «Новой жизни», ни слова не говорит о том, когда он пришел туда? Почему нет в автобиографии никаких других «уходов» в том же 1917 году, — например, из «Нового Сатирикона»?

Конечно, этот уход был принципиальным и дата, и самый факт сохранились в памяти не случайно. Но при том лаконизме, с каким написана вся автобиография, места для комментариев не нашлось.

А они не безынтересны, хотя и невелики. Повидимому, уход Маяковского из «Новой жизни» был связан с постановлением ЦК РСДРП (большевиков) от 20 августа 1917 г. о выходе из «Новой жизни» всех большевиков, сотрудничавших до этого времени в ней. Это постановление вызвано было выступлением «новожизненцев» со своим особым списком кандидатов при выборах в Петроградскую городскую думу (см. статьи В. Володарского в газете «Пролетарий» («Правда») 16 и 18 августа 1917 г.).

Об этом решении партии Маяковский мог

узнать и вероятнее всего узнал от А. В. Луначарского, с которым познакомился и сблизился как-раз по совместной работе в «Новой жизни».

Маяковский не был членом партии, но сделал для себя вывод из этого постановления в точном соответствии со словами, сказанными им о себе через 13 лет: «Я от партии не отделяю себя и считаю себя обязанным выполнять все постановления большевистской партии, хотя не ношу партийного билета».

Эти слова не были красивой фразой не только в применении к 1930 году, когда они были сказаны, но и, как видите, для 1917 года. И даже точнее — для месяцев, предшествовавших Великой Октябрьской революции.

„ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА“

В одном бульварном журнальчике начала 1918 года в рецензии на вечер «Избрание короля поэтов» есть косвенное указание на одно неизвестное в биографии Маяковского выступление.

Развязный рецензент, который вскоре перекочевал в стан эмиграции, сравнивал голосовые данные Маяковского на этом вечере с тем, как звучал его голос *три года назад*, в первые дни войны с памятника Скобелеву на патристическом митинге. Он, рецензент, будто бы хорошо помнит, как резонировали тогда на площади строчки Маяковского: что-то такое вроде того, что *русские солдаты вытрут кровь со своих сабель о юбки кокоток на бульварах Вены...*

Да, такие слова в кавычках действительно есть у Маяковского в стихотворении «Война объявлена».. Но больше ничего подтверждающего выступления на Скобелевской площади как будто неизвестно. Потом уже я вспомнил, что один из друзей Маяковского несколько лет назад рассказывал мне о каком-то выступлении поэта у памятника Скобелеву. Но с чем? Когда?

Я просмотрел с десяток московских газет того времени. Митинги были только в первые несколько дней после объявления войны. Описаны они в газетах с интересующей нас точки зрения совсем неудовлетворительно. Митинги вспыхивали во всех концах города стихийно, но репортеры оказывались только там, где появлялось прадоначальство и крупнокалиберное духовенство.

В воскресенье 21 июля старого стиля, на четвертый день войны, около 9 часов вечера дождь разогнал большой митинг на Страстной площади у памятника Пушкину. Через несколько минут толпа собралась у Скобелева. «Два молодых поэта, — пишет «Русское слово», — прочитали свои стихи, посвященные предстоящим событиям...»

Вот все, что удалось обнаружить! Можно ли утверждать, что один из этих «двух молодых поэтов» безусловно был Маяковский? Не безусловно, но очень вероятно.

Подумайте — кто из поэтов того времени влез бы на площадку на пьедестал памятника и обратился со стихами к уличной толпе? Хотя бы даже из молодых — молодой символист? Ахменст? Невероятно! Только из тех, кто объявлял себя поэтом улицы, кто искал не камерности, а простора площадей для голоса, кто имел опыт в разговорах с тысячными толпами, кто всходил уже «на голгофы аудиторий Петрограда, Москвы, Одессы, Киева»...

Так оно, вероятно, и было!

В автобиографии Маяковский говорит об этих днях:

«Война. Принял взволнованно».

И первый его взволнованный жест — это выступление на патристическом митинге у памятника Скобелеву с стихотворением «Война объявлена».

Несколько позже, к осени 1914 года, относится второй взволнованный жест, который в автобиографии пост-фактум мотивирован так: «Чтобы сказать о войне, надо ее видеть». 24 октября Маяковский подал заявление о желании пойти добровольцем на войну. Полицейская машина воспрепятствовала этому. Люди тогда не так нужны были фронту, как сейчас. 16 ноября Маяковскому объявили о том, что на основании справки охранного отделения о неблагонадежности ему в его просьбе отказано.

К первым месяцам войны — август, сентябрь, октябрь, — относится и работа Маяковского над текстами для народных военных лубков. Выпускало их издательство «Сегодняшний лубок», объединившее вокруг себя группу молодых художников, — К. Малевича, А. Ленгулова, М. Ларионова, В. Черыгина и др. Несколько плакатов нарисовал и Маяковский. Лубки выходили большими листами и, кроме того, печатались открытками. Тексты в большинстве стихотворные. Их все писал Маяковский.

Это был, вероятно, его первый опыт работы над народным частушечным стихом и вместе с тем первое пропикновение газетной злободневности в стих Маяковского:

Эх и грозно, эх и сильно
Жирный немец шел на Вильно,
Да в бою у Осовца
Был острижен, как овца.

По поводу сентябрьских боев в Августовском лесу:

В славном лесу Августовом
Битых немцев тысяч сто вам.
Враг изрублен, а ватом он
Пущен плавать в синий Неман.

О вторжении русских войск в Восточную Пруссию:

Отвалилось у Вильгельма
Штыковое рыжеусие,
Как узнал лукавый шельма
О боях в Восточной Пруссии.

Вообще о немцах, как они ведут войну:

Жгут дома, наперли копать,
А самим-то неча лопать.

Или:

С криком «Дейчланд юбер аллес»
Немцы с поля убирались.

И т. д.

Работа Маяковского над этими текстами до сих пор еще полностью не учтена и не собрана. Пока известны около двух с половиной десятков лубков и открыток. Среди них есть и с 2—4—6 рисунками на одном листе, последовательно раскрывающими тему (на подочке «Окон Роста»). Все это очень резко отличалось от лубочной литературы того времени и по живописной смелости и новизне, и по яркости словесного выражения. Печать хвалила и отмечала «юмор и звонкие находчивые рифмы» подписей (не зная автора!).

Отношение Маяковского к войне с немцами на протяжении трех с половиной лет не было неизменным. Но первая непосредственная гражданская реакция достаточно ярко характеризуется приведенными фактами. Вместе с тем, само собой понятно, она ими не исчерпывается.

Кроме сказанного и сделанного было еще написано. Широко известны стихи 1914 года — «Война объявлена» и «Мама и убитый немцами вечер». Менее известны статьи Маяковского в газете «Новь» (ноябрь — декабрь) и совсем неизвестны две из них — «Россия, Искусство. Мы» и «Будетляне», не вошедшие в собрание сочинений. Для иллюстрации настроений Маяковского того времени они все интересны, но, может быть, особенно — последние две.

Сознание складывает два ощущения: он — русский, и он — поэт. Он рад подчеркнуть, что «сегодня каждая мелочь его работы, даже та, которая кажется только лично полезной, на самом деле — часть национального труда». Он горд, подчеркнуть, что «русская нация та единственная, которая, перебив занесенный кулак, может заставить долго улыбаться лицо мира» (статья «Будетляне», газета «Новь» 19 декабря 1914 г.).

Не может настоящий художник оставаться в стороне от громовых событий, в которых решается судьба его родины. «Можно не писать о войне, но надо писать о войне! — говорит Маяковский. — Тот не художник, кто на блестящем яблоке, поставленном для натур-морта, не увидит повешенный в Калише»*. «Поэзия... — писал он, — не теплое одеяло... Поэзия — ежедневно по-новому любимое слово. Сегодня оно ездит на передке орудия в шлеме из оранжевых перьев пожара»**.

В статье «Россия, Искусство. Мы», появившейся в газете «Новь» 19 ноября 1914 года, Маяковский цитирует гневные строчки Хлебникова: «...Или мы не пойдем происходящего, как возгорающейся борьбы между всем германством и всем славянством? Уста наши полны мести, месть капает с удила коней, понесем же, как красный товар, свой праздник мести

* «Врагшим кистью», том I, стр. 353.

** Поэты на фугасах, том I, стр. 350.

туда, где на него есть спрос, — на берега Шпрее. Русские кони умеют пощипать копытами улицы Берлина. Мы это не забыли, мы не разучились быть русскими!»

Хлебников писал это в 1908 году. Маяковский повторяет эти слова в дни разгоревшейся войны с германским империализмом, с тем, чтобы подчеркнуть сегодня: «Россия борется за то, чтоб не стать хлебным мешком Запада. Если до сегодняшнего дня Германия не сделала попыток обрубить рост России, то только потому, что видела в нас спящую колонию, которая, налившись, сама упадет в ее зубастую пушками пасть».

Лозунги, которые вытекают отсюда: довольно русскому искусству ходить на помочах, перекинуть сюда через Вержолово.

Разве кто-нибудь протестовал, «что, например на русской живописи до последнего бунта молодых лежала лапа тупого мюнхенства?»

«Хоть теперь, когда граница закрыта, — пишет Маяковский в статье*, — надо откопать живописную душу России, надо вместо лириков, пейзажистов с настроением, — оружейных мастеров знания. Молодые! Боритесь за создание новой свободной академии, из которой могли бы диктовать одряхлевшему Западу русскую волю, дерзкую волю «Востока».

Маяковский предлагает переломать в училище гипсы, снести в подвалы копии с иностранцев, и... «вернуться к изучению народного творчества. Игги от жизни, а не от картин» (том I, стр. 380).

Война обостряет чувство национального самосознания. Отсюда повышенное внимание и интерес к вопросам суверенности русского искусства. Используя этот интерес, Маяковский настаивает на изменении отношения к плеяде молодых художников, которая в последние годы «уже начала воскрешать настоящую русскую живопись, простую красоту дуг, вывесок, древнюю русскую иконопись безвестных художников, равную и Леонарду, и Рафаэлю».

И литература! Он за эту новую, новейшую, которая вытекает «не из подражания вышедшим к «культурных» наций книгам, а из светлого русла родного первобытного слова и безыменной русской песни».

«Ему дорогу!» («Россия. Искусство. Мы»)

Предложение исходить «в строительстве храма новой русской красоты» из народного творчества — это, разумеется, не простое отталкивание от всего иноземного. Трудно Маяковского заподозрить в плоской мысли, что «все не наше — дрянь». И это, конечно, не возвращение к прошлому, а прежде всего обращение к народному в поисках яркого, полноценного, «ежедневно поточному любимого слова», в поисках витамина оптимизма и веры в людей, без которых чахнет искусство. «Живописная душа России» и «родное первобытное слово» — это камертон, без которого нельзя настроить инструмент нового искусства. Это то, что может воспитать красочное чувство жизнерадостного стиля взамен «гробовой костлявости Мюнхена», взамен декадентства.

* «Как бы Москве не осталось без художников».

Самое главное может быть именно в этом всепобеждающем оптимизме, в утверждении и прославлении жизни тогда, когда смерть вышла гулять по полям, когда лицо земли изрезали морщины окопов.

Да, отталкивание Маяковского в сторону народного творчества шло вразрез с модной мистикой и безысходным пессимизмом современной литературы.

«...Старые писатели — Сологуб, Анжосев и др. — возвеличивали смерть, — писал Маяковский, — возвеличивали страдание, кончину, а великая, но до сегодняшнего дня не принятая народная песня поет радость. В то время как писатель печален — «идем на смерть», народ в радости — «идем на ратный подвиг».

Этому месту в статье «Будетляне» предшествует следующий рассказанный Маяковским эпизод: «Вчера вернулся с войны один мой товарищ-санитар, Маленький, но бесконечно любящий красоту артист. Кажется, единственное, что он умеет, — тонкими пальцами шелкать, как кастаньетами. У нас на вечеринке я попросил его выщелкать какой-то мотив. Начал и замылся. Я осмотрел его пальцы. Изуродованы. «Осколки шрапнели, — объяснил он, — когда вынимаешь у раненого, торопишься, и дарапает». Он говорил, как стлались снаряды, как ему, упавшему от трехдневных бессонных перевязок, принесли кружку кровавой воды из Вислы. Я удивился. Ведь это не его профессия; ведь даже убить могут? Возмутился: нет не могут. Когда пол идет в атаку, в общем мощном «ура» ведь не различишь, чей голос принадлежит Ивану, — так и в массе летящих смертей не различишь, какая моя и какая чужая. Смерть несет на всю толпу, но, бессильная, поражает только незначительную ее часть. Ведь наше общее тело остается там на войне дышать заодно, и поэтому там — бессмертие».

Статья «Будетляне» имеет подзаголовок «Рождение будетляне». Будетляне — это люди, которые будут, люди, которые придут после войны снова возносить из пепла города. Кто же они, те, кто «заполнит радостью выгоревшую душу мира?» Они уже есть, говорит Маяковский. Они здесь, среди нас!

«Не бойтесь! Этот новый человек — не таинственный индус, за которым надо гоняться по опасной Индии; это не одинокий отшельник, для новизны бегущий в пустыню.

Он здесь же, в толкучей Москве!

Он — извозчик, пьющий на Кудрине чай в трактире «Бельгия», он — кухарка, бегущая утром за газетой, вдохновенный поэт, пишущий стихи только для себя, потому что сегодня каждая мелочь его работы, даже та, которая кажется только лично полезной, на самом деле часть национального труда... Каждый — носитель грядущего. Судьбу России решает войско, а ведь войско — мы все: кто уже сражается, кто идет на смену павшим с малиновыми ополченскими знаменами, кто завтра, достигнув предельного года, призовется в свой

черед.. Каждый должен думать, что он — тот последний, решающий исход борьбы. День осознания в себе правой личности — день рождения нового человека...»

Будущее! Не как бесплотная мечта, а как страстное, почти видимое, почти осязаемое желание новой жизни, оно всегда, неотступно, гипнотически привлекало к себе Маяковского. Приоткрыть завесу, в пестрой суете буден разглядеть его смутные, но прекрасные — да, он убежден в этом! — прекрасные и величественные очертания.

Вера в человека! — вот что поддерживало его в этом убеждении.

Война не только изменит географические очертания государств, но и, как писал Маяковский, «новые мощные черты положит на лицо человеческой психологии». Он пытается разглядеть их уже сейчас, едва загрохотали первые пушки. Война удешевит темп жизни — то, что должно отойти в историю, отойдет скорее, то новое, что придет ему на смену, быстрее пробьет себе дорогу.

Торопя события, Маяковский радуется, что ненавистный ему «вчерашний» человек с позвончиком, искривленным от двухлетнего танго.., с куском недоеденной капусты, запутавшимся в бороде, с усами, обмокшими в водке, уже вымирает. Он хочет думать, что «под серым пиджаком обывателя вместо истасканного и пропитого тельца наливаются мощные мускулы Геркулеса».

Он преувеличивал? Может быть. Искомое, желанное принимал за данное? Возможно. Но он слишком сильно этого желал!

Сегодня легко поставить все на свое место. Труднее было тогда соразмерить верную долю оптимизма и веры в людей с суровым

грузом действительности, соразмерить так, чтобы безошибочно предсказать будущее.

Но он его и не предсказывал! Он звал бороться за это будущее, уверенный в его лучезарности, уверенный в том, что «русская нация та единственная, которая, перебив занесенный кулак, может заставить долго улыбаться лицо мира».

Он не ошибся в этом.

Эту веру он пронес через все испытания военных лет до тех дней, от которых начинается новая глава истории его народа.

В преддверии этих дней, когда народ, отбиваясь от наседавших германцев, сбросил душившее ярмо царизма, в преддверии великой социалистической революции Маяковский писал:

Наша земля,
Воздух — наш
Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда
никогда!
никому,
никому не позволим
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями
отточенных копий.

Это — формула защиты отечества, удешевленная силой сознания, что все защищаемое на родной земле принадлежит отныне навечно и безраздельно народу.

Нет, жирным, налитым пивом пальцам прусских улан никогда не подобраться к горлу России, его «любимой страны».

Вновь занесенный кулак будет перебит. Мало того! Говоря словами Маяковского: «он будет вырван с рукой».

БИБЛИОГРАФИЯ

ЛИРИК БЕЛОРУССКОГО НАРОДА*

Прошел год, как белорусский народ похоронил своего певца, своего лучшего лирика — Янку Купалу. Но оставленные им творения вечно с нами, они бессмертны, как бессмертен народ, породивший поэта.

Особенностью таланта Янки Купалы является народный лиризм. Им проникнуты все произведения поэта.

Читатель раскрывает книгу, и перед ним встают образы родной Белоруссии, белорусского мужика, родной природы; им посвящены все чувства и мысли поэта. Это неизменные темы художника от начала его литературной деятельности (1905 г.) до смерти.

Родина — Белоруссия — всегда волновала художника.

Встань, страна моя! Полно в неделе
Верить холодному рабскому сну...
С запада звери ползли чередою
Рвать твою прудь.. Ты осталась живою,
Выйди, чтоб встретить весну!

Любовь к родине, к Белоруссии у Янки Купалы всегда сочеталась с верой в ее победу над врагами, в ее счастливое будущее. Он знает, что не стоит попусту роптать на судьбу, что нужна борьба и она увенчается успехом.

Мы заживем счастливо семьей,
Что прадедам не снилась никогда!

Так оно и было. Белоруссия в течение многих веков вела борьбу за свою независимость, за самобытное существование. Белоруссия стала орденосной, и ей поет свою вдохновенную песню Янка Купала.

Долго не забудет Беларусь родная,
О годах неволи, о судьбе несчастной,
И о том, как доля кончилась злая,
Как легко нам стало под звездою красной.

Колосись же, разливайся
Ты червоным цветом —
Равноправная со всеми
Ты в Стране Советов!

Белоруссия... родина... что могло быть ближе такому глубоко народному поэту, как Янка Купала?

В творчестве Янки Купалы дан образ мужика белоруса в его движении от темной забитой жизни к светлому царству свободы и счастья («Мужик», «А кто там идет?», «Я мужик-белорус», «Из песен мужичьих», «Из песен безземельного», «Пахарь» и мн. др.). Это обыкновенный человек, которому больно и трудно жить, который страдает и плачет, проклинает свою долю и вся жизнь которого сплошная битва. Этот обыкновенный человек становится богатырем жизни, ибо только богатырю под силу вынести всю тяжесть горя и страдания в течение сотен лет. Только богатырь может иметь такую силу духа, такое упорство и текучую жажду жизни, которые побеждают все на свете. Старый гусярь на княжеском пиру поет князю:

Замок выстроил ты, — глазу властному мил,
В нем кирпич отшлифован и камень:
Это — плиты надгробные с бедных могил
И сердце каменеющих пламень.
Любо слушать тебе пьяной музыки звон,
Ты пируешь на горе народу...
Но прислушайся, князь: подымается стон,
Стон проклятия князьему роду...

Вот он, голос народа-богатыря, борющегося за свое будущее. В этой борьбе обыкновенный человек становится героем.

В творчестве Купалы героические черты народа — его смелость, мужество, храбрость, стойкость, бесстрашие — обрисованы ярко и убедительно.

Не сломит народ никакая страшная беда. Он — жив, он будет жить вечно. Пламенные слова нашел поэт в дни прозрых испытаний для Белоруссии, в дни борьбы с немецко-фашистскими варварами.

Очистим мы леса и поля,
Не будет гитлерова следа,
Вернет и счастье, и волю
В наш обновленный дом победа.
Залечим раны, Станет раем
Все превращенное в руины.
Зажжем над нашим юным краем
Мы свет невиданный и дивный.

* Янка Купала. Избранные произведения. Гослитиздат. 1945.

Родная природа... Она дала особые цветы и краски поэзии Янки Купалы, она стала могучей, вдохновляющей силой поэта. Природа не мертвая, а живая, активная, действенная сила. Всесторонне и красочно рисует поэт свою родную природу. Зима и лето — «Летом», «Зима приближается», «Снег», «Зимняя ночь», «Мороз» и др., осень и весна — «Весна», «Осень», «Плачет осень», «Нская осень», день и ночь — «На рассвете» и др., лес и поле — «В старом бору», «Летняя роса», реки и луга — «Над рекою», сенокос и жнивья — «Песня жниц», «На сенокосе», «Косцам», «Сенокос», «Жниво», «Жница», березки и калина — «Две березки», «Явор и калина» — всё одинаково хорошо у Янки Купалы. Родная белорусская равнина, перелески, серенькое небо, притихшие хаты, дождливая осень, суровая зима, труд в поле — вот что волнует и вдохновляет Янку Купалу. Этой природе он обязан своими первыми впечатлениями детства, она научила его слышать свои голоса, понимать шелест травы, шопот бора, журчание ручейка, свист осеннего ветра, вой зимней вьюги. Она научила его различать многообразие красок и оттенков своих цветов, изощрила его взгляд; отточила чувство, обострила мысль. Она стала, наконец, источником вдохновения, прибежищем, где поэт находил отдых и успокоение.

Он умел чувствовать природу. Вот почему все думы и чаяния народные в поэзии Янки Купалы связаны с природой. Такая органическая связь поэта с природой, такая вдохновенная любовь к ней сама по себе делает Янку Купалу патриотом.

Живую силу народа составляет его язык, родное слово. Истинный сын народа не может не любить свой язык, не любоваться его красотами, не верить в него, не работать над ним. Янка Купала знал чудесную силу родного слова, которое одно оставалось с народом во всех его тяжелых страданиях на протяжении многих лет. Он чувствовал его глубинное начало, идущее от первых впечатлений детства, его действенность, ведущую народ вперед.

Ты вело нас в жизни с гордостью и славой,
Пред врагом ты низко шеи не сгибало;
.....

И рукой в мозолях тем родимым словом
В книге всех народов, в заголовке новом
Белорусь запишет, гордо и не труся,
Горестную повесть милой Белоруси.

Лирическую повесть милой Белоруси и написал прежде всех Янка Купала. Он справедливо заметил, что является певцом Белоруссии,

Нету страны, где бы, песней согрета,
Доля народов поэта не знала.
У белоруссов же нет и поэта,
Пусть уж им будет хоть Янка Купала.

Поэт должен говорить с миллионами, с целым народом, он понимает, что, создав прекрасную песню, становится другом своей страны. В этом его счастье; его высшая награда.

За мир и счастье родного края,
За моих братьев в великой борьбе, —
Только такой я смерти желаю,
Памяти этой прошу себе.

Родное слово дает поэту право говорить с художниками других народов, как с братьями по перу («Солнечному Руставелли», «Памяти Максима Горького», «Памяти Сулеймана Стальского»), чувствовать себя сильным и равным в семье писателей братских народов.

Любовь к родному языку усиливает чувство ответственности за него, ибо она заставляет ощущать его особенность — оригинальность, самобытность. Она же заставляет любить языки других народов и в первую очередь те, которые развились из одной основы. Понятно поэтому любовь Янки Купалы к языку русскому и украинскому.

1917 год. Октябрь — дата второго рождения поэта. Все предстало в новом свете поэту. Сбылись надежды, а верования стали реальностью, новое солнце хлынуло ярким потоком в серую жизнь. Оно залило все, и жизнь заискрилась, заиграла, зацвела.

Край родной в небывалом
Расцвете...

Нужны новые слова, новые краски, новые песни. Их поэт теперь Янка Купала. Появляются новые темы и новые образы. Купала со всей силой своего таланта откликнулся на новую жизнь («Гости», «Не про старое, кандалное», «День Конституции», «Мы жизнь свою улыбною встречаем»). Белоруссия — равноправная республика в Стране Советов, но любовь к ней не исключает любви к другим народам. Стихи Купалы, посвященные Украине, Грузии, России, прекрасно характеризуют его советский патриотизм.

Народный лиризм — как основа творчества — сохраняется Янкой Купалой и тогда, когда он пишет свои большие поэмы, как: «Мужицкая доля», «Курган», «Бондаревна», «Никому», «Город Борисов».

Боль и страдание народа здесь иногда окрашены тонким юмором и иронией над своей жизнью, что так характерно для народа:

Что нам хлеб, зачем он в хате,
Если нам мякины хватит?
Что ботинки, черевички,
Если есть лоза и лыки?
Что нам свет наук прекрасных,
Если слезы светят ясно?

Написать так может только тот, кто слыхом хорошо знает душу своего народа, кто на в чем не отделяет себя от него. Судьба народа — судьба поэта.

Народный лиризм Янки Купалы пронизывает и его драматургию, в особенности помещенную в сборнике драму «Разорванное гнездо», и его статьи, написанные в дни борьбы белорусского народа с немецко-фашистскими захватчиками. «Германский фашизм — зло»

ший враг белорусского народа» — писал Янка Купала в 1941 году.

«Враг ничего не добьется. Ничего не дадим врагу. Всесожигающей ненавистью пылают сердца.

Если враг сорвет яблоко, созревшее в нашем саду, оно разорвется в его руках гранатой!

Если он сожнет торсть наших тяжелых колосьев, зерна вылетят и поразят его свинцовым дождем!

Если он подойдет к нашим чистым студенным колодцам, они пересохнут, чтобы не дать ему воды!

Готовь оружие, белорусский народ. Куй эту победу винтовкой, серпом, молотом, самоотверженным трудом!

На мой клыч вечевой, кто с душою живой.

Мне откликнется под косогором, —

Гулом звона скажу, стужку-путь укажу

По раздолью, к родимым просторам.

Боевым призывом звучали речи поэта на всеславянском митинге в Москве в августе 1941 г. и на радиомитинге в январе 1942 г., обращенные к белорусскому и всем славянским народам. Призывами к белорусскому народу заканчивается книга избранных произведений Янки Купалы, книга, действительно являющаяся венком памяти великого белорусского поэта. Книга эта кончается твердой уверенностью в том, что «Белорусь была советской и советской будет!

Партизаны, партизаны,

Белорусские сыны,

Бейте врагов поганых...

Рвите из проклятых жилы

В пущах ройте им могилы —

Смерть за смерть и кровь за кровь!

М. Добрынин



ВОПРОСЫ РЕАЛИЗМА В ЭСТЕТИКЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО*

В № 1 — 2 журнала «Под знаменем марксизма», наряду с статьями: «Двадцать пятая годовщина Красной Армии», «Ленин об источниках непобедимости советской власти», «Ленин — организатор обороны Советской родины», помещены также статьи: «Жизнь и научно-философские взгляды Исаака Ньютона» и «Вопросы реализма в эстетике Льва Толстого». Автор последней статьи В. Ф. Асмус оправдывает появление ее на страницах журнала в дни исполнинской битвы нашего народа с германским фашизмом тем, что в происходящей войне «мы защищаем не только горячо любимую родину, не только созданное советским народом социалистическое отечество, но также защищаем огромные по своему национальному и всемирно-историческому значению культурное достояние и наследие, созданное тысячелетним развитием русского народа».

«Естественно поэтому, — говорит далее В. Ф. Асмус, — что именно в эти дни русская философская мысль должна выяснить и для самой себя и для всего культурного мира, что дали и что впредь могут дать исключительно плодотворные идеи, выдвинутые великими деятелями русской мысли, науки и искусства».

Эту аргументацию В. Ф. Асмуса нельзя не признать вполне убедительной, и страдно видеть, что даже в суровые дни жесточайшей войны в нашей стране не прекращается движение глубокой научной мысли. В области изучения эстетических воззрений Толстого, статья В. Ф. Асмуса представляет заметное явление, хотя и нуждается в некоторых дополнениях и пояснениях.

Свое обращение к изучению эстетических взглядов Толстого автор мотивирует тем, что Толстой — это писатель, «слава которого осеняет всю нашу огромную страну, который не

только был одним из величайших во всем мире и во все времена художников реалистического искусства, но, кроме тех драгоценных материалов, какие он дал эстетике как гениальный мастер реализма, внес в нее ряд ценных и глубоких идей в качестве мыслителя об искусстве».

Автор исходит из совершенно правильного положения о том, что эстетические взгляды Толстого могут быть рассматриваемы независимо от его морального учения. Эстетика Толстого есть, по справедливому замечанию В. Ф. Асмуса, «самопознание гениального художника, попытка дать отчет в задачах, принципах и методах собственного искусства».

Свое изложение эстетических воззрений Толстого автор начинает с его утверждения о том, что искусство есть «одно из условий человеческой жизни», «одно из необходимых средств общения, без которого не могла бы жить человечество». Далее автор излагает те требования, какие предъявляет Толстой к художественным произведениям. Требования эти в основном сводятся к следующему:

1) страстная любовь (или ненависть) художника к изображаемому им предмету, которая одна только дает возможность познать предмет; 2) способность художника видеть в изображаемом предмете нечто новое, чего раньше никто не видел; 3) серьезное, достойное изображения содержание произведения. Автор обстоятельно излагает взгляды Толстого по каждому из этих пунктов.

Выясняя суждение Толстого о том, что каждое художественное произведение должно содержать в себе нечто новое, никем ранее не сказанное, автор приводит отрицательное мнение Толстого о художественных школах. Толстой утверждал, что «никакая школа не может вызвать в человеке чувство» и не может научиться «проявлять чувство своим особенным, ему одному свойственным образом». Здесь

* «Под знаменем марксизма», № 1—2, 1943.

автор ограничивается простым пересказом мнения Толстого, и этот раздел статьи может по-дать повод к некоторым недоразумениям. Отрицательный отзыв Толстого о художественных школах может быть понят в том смысле, что Толстой вообще признавал для художника излишним и ненужным всякое образование в своей области, что он считал для художника, тем более для художника даровитого, позволительным, — употребляя общепринятое выражение, — вариться в собственном соку. Ничего не может быть ошибочнее такого мнения. Изучение великих образов прошлого Толстой считал обязательным для каждого художника; по его мнению, никакое самое выдающееся дарование не освобождает художника от необходимости такого изучения. Именно в этом смысле Толстой неоднократно высказывался и в своих статьях, и в письмах, и в устных беседах об искусстве. Так, еще в своей ранней статье «Кому у кого учиться писать» Толстой говорит, что необходимое для художника чувство меры приобретает только «огромным трудом и изучением». Начинаяшему писателю В. Краснову, в котором он заметил проблески дарования, Толстой в 1910 году писал, что советует ему «брать за образец» Пушкина и Гоголя. Молодым писателям 1900-х годов Толстой ставил в вину то, что они «ничего не знают, ничему не учились». Имея в виду раб-ботников науки и искусства, Толстой говорил:

— Правильный путь такой: усвой все, что сделали твои предшественники, и иди дальше.

Толстой сам хорошо знал классические произведения мировой литературы — от древнего Гомера до современных ему Диккенса и Виктора Гюго. Всю свою жизнь продолжал он учиться у великих мировых писателей (В. Ф. Асмус в другом месте своей статьи мимоходом упоминает об этом). Как в молодости, он в 1857 году записывает в дневник, что чтение «Илиады» заставляет его «совсем передумывать» «Беглеца» (одно из первоначальных заглавий повести «Казак»), так и в старости, в 1906 году, обдумывая свои воспоминания, Толстой перечитывает произведение Гете «Правда и поэзия моей жизни». Ему хотелось, как он говорил, ближе узнать, «как писал свои воспоминания Гете-старик».

В тесной связи с вопросом о необходимой для каждого художника оригинальности стоит вопрос о подчинении одного художника влиянию другого, — вопрос совершенно не затронутый в статье В. Ф. Асмуса. Известно мнение Белинского по этому вопросу. Сравнивая повесть «Господин Прохарчин» начинавшего тогда Достоевского с повестями Гоголя и отдавая предпочтение Гоголю, Белинский писал: «Конечно, мы не в праве требовать от произведений Достоевского совершенства произведений Гоголя, но тем не менее думаем, что большому таланту весьма полезно пользоваться примером еще большего». Еще более определенно высказался Белинский по этому вопросу в своей статье о поэме Тургенева «Параша». Отмечая в этой поэме «следы подражания Пушкину и особенно Лермонтову», Белинский говорит, что это не «холодная и без-

душная подражательность» и что «быть под неизбежным влиянием великих мастеров родной литературы есть доказательство таланта».

Толстой по данному вопросу держался такого же мнения, как и Белинский. В 1908 году Ясную Поляну посетил забытый теперь философ и поэт Д. Цертелев. В разговоре о современных поэтах Цертелев напомнил о Голенищеве-Кутузове и сказал, что его поэма «Рассвет» является подражанием «Евгению Онегину».

— А «Рассвет» так же легко читается, как «Евгений Онегин»? — спросил Толстой. И на утвердительный ответ Цертелева Толстой заметил:

— Тогда то, что это подражание, это ничего.

В следующей главе В. Ф. Асмус подвергает анализу определение искусства, данное Толстым. Он приводит из трактата «Что такое искусство?» известное определение искусства, как деятельности, имеющей целью «заразить» людей теми чувствами, которые художник воспроизводит в своем произведении. Вслед за Плехановым В. Ф. Асмус считает это определение односторонним, так как в нем не принято в соображение познавательного значения искусства. В целях всестороннего выяснения вопроса следует, однако, заметить, что, если мы обратимся не только к трактату об искусстве, но и к другим высказываниям Толстого по данному вопросу, то мы убедимся, что Толстой вполне признавал познавательную ценность искусства. Так, в своем дневнике под 17 мая 1896 года он записал: «Главная цель искусства... та, чтобы проявить, высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом. От этого и искусство. Искусство есть микроскоп, который наводит художника на тайны своей души и показывает эти общие всем людям тайны».

Как видим, здесь Толстой говорит именно о познавательной стороне искусства, — о значении искусства в той области раскрытия «диалектики души», которая, по классической характеристике Чернышевского, и составляла основное призвание самого Толстого — художника.

Да и сам В. Ф. Асмус в другом месте своей статьи (стр. 100) приводит говорящую о том же цитату из предисловия Толстого к роману Поленца «Крестьянин». Здесь Толстой хвалит роман Поленца за то, что нашел в нем одну подробность, которая, освещая внутреннюю жизнь этой жены и этого мужа, освещает для читателя внутреннюю жизнь миллионов таких же мужей и жен». Что же это, как не признание — и очень уверенное — познавательной ценности искусства?

Что касается определения искусства как деятельности, имеющей целью «заражать» людей определенным чувством, воспроизводимым художником, то этим определением Толстой, очевидно, хотел прежде всего указать на основное общее свойство всякого искусства, отличающее его от науки.

Прекрасно изложены В. Ф. Асмусом взгля-

ды Толстого на современное ему искусство «высших классов», а также его отрицательное отношение к натурализму в искусстве. Приводимые автором суждения Толстого о натурализме могли бы быть дополнены целым рядом других его высказываний по данному вопросу как в произведениях, письмах и дневниках, так и в устных беседах. От покойного В. И. Немировича-Данченко мне пришлось слышать его разговор с Толстым по поводу постановки Московским Художественным театром драмы «Власть тьмы». (Этот разговор, происшедший в 1900 году, не приведен им в его книге «Из прошлого».)

— Что это, — спросил Толстой, — у вас там, говорят, жеребята ржут, лошади копытами случат? Откуда вы это взяли?

— Лев Николаевич! Да позвольте вам показать пьесу, — возразил В. И.

— Что же там такое?

— Там в первом действии есть буквально такая ремарка: «Слышно, жеребенок ржет, и лошади вбегают в ворота».

— Ну, это я только для того написал, чтобы показать обстановку, в которой происходит действие, — пояснил Толстой.

Из этого характерного для Толстого разговора видно, что даже Художественный театр он заподозрил в излишнем натурализме.

В одном месте этого раздела статьи (стр. 101) автор неправильно понимает приводимое им место из письма Толстого. Он говорит, что, по мнению Толстого, при передаче детали «художник не связан непреложной необходимостью натуралистически точного ее воспроизведения». В подтверждение этого он ссылается на следующее место письма Толстого к писателю Тищенко: «Я люблю то, что называется неправильностью, что есть характерность». Но здесь Толстой говорит совсем не о неправильностях передачи деталей в художественном произведении, а о неправильностях языка. Это совершенно ясно из всего контекста письма. Перечислив те недостатки, какие он находит в повести Тищенко, Толстой в заключение говорит: «Вот все недостатки, ко-

торые старательно вспоминал. Нечто еще — иногда неправильность языка. Но про это не стоит говорить. И я не буду в них упрекать. Я люблю то, что называют неправильностью, что есть характерность».

Последняя глава статьи посвящена изложению взглядов Толстого на соотношение между формой и содержанием художественных произведений. И в этой главе изложение В. Ф. Асмуса точно и ясно. Но автор не приводит самого сильного высказывания Толстого о необходимости совершенства формы. Я имею в виду следующую запись его в дневнике под 21 января 1890 г.: «Странное дело эта забота о совершенстве формы. Недаром она... Напиши Гоголь свою комедию прубо, слабо, — ее бы не читала и одна миллионная тех, которые читали ее теперь. Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло. Заострить и значит сделать его совершенным художественно — тогда оно пройдет через равнодушие и повторением возьмет свое».

В заключение статьи автор весьма уместно и своевременно приводит прекрасные мысли Толстого о народности в искусстве.

Статья В. Ф. Асмуса ни в отношении постановки вопросов, ни в отношении использования материалов не претендует на исчерпывающую полноту. Есть целый ряд вопросов эстетики Толстого, который в ней совершенно не затронут. Таков, например, вопрос о соотношении сознательного и бессознательного элементов в творчестве и связанный с ним вопрос о тенденциозности художественных произведений, вопрос о приемах создания характеров и раскрытия «диалектики души», о роли пейзажа, о методах достижения совершенства формы, о работе над языком и др. Тем не менее, статья В. Ф. Асмуса представляет серьезную попытку исследования эстетических воззрений Льва Толстого. Эта статья может послужить основой для дальнейших обстоятельных и плодотворных исследований в этой области.

Н. Гусев



О НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЯХ БОРИСА ПАСТЕРНАКА*

Среди наших поэтов Борис Пастернак занимает особое место. Искусный мастер художественного слова, он видит каждое душевное движение своего лирического героя, — и слово под мастерским пером поэта послушно и точно передает самые тонкие оттенки переживаний его героя, всю сложность ассоциативных, подчас очень спутанных представлений, характерных для его мыслей, чувственного восприятия и интуитивного ощущения окружающей жизни.

По поводу многих лирических пьес Пастер-

нака можно сказать: «Не один кузнец в раздумье покачает головой над этой ювелирной работой», — как писал когда-то Генрих Гейне о своем «Романсеро».

Естественно поэтому то чувство заинтересованности, «больших ожиданий», с которыми встречают каждую новую книгу Бориса Пастернака.

Это чувство больших ожиданий особенно оправдано сейчас, в наши дни, когда раскрываешь новую книжечку стихов Бориса Пастернака — «На ранних поездках».

«Слова поэта — суть дела его» — замечательно определил дело поэта А. Пушкин, и это определение звучит и сейчас всей силой

* Борис Пастернак. «На ранних поездках». Новые стихотворения. «Советский писатель». 1943.

своей правды. В наши дни слово поэта — особенно ответственное дело.

В новой книге Бориса Пастернака собраны четыре цикла стихотворений: «Военные месяцы» (конец 1941 года); «Художник» (зима 1936 года); «Путевые заметки» (лето 1936 года); «Переделкино» (начало 1941 года).

Уже много лет Пастернак дорисовывает своего постоянного, хорошо знакомого читателю лирического героя. С каждой новой книгой стихов утверждает он прежние его черты, углубляет их. Но годы прибавляют вместе с этим и новое в его характеристике.

Здесь, в этих новых стихотворениях, поэт прежде всего и пристальнее всего вглядывается в лики природы. При каждой новой встрече с нею он умеет услышать давно знакомые и вместе с тем неизвестные ее голоса, тонко почувствовать и различить ее запахи, — и в его лирических пьесах неповторимыми красками играет сложное, радующее многообразие природы.

Вот и сейчас живым встает перед читателем летний вечер среди «разбегов огненных стволов», когда

... в траве, меж диких бальзаминов,
ромашек и лесных купав,
лежим мы, руки запрокинув,
и к небу головы задрыв...

Полной грудью дышит поэт «основою снотворной смесью лимона с ладаном». И вот уже не лес, не «разбеги огненных стволов» на густой, «как мазь», синеве, а вечер на взморье, где за буксиром

«на пробках тянется заря
и отливает рыбным жиром
и мглистой дымкой янтара...
А волны все шумней и выше,
И публика на поплавке
толпится у столба с афишей,
неразличимой вдалеке.

(Стих. «Сосны»)

Художник умеет убедительно передать свое ощущение жизни, увлечь в свои поэтические видения читателя, забывающего подчас у Пастернака и малоудачные строки, и вульгарность этого «к небу головы задрыв», — видимо, нарочитую, только чтобы не было крайности, которой так боится всегда он.

В многообразном мире природы поэт ищет свое «бессмертие на время». В этом мире краснотелья, густой травы, копошения муравьев, он «причтенный к лику сосен», — «от болей и эпидемий, от смерти освобожден».

Тема смерти, «поры последней», — звучит в новой книжке Пастернака отчетливей, чем раньше. «Всею кровью я вижу смерть в упор», — рассказывает поэт об этом новом своем ощущении:

на жизнь мою с холма
сквозь желтый ужас листьев
оставилась зима.

Но все же это только — ложная тревога. Так и называется стихотворение, откуда взя-

ты эти строки. Поэт твердо знает, что «порядок творенья обманчив, как сказка с хо- рошим концом».

... Расстраиваться не надо:
у страха глаза велики! —
(Стих. «Иней»)

И заснеженная тропинка, ныряющая в овраг, и «иней сводчатый терем» — все это — торжественное затишье, оправленное в резьбу, похожее на четверостишие

о спящей царевне в гробу, — все это — сказка с хорошим концом. Наступит «опять весна» (так и называется стихотворение того же цикла) с ее весенней кутерьмой, сутолокой, ранними вешними голосами, уже слышанными «порою прошлогодней» и, вместе с тем, такими еще совсем неизвестными «обрывками чьих-то речей».

Здесь, в этом мире повторяющихся и каждый раз неповторимо новых ликов природы живет лирический герой Пастернака. К нему, к этому миру, обращен его тихий задумчивый шопот:

... Благодарствуй!
Ты больше, чем просят, даешь!

Все это давно знакомые читателю «темы с вариациями», говоря словами поэта. Но каждый раз творчески решенные по-новому, они живут новой жизнью в циклах его стихов.

И в этой книжке излюбленный поэтом мир попрежнему безлюден. К этому безлюдью обращается поэт в часы восторгов и тревог, здесь он находит утешение своей «жажды воли и покоя», с которой живет он в своем цикле стихов — «Художник». «Мы» поэта — это не мы с вами, читатель, а только двое, близкие друг другу. Мир поэта обидно ограничен от большой нашей жизни, «жизни — бучи, боевой, кипучей», заключен в тесные рамки «частной жизни», по удачному выражению нашей критики.* Из этого комнатного, дачного мирка, отгороженного от большого мира нашей страны, вырастает и система ассоциаций, художественных сравнений, метафор большинства стихотворений Бориса Пастернака. Отсюда — в шумах ранней весны, на дачном полустанке поэт слышит «сутолоку, кумушек пересуды»; отсюда — зимняя гладь открывается за дачной водокачкой, а елка, любимая поэтом, — «только что из лесу или с метели», — «как волнующая актриса перед кулисами в кучке родни»; отсюда — и метель крутит снежинки щипцами для завивки, а настоящая зима в Тбилиси почему-то напоминает поэту «модистку синема» с шляпной коробкой в руках. Отсюда ассоциации ранней весны с простудами, гриппом, и тогда в половеде поэт слышит:

... Это — зубами, стуча от простуды,
лется чрез край ледяная струя
в пруд и из пруда, в другую посуду —
речь половеда — бред бытия.

* В. Александров. «Частная жизнь», «Лит. критик», № 3, 1937.

Даже шрады, веселые певчие нашей весны, и они «раззаванивают слухи за день»:

...у них на кочках свой шеселок
подглядывание из-за штор,
шудукание в уллах светелок,
и целодневный таратор.

Время, однако, берет свое. В общей атмосфере нашего искусства развивается творчество поэта. Год от года отходя от сложности и запутанности, по его собственному выражению, «впадая, как в ересь, в неслышанную простоту», — поэт начинает надевать и пейзаж чертами конкретности, характерной для нашей русской природы.

Любовью к родной природе овеяны некоторые образы его лирики. Здесь и «лесной дорожкой деревья заирывают с пристяжной»; и первая морозная ночь, когда «все обледенело с размаху в папаше до самых бровей» и эта «на заколустном полустанке обеденная тишина» —

безжизненно поют овсянки
в кустарнике у полотна;
и этот осенний ветер, который «рябину заняньчив, путает ее перед сном».

Новые интонации слышатся в голосе поэта. И не случайно, видимо, книжка названа — «На ранних поездах» — по одноименному стихотворению в сборнике. Именно в этом стихотворении со всей отчетливостью звучит это открытое за образами пейзажной лирики чувство родины. Оно по-особому согревает скупой рассказ поэта о наших советских людях, тех самых, с которых годы советской жизни стерли все «следы холопства»; его любовный рассказ о нашем новом потомстве, которое на ходу «читает вэсос», рассевшись кучей, как в повозке, во всем разнообразиях поз.

В «горячей духоте» вагона поэт любовно вглядывается в родные лица и «сквозь прошлого перипетии», сквозь «годы войн и нищеты» — он

молча узнает России
неповторимые черты.

Стихи, которые мы приводили выше, — все из написанных в первые месяцы 1941 года.

И вот наша страна вступила в грозную боевую стразу. И нет такого человеческого сердца на нашей советской земле, которое не забилось бы сильнее. Раскрылся сложнейший механизм душевных движений, поднимающий простого советского человека на высоту беспримерного героизма, подвига.

Пастернак не мог, конечно, не ощутить врага, как нового Ирода в Вифлееме («Страшная сказка»). Вместе со всем своим народом он знает, что кровавому Ироду «спошна зачтется время», что «за мученья маленьких калеки», за человеческую муку и поруганье нашей родной земли, за каждый час, за каждую минуту разбойного своего пребывания на этой земле, за все —

сторией должен будет враг
за это поплатиться.

Герой осажденных городов, раненый ребенок, военная застава, летчик, охраняющий наше небо, — вот мир новых образов, «ворвавшихся в творческую жизнь поэта. К ним, «безыменным героям», защитникам наших городов, обращает он свое поэтическое слово, и открывает он в своем «сердце сердца».

Но значительно большего, чем то, что зазвучало в цикле «Военные месяцы», — мы вправе были ожидать от поэта: иного, более глубокого, взволнованного умения увидеть, услышать, понять и рассказать об этом во весь поэтический голос, во всю глубину поэтического дыхания, во всю меру поэтического мастерства, отпущенного Пастернаку.

Удивительно, но именно этот наиболее ответственный цикл стихов в книжке звучит как-то вполголоса и художественно наименее убедителен из всех его новых стихотворений.

Когда-то Маяковский правильно писал: «Не обязательно писать о войне, но обязательно писать войной». Борис Пастернак писал о войне, но не писал «войной», не нашел еще настоящих, горячих, подлинно человеческих интонаций.

Только прежний его лирический герой мог так рассказать о себе в дни Великой Отечественной войны:

Грустно в нашем саду,
Он день-того-дня краше,
В нем и в этом году
жить бы полною чашей.
Но обитель свою
разлюбил обитатель,
он отправил семью,
и в краю неприятель.
И один без жены
он весь день у соседей...

(«Бобыль»)

Может быть, поэт и прав. Для рассказа об этом бобыле, осиротевшем без жены, и несущем более горячих интонаций. Уж очень несоизмеримы масштабы чувства родины, над которой нависла смертельная опасность, и эти ощущения неудобств частной жизни в первые военные месяцы.

Но совершенно бесспорно неправ поэт, когда, вглядываясь в душевные движения «наших безыменных героев», действительно смотривших «векам в глаза с пригородных баррикад», он утверждает:

Между тем слепое что-то,
опьяняя и кружа,
увлекло вас к пролету
из глухого блиндажа.

(стих. «Смелость»)

Нет, не «упоение в бою и бездны мрачной на краю» руководит нашим простым советским «человеком, идущим, не дрогнув, на смерть за родину, за человека на земле, за жизнь».

Высокое сознание, сознание своего долга перед родиной, перед человеком на ее осто-

бодной земле, — вот что ведет бойца из глухого блиндажа на встречу смерти и врагу.

Вам казалось — все пустое,
лучше, выиграв, уйти,
чем бесславно сгнить в застое
или скиснуть взаперти, —
пишет Борис Пастернак о безыменных героях.

Нет, совсем не то им казалось, что казалось за них поэту. Такое виденье жизни характерно для прежнего лирического героя Бориса Пастернака, герой этот живет в тесном мирке, «киснувший» взаперти». Ему-то и мог прежде всего представиться в первые месяцы войны «страх, изборождавший лица».

Но не тем ведь светились в действительности лица советских людей на улицах Москвы в темные ночи бомбардировок, на полях и дорогах нашей страны, мужественно встречавших врага в неравном смертельном бою.

Борис Пастернак в новой своей книге много места уделяет теме творчества (цикл «Художник»).

Для него, для художника, поэта, творческий миг вдохновенной работы — вся жизнь.

И, быть может, и вправду нет более священного часа для поэта:

Что ему почет и слава,
место в мире и молва,

в миг, когда дыханьем сплыва
в слово сплочены слова?

Но нельзя согласиться с поэтом, когда за этой вдохновенной строфой он утверждает:

Он на это мебель стопит,
Дружбу, разум, совесть, быт.

Ни дружба, ни разум, ни совесть не противопоставлены искусству. Они животворят, питают искусство.

Новая книжка Б. Пастернака заканчивается стихотворением «Дрозды», тоже о творчестве. С большим мастерством показывает поэт искусство этих пернатых певцов, «огонь и лед» их вокальных «колен», каждый долгий и короткий слог их птичьей песни:

...Они в неубранном бору
живут, как жить должны артисты,

«Я тоже с них пример беру», — заключает свою книжку Б. Пастернак.

Для дроздов, в их творческий час, вероятно, действительно, не существует ничего кроме их «неубранного бора».

И, может быть, то чувство недоуменного разочарования, неоправдавшихся «больших ожиданий», с которыми закрываешь новую книжку стихов Бориса Пастернака, находит свое объяснение в этой заключительной строке его «Дроздов».

Н. В.

Редколлегия: М. М. Розенталь, В. П. Ставский, А. А. Сурков, А. Н. Толстой,
К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Подписано к печати 21/VIII — 1943 г.
— А2626. 10 печ. листов. Тираж 30.000. Зак. 2053.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.